

*НОВЫЙ  
Журнал*

83

*THE NEW  
REVIEW*

# THE NEW REVIEW Новый Журнал

---

*Основатели*

*М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН*

*С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ*

*Двадцать пятый год издания*

Кн. № 83

НЬЮ ИОРК

1966

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Н. С. ТИМАШЕВ

*NEW REVIEW, June 1966*

*Quarterly, No. 83*

*2700 Broadway, New York 25, N. Y.*

*Subscription Price \$9. — for one year*

*Publisher: New Review, Inc.*

*Second Class Mail postage paid  
at New York, N. Y.*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                             | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Лидия Чуковская</i> — Софья Петровна .....                               | 5    |
| <i>Иван Елагин</i> — Два стихотворения .....                                | 46   |
| <i>В. Вейдле</i> — Равенна .....                                            | 48   |
| <i>Николай Моршен</i> — Пять стихотворений .....                            | 65   |
| <i>Е. Костич</i> — Исповедь .....                                           | 70   |
| <i>Лидия Алексеева</i> — Пять стихотворений .....                           | 82   |
| <i>Прот. А. Шмеман</i> — Анна Ахматова .....                                | 84   |
| <i>Олег Ильинский</i> — Вильямсбург .....                                   | 93   |
| <i>Темира Пахмусс</i> — Зинаида Гиппиус и Сергей Есенин .....               | 98   |
| <i>Игорь Северянин</i> — Утопическая эпопея .....                           | 112  |
| <i>Р. Плетнев</i> — Три речи о Пушкине .....                                | 121  |
| ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:                                                   |      |
| <i>Л. Лунц</i> и « <i>Серрапионовы братья</i> » (публ. Гари Керна) .....    | 132  |
| <i>Б. Пастернак</i> и <i>Союз Сов. Писателей</i> (стенограмма) .....        | 185  |
| <i>Д. Далин</i> — Дело Кравченко .....                                      | 228  |
| ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:                                                        |      |
| <i>Г. Аронсон</i> — Большевики и меньшевики .....                           | 224  |
| <i>П. Берлин</i> — Достоевский и евреи .....                                | 263  |
| <i>Лев Закутин</i> — О метафизике и «первой философии» .....                | 273  |
| <i>Роман Гуль</i> — Три некролога .....                                     | 282  |
| БИБЛИОГРАФИЯ:                                                               |      |
| <i>Р. Плетнев</i> — О «Далеком» Б. Зайцева. <i>В. Сечкарев</i> —            |      |
| <i>А. Hönig, A. Belyjs Romane, Д. Шуб</i> — Б. Николаевский о               |      |
| <i>Бухарине, Г.</i> — Г. Струве. Угловое жилье. — <i>Письмо в редакцию.</i> |      |



PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION  
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013

# СОФЬЯ ПЕТРОВНА

ОТ АВТОРА

*Повесть, предлагаемая вниманию читателей, написана двадцать два года тому назад, в Ленинграде, зимою 1939-1940 года. В ней я попыталась запечатлеть события, только что пережитые страной, моими близкими и мною. Не писать я не могла, но и никакой надежды увидеть свою повесть в печати, я, разумеется, не питала. Трудно было надеяться даже на то, что школьная тетрадь, куда была мною набело переписана повесть, ускользнет от преследования и сохранится. Держать ее в ящике письменного стола было рискованно. Однако и сжечь ее у меня не поднималась рука. Я смотрела на нее не столько как на повесть, сколько как на свидетельское показание, уничтожить которое было бы бесчестно.*

*Началась война. Началась и кончилась ленинградская блокада. Люди, хранившие тетрадь, погибли, но ее сохранили. Уехав из Ленинграда за месяц до начала войны, я пережила годы 1941-1944 вдалеке от родного города и только в конце войны моя тетрадь, после долгой разлуки, чудом вернулась ко мне. Кончилась война. Умер Сталин. Всё чаще и чаще стала приходить мне на ум надежда, прежде несбыточная, что близится время, когда повесть увидит свет.*

*После того, как с трибуны XX и XXII партийных съез-*

---

\* Эта прекрасная и правдивая повесть печатается нами без ведома и согласия автора. В этом мы приносим Л. К. Чуковской наши извинения. Но мы считаем и литературно и общественно важным эту ценную повесть напечатать. Мы получили ее с оказией из Советского Союза. РЕД.

Copyright by "The New Review", 1966.

дов были произнесены слова, обновляющие настоящее и разоблачающие черные стороны прошедшего, мне, более чем когда-либо захотелось, чтобы моя повесть стала достоянием читателей и тем самым послужила делу, которое представляется мне жизненноважным: во имя грядущего, помогать уяснению причин и следствий пережитой народом трагедии. Не сомневаюсь, что литература еще не раз обратится к изображению тридцатых годов, и писатели, располагающие гораздо большим количеством фактов, чем каким тогда располагала я, обладающие большей способностью к анализу и обобщению и большим художественным даром, запечатлеют черты эпохи полней и многосторонней. Я же, по мере сил, попыталась изобразить лишь то, что наблюдала сама.

Но при всех мыслимых достоинствах будущих повестей и рассказов, написаны они окажутся уже в иную эпоху, отделенную от 1937-го года десятилетиями. Моя же повесть писалась по свежему следу только что происшедших событий. В этом ее отличие от произведений, которые будут посвящены 1937-38 годам, когда бы то ни было. В этом я вижу ее право на внимание читателей.

И именно поэтому я не вношу в нее сейчас никаких перемен (кроме уничтожения экспозиции, не идущей к делу). Пусть моя "Софья Петровна" прозвучит сегодня, как голос из прошлого, как рассказ очевидца, добросовестно пытавшегося, вопреки могущественным усилиям лжи, разглядеть и запечатлеть то, что совершалось перед его глазами.

Москва, ноябрь 1962 г.

Лидия Чуковская

# 1

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего об-

разования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла: как это она раньше жила без службы? Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова — но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой — как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы — всё это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошко она отворяла его и с достоинством, немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя. — Будет готово через 25 минут, — говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы. — Ровно. Нет, ровно через 25, не раньше, — и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы — если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой, светлой комнате сидят милые девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны, и во время примерки занимает светской беседой элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше: как-то значительнее. Софье Петровне зачастую теперь приходилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведение советской литературы — по-

весть или роман — и хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви — она всё-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике — но зато в воротничке из старых настоящих кружев — с остро очищенным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала в перерыве с теми из них, которые писали старательно и грамотно, — беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, а с теми, кто писал «репитиция» и «коликтив» держала себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибки чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглуго горничную, служившую у них когда-то в старое время. Горничную звали Фаня, она грубила Софье Петровне и флиртовала с Федором Ивановичем... и за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная, некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось, будто и на бумаге она написана на какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные, а весь секрет, подумать только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток, да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми.



Миновали какие-нибудь две недели и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный, лысый, но молодой бухгалтер; оказывается, он узнал Софью Петровну: когда-то, лет 20 тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западно-европейскими танцами — и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство на собственной машине. Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. «Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки — самые справедливые судьи. Право, — сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы, — они судят непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики и редакторы»... Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым, небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну — с ним приходил завхоз, Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрна Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом: как объяснили Софье Петровне, она была «засекречена» и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве — и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техредов, курьерш. В конце первого месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола — глубокие мягкие кресла, а на столе — целых три телефона. Директор оказался молодым человеком, лет 35, не больше, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды

звонил телефон и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так любезна остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк», — сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспитанный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдвиженец, — и действительно, руки у него, кажется, грубые, — но в остальном...

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем Форде. После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Между двумя фразами он умолкал так надолго, что, казалось, он никогда не заговорит снова. «Мы должны кон-стан-тировать» говорил он. Потом выступала председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она сказала, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок, истерическим голосом она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако, скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них, директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых надо добиваться, зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива — не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки. — Впрочем, — сказал он, — надо признать, что машинописное бюро под руководством т. Липатовой работает и в настоящий момент с исключительной четкостью.

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаза. Когда она решилась, наконец, посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми и красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

## 2

Всё свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того — заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть не все вечера.

Коля всё чаще должен был сам разогреть себе обед и в шутку называл Софью Петровну «мама — общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напомнить о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды, в коридоре, к Софье Петровне подошел хмурый парторг. — Партийная организация, совместно с месткомом, — сказал он, глядя, по обыкновению, в пол, — намети-

ла тебя... — он поправился — вас... давать обещание от имени беспартийных активистов.

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало всё какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать. — Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? — спрашивала Софья Петровна. — А еще носит камю, завивается. Лучше бы руки почаще мыла... Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая... И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его. — Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгода. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во всё белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать — ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица»... думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в семнадцатом году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали и Наташа чуть не с 15 лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но когда она подала заявление в комсомол — ее не приняли. — Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, — говорила Наташа, щурясь. — С марксистской точки зрения может быть это и правильно...

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости — двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косовороточке и пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как замороженная смотрела она, не отрывая глаз, на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи. — От имени беспартийных работников, — сказала она дрожащим голосом, и потом дальше, всё свое обещание о повышении производительности труда, — всё, что они составили с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища, Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла на кухню разжигать примус. — Какая жалость, что вы не служите, — сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду. — Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно, если ваша служба имеет касательство к литературе.

Наконец, Коля явился, голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним та-

релку шей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как — «Знаешь, мама?» — сказал он — «я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро». Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал: — «Сашка Ярцев — этакий старорежимный балбес!» («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», перебила Софья Петровна). «Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!»

Пужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. — «Правда, мама, гениально?» — и когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец», — сказал Коля и сейчас же заснул.

## 3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне всё не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает, наконец, всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дробы машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить, наконец, на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск, наконец, наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна, по служебной привычке, всё равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в ВУЗ, в машиностроительный ин-

ститут, и Софья Петровна почти не видела его. Изредка навещалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парт-оргом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался... «Неужели кому-нибудь может не понравиться? — всплескивала руками Софья Петровна. — Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно-полезного труда. Да и всё, что говорил Коля, всё, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей, теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно жалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок. — Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале? Скажи! — строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир. И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль, только, что жена Дегтяренко такая грязнуха: даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открывать боится как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они всё еще пьшут с ошибками.

В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электро-



энергию с той же акуратностью, с какой на службе собирала членские взносы. Она регулярно ходила на собрания квартуполномоченных в ЖАКТ'е и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее в общем хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну в кухню пробовать: довольно ли сахару? Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне — посоветоваться с Колей: что бы ей такое придумать, чтобы близнецы, не дай Бог, снова не остались на второй год? И посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре. — Этакой медицинской сестре попадись только, она тебя разом на тот свет отправит! — говорила жена **Дегтяренко**.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками «а я ей как дам!», «а мне наплевать!» — и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крюк. Она была из дворянок, брызгала одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни полочки Валя начинала клянчить у матери денег на новые туфли. — Ты не воображай, кобыла, — ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы не слышать продолжения — в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но в общем, квартира 46 была благополучной, тихой квартирой — не то, что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку, накануне выходного, случались настоящие побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали ту-

да составлять протокол, вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся — между кухней и комнатой — и кончился к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Летнего Сада, вдавленные в грязь каблуками — и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в 10 вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, щелкала, закрываясь и открываясь, дверца: Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она клеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она попрежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, попрежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше — но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно, и уже не стеснясь, громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они, на радостях, решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооружали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей дешевле, чем буер. Окончив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимой кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату — и не то, что подметать пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна отеснили обеденный стол к стене, диван к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петровна по сто раз в день спотыкалась о них. Однако, все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно,

как если бы они привели в дом слона. Они строгали, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере невежда, и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расставила вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец, Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретение. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться, и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из Филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала салфеточки, воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на-днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем — это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан-Кай-Ши — она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, что-

бы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке: «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

8-е марта было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице, Софье Петровне Липатовой, поздравление в день 8 марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на колин письменный стол, под полку с собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

## 4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку, теперь она получала уже не 250, а 375. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструкторском бюро: чертили. Ко дню рождения Софьи Петровны Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне — какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший да и не всё ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый, сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чистоплотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работающий, но где ему до Коли! Отец его переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о

нем: локти залатанные, сапоги худые, сам он шупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коля пошел уже двадцать первый год, а у него всё еще нет отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием козиной личной жизни? Коля, кажется, там в институте влюбился в кого-то: она искусно допрашивала Алика — в кого? как ее зовут? сколько ей лет? хорошо ли она учится? кто ее родители? Но Алик отвечал уклончиво и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Петровна выпытала у него только имя: Ната. Но всё равно, как бы ее там ни звали, и серьезная ли это любовь или только увлечение — всё равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да... безусловно... конечно... Николаю Федоровичу лучше было бы в отдельной комнате... но впрочем... вот живет же она одна... без матери... и что?.. ничего!.. — Наташа сбилась и замолчала и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы, Николая Липатова и Александра Финкельштейна, по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на Уралмаш, мастерами. Там нехватало итеэровцев. Институт же им предоставляли возможность закончить заочно. — Ты не беспокойся, мама, — сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую ручку Софьи Петровны, — ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем... Нам обещают комнату в общежитии... да Свердловск и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь... и... знаешь что? ты будешь нам посылки посылать.

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать козину белье в комод, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый че-

модан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского Общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист «Нивы», которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с длинным шлейфом, с высокой прически, поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и акуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его четким почерком, и сам зашил в пояс свой комсомольский билет. День отъезда всё был через неделю и вдруг оказался завтра. — Коля, ты уже готов, Коля? — спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами. — Что?

Новая куртка топорщилась у него на спине, кончики воротничка загибались. Коля большими шагами подошел к своему чемодану и поднял его так легко, будто он был пустой. Всю дорогу на вокзал он чуть ли не размахивал чемоданом, а бедный Алик еле волочил свой сундучок, отдуваясь и рукавом отирая со лба пот. Коротконогий, большеголовый, он казался Софье Петровне похожим на комический персонаж мультипликационного фильма. Тетка Алика не потрудилась, разумеется, приехать на вокзал проводить его и они втроем — Коля, Софья Петровна и Алик — чинно прохаживались по платформе, в сырой мгле вокзала. Коля и Алик с азартом обсуждали вопрос: какая машина выносливее и легче — Фиат или Паккард? И только за пять минут до отхода поезда Софья Петровна вспомнила, что она ничего не сказала мальчикам ни о ворах в дороге, ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо непременно считать его и записывать... И ни под каким видом не есть в столовых винегрет — он часто бывает вчерашний, несвежий и легко можно заболеть брюшным тифом. Она отвела Алика в сторону и вцепилась ему в плечо. — Алик, голубчик, — говорила она, — уж вы позаботьтесь, голубчик, о Коле. — Алик смотрел на нее сквозь очки большими добрыми глазами. —

Разве мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать за Николаем. А что же?

Пора было в вагон. Коля и Алик через минуту появились у окна. Коля — высокий, Алик ему по плечо. Коля сказал что-то Софье Петровне, но сквозь стекло было не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и обвел купе возбужденным, веселым взглядом. Алик показывал Софье Петровне пальцами буквы. «Не»... разобрала она и замахала на него рукой, догадавшись: «не беспокойтесь»... Боже мой, ведь совсем дети едут!

Через минуту она шла по перрону назад, одна в толпе людей, всё быстрее и быстрее, не замечая дороги и пальцами вытирая глаза.

## 5

После колиного отъезда Софья Петровна еще меньше времени проводила дома. Сверхурочной работы в бюро всегда было вдоволь и она чуть ли не каждый вечер оставалась работать, прикапывая деньги Коле на костюм: молодой инженер должен одеваться прилично.

В свободные вечера она приводила к себе Наташу пить чай. Они вместе заходили в гастроном на углу и выбирали себе два пирожных. Софья Петровна заваривала чай в чайнике с квадратами и включала радио. Наташа брала свое вышивание. В последнее время, по совету Софьи Петровны, она усердно пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее не становился лучше.

В один из таких вечеров, уходя домой от Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила подарить ей колину последнюю карточку. — А то у меня в комнате мамина карточка и больше ничья, — объяснила она. Софья Петровна подарила ей Колю, красивого, глазастого, в галстук и воротничке. Фотограф удивительно схватил его улыбку.

Однажды, возвращаясь с работы, они зашли в кино — и с тех пор кино сделалось их любимым развлечением. Им обоим сильно нравились фильмы о летчиках и пограничниках. Белозубые летчики, совершавшие подвиги, казались Софье Петровне похожими на Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие



с экранов — особенно «спасибо, сердце!» и «если скажет страна — будь героем», нравилось слово «родина». От этого слова, написанного с большой буквы, у нее становилось сладко и торжественно на душе. А когда самый лучший летчик или самый мужественный пограничник, падал навзничь, сраженный пулей врага, Софья Петровна хватала Наташину руку, как в дни молодости хватала руку Федора Ивановича, когда Вера Холодная внезапно вытаскивала маленький дамский револьвер из широкой муфты и, медленно его поднимая, целила в лоб подлецу.

Наташа снова подала заявление в комсомол и ее снова не приняли. Софья Петровна очень сочувствовала наташиному горю: бедная девушка так нуждалась в обществе! Да и почему, собственно, ее не принимают? Девушка трудящаяся и вполне предана советской власти. Работает прекрасно, прямо-таки лучше всех — это раз. Политически грамотная — это два. Она не то, что Софья Петровна, она дня не пропустит, чтобы не прочитать «Правду» от слова до слова. Наташа во всем разбирается не хуже Коли и Алика, и в международном положении, и в стройках пятилетки. А как она волновалась, когда льды раздавили «Челюскин», от радио не отходила. Из всех газет вырезала фотографии капитана Воронина, лагерь Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили о первых спасенных, она заплакала у себя за машинкой, слезы капали на бумагу, от счастья она испортила два листа. «Не дадут, не дадут погибнуть людям», — повторяла она, вытирая слезы. Такая искренняя, сердечная девушка! И вот теперь ее опять не приняли в комсомол. Это несправедливо. Софья Петровна даже Коле написала о несправедливости, постигшей Наташу. Но Коля ответил, что несправедливость — понятие классовое и бдительность необходима. Всётаки Наташа из буржуазно-помещичьей семьи. Подлые фашистские наемники, убившие товарища Кирова, не выкорчеваны еще по всей стране. Классовые бои продолжаются и потому, при приеме в партию и в комсомол, необходим строжайший отбор. Тут же он писал, что через несколько лет Наташу наверняка примут, и сильно советовал ей конспектировать произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса. — Через несколь-

ко лет, — горько улыбнулась Наташа. — Николай Федорович забывает, что мне уже скоро 24. — Тогда вас примут прямо в партию, — сказала ей Софья Петровна в утешение. — И что такое 24 года! Первая молодость. — Наташа ничего не ответила, но уходя домой в этот вечер взяла у Софьи Петровны том колиного Ленина.

Письма от Коли получались регулярно раз в шестидневку, накануне выходного дня. Какой он прекрасный сын — не забывает, что мама беспокоится, а мало ли у него там дела! Возвращаясь со службы, Софья Петровна еще на лестнице, в самом низу, доставала из сумочки ключик, шла по лестнице быстро и, добежав, наконец, до четвертого этажа, задыхаясь, отворяла голубой почтовый ящик. Письмо в желтом конверте ждало ее. Не снимая пальто, она садилась у окна и расправляла аккуратно сложенные листки блокнота. «Здравствуй, мама!» — начиналось каждое письмо. — «Надеюсь, что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка на нашем заводе за последнюю шестидневку достигла...» Письма были длинные, но всё больше о заводе, о росте стахановского движения, а о себе, о своей жизни — ни слова. «Ты подумай только, — писал Коля в первом письме — и червячные, и фрезы, и даже броши — всё у нас еще заграничное, за всё золотом расплачиваемся с капиталистами, а сами никак не можем освоить». Но Софью Петровну не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как они там питаются с Аликом, добросовестная ли у них прачка? хватает ли у них денег? и когда же они занимаются? по ночам, что ли? На все эти вопросы Коля отвечал крайне бегло и невразумительно. Софье Петровне так хотелось представить себе их комнату, их быт, их обед, что она, по совету Наташи, написала письмо Алику.

Ответ пришел через несколько дней.

«Уважаемая Софья Петровна! — писал Алик. — Извините мою смелость, но вы напрасно беспокоитесь о здоровье Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с вечера закупаю колбасу и утром сам жарю ее на сливочном масле. Обедаем мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо. Варенье, вами нам присланное, мы решили пить только с вечерним чаем и таким путем его нам хватит надолго. Белье я тоже сдаю прачке по счету.

Для занятий мы выделили специальные часы каждый день. Вы можете мне вполне верить, что я всё делаю для Николая, как его друг и товарищ, и стараюсь всё для него».

Письмо кончалось так: «Николай успешно разрабатывает метод изготовления долбяков Феллоу в нашем инструментальном цехе. Про него в парткоме на заводе говорят, что это будущий восходящий орел».

Конечно, восходит светило, а не орел, и Софья Петровна решительно не понимала, что такое долбяки Феллоу, — и всё же эти строки наполнили ее сердце гордостью и восхищением.

Колины письма Софья Петровна аккуратно складывала в коробочку из-под писчей бумаги. Там у нее хранились жениховские письма Федора Ивановича, фотографии маленького Коли и фотография малютки Карины, родившейся на «Челюскине». Туда же Софья Петровна положила и письмо Алика: он несомненно был предан Коле и так умел понять его!

Однажды, уже месяцев через десять после колиного отъезда, Софья Петровна получила по почте внушительный фанерный ящик. Из Свердловска. От Коли. Ящик был такой тяжелый, что почтальон с трудом внес его в комнату и потребовал рубль «на чай». «Швейная машина?» размышляла Софья Петровна. «Вот бы хорошо!» Свою она продала в трудные годы. Почтальон ушел, Софья Петровна взяла молоток и нож и вскрыла ящик. В ящике оказался черный стальной непонятный предмет. Он был заботливо засыпан стружками. Колесо не колесо, дуло не дуло, Бог знает, что такое. Наконец, на черной спине непонятного предмета, Софья Петровна обнаружила ярлык, написанный колиной рукой: «Мамочка, посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную долбяком Феллоу, изготовленным на нашем заводе по моему методу». Софья Петровна засмеялась, похлопала шестеренку по спине, и, пыхтя, отнесла ее на подоконник. Каждый раз, как она взглядывала на нее, ей становилось весело.

Через несколько дней, утром, когда Софья Петровна допивала чай, торопясь на службу, в ее комнату внезапно влетела Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были растрепаны,

один ботик расстегнут. Она протянула Софье Петровне мокрую газету.

— Смотрите... Я сейчас на углу купила... читаю просто так... и вдруг вижу: Николай Федорович. Коля.

На первой странице «Правды» Софья Петровна увидела колено улыбающееся, белозубое лицо. Фотография изменила и немного состарила его, но без всякого сомнения это он, ее сын, Коля. Под портретом было написано: — «Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе».

Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала ее в щеку. — Софья Петровна, милая! — умоляюще сказала она, — пожалуйста, пошлемте ему телеграмму.

Софья Петровна никогда еще не видела Наташу такой возбужденной. Да у нее и у самой тряслись руки и она никак не могла найти свой портфель. Телеграмму они сочинили на службе, во время обеденного перерыва, и отправили после работы. Все поздравляли Софью Петровну; на службе ее поздравила с таким сыном даже Эрна Семеновна, а дома — даже медицинская сестра. Вечером, ложась в постель, счастливая и усталая, Софья Петровна впервые подумала, что Наташа, наверное, влюблена в Колю. Как это она раньше не догадалась! Хорошая девушка, воспитанная, работающая, только очень уж некрасивая и старше его. Засыпая, Софья Петровна старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая станет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми волосами — очень похожую на английскую открытку, только со значком «КИМ» на груди. Ната? Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.

## 6

Приближался новый, 1937, год. Местком принял решение устроить елку для детей служащих издательства. Организация праздника была поручена Софье Петровне. Она кооптировала себе в помощницы Наташу, и работа у них закипела. Они зво-

нили по телефону на квартиры служащих, узнавая имена и возраст ребят; отстукивали на машинке приглашения; бегали по магазинам, закупая пастилу, пряники, стеклянные шары и хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег. Самое важное и самое трудное было решить, какой подарок сделать кому из ребят, так, чтобы не выйти из лимита, и в то же время, чтобы все были довольны. Из-за подарка девочке директора, Софья Петровна и Наташа даже немного поссорились. Софья Петровна хотела купить ей большую куклу — побольше, чем другим девочкам — а Наташа находила, что это будет бестактно. Помирились на хорошенькой дудочке с пушистой кисточкой. Наконец, осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими, густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. Марья Ивановна развлекала их рассказами о жене директора; про самого директора она говорила, как в старое время: «они». Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящики, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги и она уселась в кресло и сидя вкладывала в пакетики с конфетами записки: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Украшать продолжала одна Наташа. У нее были умелые руки и бездна вкуса: деда Мороза укрепила она удивительно эффектно. Потом Софья Петровна вклеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой, красной, пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки — и всё было закончено. Они сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим — Сталин сидит с девочкой на коленях. Это был любимый портрет Софьи Петровны.

Три часа. Пора домой — полежать немного, пообедать и переодеться. Праздник удался на славу. Явились все ребята и почти все папы и мамы. Жена директора не приехала, но директор приехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную крошку с белокурыми волосами. Дети радовались подаркам, родители громко восхищались елкой. Только Анна Григорьевна, председатель месткома обиделась, что сыну ее

подарили барабан, а не деревянных солдатиков, как сыну парт-орга: солдатики стоили дороже. Она была в зеленом шелковом платье и даже декольте. Сын ее, долгоязыый, неприятный мальчик, присвистнул, демонстративно ткнул барабан кулаком и прорвал его. Но все остальные были довольны. Дочка директора без усталости трубила в свою трубу, подпрыгивая между колен отца, упираясь пухлой рукой в его колено и запрокидывая голову назад, чтобы увидеть елку.

Софья Петровна чувствовала себя настоящей хозяйкой бала. Она заводила патефон, включала радио, показывала лифтерше глазами, кому поднести блюдо с пастилой. Ей было жаль Наташу, которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей нарядной, собственноручно вышитой блузке. Директор, согнувшись, водил девочку за обе ручки под елкой и пугал ее дедом Морозом. Софья Петровна с умилением смотрела на эту сцену: ей хотелось, чтобы Коля во всем походил на директора. Кто знает, быть может годика через два и у нее будет такая же милая внучка. Или внук. Она уговорит Колю назвать внука Владлен — очень красивое имя! — а внучку Нинель — имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получается Ленин.

Софья Петровна, усталая, опустилась в кресло. Пора бы уж и домой, у нее начиналась мигрень. К ней подошел представительный бухгалтер и, любезно нагнувшись, поведал странную новость: в городе арестовано множество врачей. Бухгалтер был лично знаком со всеми медицинскими светилами города: экзема его не поддавалась ничьему лечению, один только покойный Федор Иванович умел согнать ее. («Да, вот это был врач! Другие всё посыплют, мажут, а толку никакого»...) Среди арестованных бухгалтер назвал доктора Кипарисова, сослуживца Федора Ивановича, колиного крестного. Как? Доктор Кипарисов?.. Не может быть! И что случилось? Разве опять какое-нибудь... несчастье?.. спросила Софья Петровна, не решаясь произнести «убийство». Бухгалтер возвел очи горе и отошел, ступая почему-то на цыпочках. Два года назад, после убийства Кирова, (О! какие это были мрачные дни! по улицам ходили патрули... а когда ждали товарища Сталина — вокзаль-

ная площадь была оцеплена войсками... и на всех улицах войска, когда он шел за гробом), после убийства Кирова тоже было много арестов, но тогда сначала брали каких-то оппозиционеров, а потом «бывших», всяких там «фон баронов». А теперь вот врачей. После убийства Кирова выслали дворянку, мадам Неженцеву, старинную приятельницу Софьи Петровны, — они в гимназии вместе учились. Софья Петровна была поражена: какое отношение мадам Неженцева могла иметь к убийству? Преподает в школе французский язык и живет как все. Но Коля объяснил, что Ленинград необходимо очистить от ненадежного элемента. А кто такая собственно говоря эта твоя мадам Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама, что она не признавала Маяковского и говорила всегда, что в старое время всё было дешевле. Она — не советский человек... Ну хорошо, а вречи? Они чем провинились? Подумать только — Иван Игнатьевич Кипарисов! Такой почтенный врач!

Ребята шумели в раздевалке. Софья Петровна, в качестве хозяйки, помогала родителям разыскивать рейтузы и ботики. Директор с девочкой на руках подошел к ней проститься. Он поблагодарил местком за прекрасный праздник. — Я видел в «Правде» портрет вашего сына — сказал он ей, улыбаясь. — Хорошая у нас смена подросла... Софья Петровна смотрела на него с обожанием. Ей хотелось сказать ему, что он еще никого права не имеет говорить о смене — что такое 35 лет? Первая молодость! — но она не решилась. Он сам одел девочку и поверх шубки закутал ее в белый пушистый платок. Как он всё умеет. Мать может спокойно отпускать с ним ребенка. Сразу видно — прекрасный семьянин.

## 7

В газетах ничего не писали про врачей и про доктора Кипарисова. Софья Петровна собиралась зайти к мадам Кипарисовой и всё не могла собраться. Времени не было, да и неловко как-то. Она не видела Кипарисову года три уже. Как это она ни с того, ни с сего вдруг зайдет?

В январе начали появляться в газетах статьи о новом



предстоящем процессе. Процесс Каменева и Зиновьева сильно поразил воображение Софьи Петровны, но она с непривычки к газетам не следила за ним изо дня в день. Но на этот раз Наташа втянула ее в чтение газет и они ежедневно прочитывали вместе все статьи о новом процессе. Очень уж упорно заговорили вокруг о фашистских шпионах, о террористах, об арестах... Подумать только, эти негодяи хотели убить родного Сталина. Это они, оказывается, убили Кирова. Они устраивали взрывы в шахтах, пускали поезда под откос. И чуть ли не в каждом учреждении были у них свои ставленники.

Одна машинистка в бюро, только что вернувшаяся из дома отдыха, рассказала, что в соседней с ними комнате жил молодой инженер, она иногда с ним по парку гуляла. Один раз ночью вдруг приехала машина и его арестовали: он оказался вредителем. А на вид такой приличный — и не узнаешь.

В доме Софьи Петровны, в квартире 104, напротив, тоже кого-то арестовали — коммуниста какого-то. Комнату его запечатали красными печатями. Софье Петровне рассказал управдом.

Софья Петровна по вечерам надевала очки — у нее в последнее время развилась дальнозоркость — и читала вслух газету Наташе. Скатерть была кончена, Наташа вышивала теперь накидку Софье Петровне на постель. Они говорили о том, как наверное возмущен теперь Коля. Да и не только Коля: возмущены все честные люди. Ведь в поездах, пущенных под откос вредителями, могли быть дети! Какое бессердечие! Изверги! Недаром троцкисты тесно связаны с Гестапо: они и в самом деле не лучше фашистов, которые в Испании убивают детей. И неужели, неужели доктор Кипарисов участвовал в их бандитской шайке? Его не раз приглашали на консилиум вместе с Федором Ивановичем. После консилиума Федор Иванович приводил его домой, попить чайку, посидеть. Софья Петровна видела его совсем близко — вот как сейчас Наташу видит. И теперь он вступил в бандитскую шайку! Кто бы мог ожидать? Такой почтенный старик.

Однажды вечером, прочитав в газете перечень преступлений, совершенных подсудимыми, прослушав тот же перечень по радио, они с Наташей так ясно представили себе оторванные

руки и ноги, горы изуродованных трупов, что Софье Петровне сделалось страшно остаться одной у себя в комнате, а Наташе страшно идти по улице. В эту ночь Наташа ночевала у нее на диване.

Всюду, на всех предприятиях, во всех учреждениях собирались митинги, и в их издательстве тоже состоялся митинг, посвященный процессу. Предместкома заранее обошла все комнаты и предупредила, что если есть такие несознательные, которые хотят уйти с собрания, то пусть имеют в виду: выходная дверь заперта. На собрание явились поголовно все, даже работники редакционного сектора, которые обыкновенно манкировали. Выступил директор и кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения. После него говорил парторг, товарищ Тимофеев. Останавливаясь после каждого двух слов, он сказал, что враги народа орудуют повсюду, что они могут проникнуть и в наше учреждение и потому всем честным работникам необходимо неустанно повышать свою политическую бдительность. Затем слово было предоставлено председателнице месткома, Анне Григорьевне. — Товарищи! — произнесла она, опустила веки и смолкла. — Товарищи! — она сжала тонкие пальцы с длинными ногтями. — Подлый враг протянул свою грязную лапу и к нашему учреждению. — Все замерли. Камея опускалась и поднималась на полной груди Анны Григорьевны. — Предыдущей ночью арестован бывший заведующий нашей типографией, ныне разоблаченный враг народа Герасимов. Он оказался родным племянником московского Герасимова, разоблаченного месяц назад. При попустительстве нашей партийной организации, страдающей по меткому выражению товарища Сталина, идиотской болезнью беспечности, Герасимов продолжал, с позволения сказать, «работать» в нашей типографии уже после разоблачения его родного дяди, московского Герасимова.

Она села. Грудь ее поднималась и опускалась.

— Вопросов нет? — осведомился директор, председательствовавший на этом собрании.

— А что... сделали... в типографии? — робко спросила Наташа.

Директор кивнул предместкома.

Что сделали? — высоким голосом отозвалась она, поднявшись со стула. — Я, кажется, товарищ Фроленко, ясно, русским языком объяснила здесь, что наш бывший заведующий типографией, Герасимов, оказался родным племянником того, московского, Герасимова. Он осуществлял повседневную родственную связь со своим дядей... разваливал в типографии стахановское движение... срывал план... по указаниям родственника. При преступном попустительстве нашей партийной организации.

Наташа больше не спрашивала.

Вернувшись после собрания домой, Софья Петровна села писать письмо Коле. Она написала ему, что у них в типографии открылись враги. А на Уралмаше? Всё ли там благополучно? Как честный комсомолец, — Коля обязан быть бдительным.

В издательстве явственно ощущалось какое-то странное беспокойство. Директора ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый парторг то и дело входил в бюро, отпирал дверь собственным французским ключом и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть. Вежливый бухгалтер, которому откуда-то всегда всё было известно, рассказал Софье Петровне, что партийная организация заседает теперь каждый вечер. — Милые бранятся!

— сказал он, многозначительно усмехаясь. — Анна Григорьевна во всем обвиняет парторга, а парторг директора. Насколько я понимаю, предстоит смена кабинета.

— В чем обвиняет? — спросила Софья Петровна.

— Да вот... никак договориться не могут, кто из них Герасимова проглядел.

Софья Петровна ничего толком не поняла, и в этот день ушла из издательства в какой-то смутной тревоге. На улице она обратила внимание на высокую старуху, в платке поверх шапки, в валенках, в калошах и с палкой в руке. Старуха шла, выскивая палкой где не скользко. Лицо ее показалось Софье Петровне знакомым. Да это Кипарисова! Неужели она? Боже, как она изменилась!

— Мария Эрстовна! — окликнула ее Софья Петровна.

Кипарисова остановилась, подняла большие черные глаза и с видимым усилием изобразила на лице приветливую улыбку.

Здравствуйте, Софья Петровна! Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш верно взрослый уже? — Она стояла, держа Софью Петровну за руку, но не глядя ей в лицо. Огромные глаза ее в смятении бегали по сторонам.

— Мария Эрастовна, — сердечно сказала Софья Петровна. — Я так рада, что встретила вас. Я слышала, у вас неприятности... с Иваном Игнатьевичем... Послушайте, мы ведь с вами друзья... Иван Игнатьевич Колю крестил... конечно, это теперь не считается, но мы-то ведь с вами старые люди. Скажите — Ивана Игнатьевича обвиняют в чем-нибудь серьезном? Неужели эти обвинения имеют под собой какую-нибудь почву? Я просто не могу, не могу поверить. Такой прекрасный, такой почтенный врач! Муж всегда уважал его и как клинициста ставил выше себя.

— Иван Игнатьевич ничего не сделал против советской власти, — угрюмо сказала Кипарисова.

— Я так и думала! — воскликнула Софья Петровна. — Я ни минуты в этом не сомневалась, я так всем и говорила...

Кипарисова мрачно на нее смотрела черными огромными глазами.

— До свиданья, Софья Петровна, — сказала она без улыбки.

— Когда Иван Игнатьевич вернется, зовите меня на пирог, — проговорила Софья Петровна. — Да что вы, право, такая расстроенная? Раз Иван Игнатьевич не виноват — значит, всё будет хорошо. В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться. Просто недоразумение. Смотрите же, будьте молодцом... Пришли бы когда-нибудь чайку выпить!

Кипарисова зашагала по панели, постукивая палкой об лед.

«Неужели и я так постарела? — думала Софья Петровна, — лицо черное, всё в морщинах. Да нет, не может быть, я еще не такая. Она просто распустилась уж очень: валенки, палка, платок... Для женщины много значит не распускаться, следить за собой. Ну, кто теперь носит валенки? Не восемнадцатый год. Вот и выглядит на 65 — а ей не больше пятидесяти.... Хорошо, что Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена знает.

Я так и думала, что это просто недоразумение и ничего больше».

## 8

На следующий день машинописное бюро спешно кончало полугодовой отчет. Все знали, что ночью, со «Стрелой», директор выедет в Москву, чтобы завтра доложить о полугодовой работе издательства в Отделе печати ЦК Партии. Софья Петровна торопила машинисток. Наташа писала, не отрываясь, весь обеденный перерыв.

В 3 часа отчет в четырех экземплярах лежал перед Софьей Петровной и она аккуратно раскладывала его по четырем копиям. Не жалея зажимок, она ровненько скалывала листы.

А секретарша директора всё не шла за отчетом. Софья Петровна решила сама его отнести в кабинет.

У полуоткрытых дверей директорского кабинета она столкнулась с парторгом. — Туда нельзя! — сказал он ей, не поклонившись, и, хромая, прошел в другую комнату. Вид у него был востропанный.

Софья Петровна заглянула в полуоткрытую дверь. Перед письменным столом на коленях стоял незнакомый мужчина и вынимал из тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете был усыпан бумагами.

— В котором часу будет сегодня товарищ Захаров? — спросила Софья Петровна у пожилой секретарши.

— Он арестован, — одними губами, без голоса, ответила ей секретарша. — Сегодня ночью.

Губы у нее были голубые.

Софья Петровна понесла отчет обратно в бюро. Когда она дошла до дверей бюро, она почувствовала, что у нее слабеют колени. Грохот машинок оглушил ее. Знают они уже или не знают? Они стучали как будто ничего не случилось. Если бы ей сообщили, что директор умер, она была бы менее поражена. Она села на свое место и начала машинально снимать зажимы с листов. Вошел Тимофеев, открыв дверь собственным ключом. Софья Петровна впервые заметила, что, несмотря на хромоту, парторг держится прямо и походка у него мерная. «Простите!»

— сказала она испуганно, когда он, проходя, нечаянно задел ее плечом.

В половине пятого, раздался, наконец, звонок. Софья Петровна молча сошла с лестницы, молча оделась и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна остановилась перед лужей, сосредоточенно обдумывая, как ее обойти. К ней подошла Наташа. Наташа уже знала. Ей сказала Эрна Семеновна.

— Наташа, — начала Софья Петровна, когда они дошли до угла, где обыкновенно прощались. — Наташа, вы верите, что Захаров виноват в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха... Наташа, ведь мы-то знаем...

Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свою уверенность. Захаров, большевик, их директор, которого они видели каждый день, Захаров — вредитель! Это была невозможность, чепуха, реникса, как говорил когда-то Федор Иванович. Но ведь он такой видный партиец! Его знали в Смольном, и в Москве, его не могли арестовать по ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!

Наташа молчала.

— Зайдемте к вам, я вам сейчас всё объясню, — сказала вдруг Наташа с необычайной торжественностью.

Они вошли. Молча разделись. Наташа вынула из своего старенького портфельчика акуратно сложенную газету. Она развернула перед Софьей Петровной газету и указала ей подвал на вкладной странице.

Софья Петровна надела очки.

— Понимаете, дорогая, его могла завлечь, — шепотом сказала Наташа, — женщина...

Софья Петровна принялась читать.

В статье рассказывалось о некоем советском гражданине А., честном партийце, который был командирован советским правительством в Германию, с целью освоить применение недавно изобретенного химического препарата. В Германии он честно исполнял свой долг, но вскоре увлекся некоей С., элегантной молодой женщиной, сочувствовавшей, якобы, Советскому Союзу. С. нередко навещала гражданина А. у него на квартире. И вот, однажды, гражданин А. обнаружил пропажу

из бюро серьезных политических документов. Квартирная хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество немедленно порвать связь с С., но сообщить о пропаже документов товарищам мужества у него не хватило. Он уехал обратно в СССР, надеясь честной работой советского инженера загладить свое преступление перед Родиной. Целый год он работал спокойно и начал уже забывать о своем преступлении. Однако, замаскированные агенты гестапо, проникшие в нашу страну, начали его шантажировать. Запуганный ими А. выдал им секретные планы того завода, на котором работал. Доблестные чекисты разоблачили окопавшихся агентов фашизма: нити следствия привели к несчастному А.

— Вы понимаете? — шепотом спросила Наташа. — Нити следствия... Наш директор, конечно, хороший человек, честный партиец. Но ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был сначала честным партийцем... Всякого честного партийца может опутать смазливая женщина.

Наташа терпеть не могла смазливых женщин. Она признавала только строгую красоту и не находила ее ни в ком.

— Говорят, наш директор бывал за границей, — вспомнила Наташа. — Тоже в командировке. Помните, лифтерша Марья Ивановна рассказывала, что он привез своей жене из Берлина голубой вязаный костюм?

Статья сильно смутила Софью Петровну, и всё-таки ей еще не верилось. То какой-то А., а то их Захаров. Выдержанный партиец, сам докладывал о процессе. И при нем издательство всегда выполняло план с перевыполнением.

— Наташа, ведь мы-то знаем, — устало сказала Софья Петровна.

— Что мы знаем? — с азартом заговорила Наташа. — Мы знаем, что он был директором нашего издательства, а больше ничего мы, собственно, не знаем. Разве нам известна его жизнь? Разве вы можете за него поручиться?

И в самом деле: Софья Петровна не имела ни малейшего представления о том, чем был занят товариш Захаров, когда не председательствовал на издательских собраниях и не водил девочку под елкой. Мужчины — все, все до единого, страшно



любят смазливых женщин. Какая-нибудь наглая горничная — и та могла прибрать к рукам любого мужчину, даже порядочного. Если бы Софья Петровна не выгнала Фаню во-время — еще неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание с Федором Ивановичем.

— Давайте чай пить, — сказала Софья Петровна.

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог быть.

Они пили пустой чай. Обе были так утомлены, что полезли спуститься в магазин за булкой или пирожными. «Завтра будет тяжело в издательстве», думала Софья Петровна. «Будто покойник в доме. Что ни говори, а жаль директора». Она вспомнила полуоткрытую дверь кабинета и мужчину на коленях перед столом. Она только теперь поняла, что это был обыск.

Наташа собралась уходить. Она аккуратно сложила газету и спрятала ее в портфель. Потом налила себе в стакан кипятку и на прощанье стала греть о стакан свои большие красные руки. Они у нее были отморожены в детстве и всегда мерзли.

Вдруг раздался звонок. И второй. Софья Петровна пошла открывать. Два звонка — это к ней. Кто мог придти так поздно? За дверями стоял Алик Финкельштейн.

Видеть Алика одного, без Коли, было противоестественно.

— Коля!? — вскрикнула Софья Петровна, схватив Алика за висящий конец его шарфа. — Брюшной тиф?

Алик, не глядя на нее, медленно снимал калоши.

— Тссс! — выговорил он, наконец. — Пройдемте к вам.

И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги.

Софья Петровна, не помня себя, шла за ним.

— Вы только не пугайтесь, ради Бога, Софья Петровна, сказал он, когда она притворила дверь, — спокойненько, пожалуйста, Софья Петровна, пугаться, право, не стоит. Ничего страшного нет. Поза-поза-позавчера... или когда это? ну, перед тем выходным... Колю арестовали...

Он сел на диван, двумя рывками развязал шарф, бросил его на пол и заплакал.

## 9

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт; сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю, как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась? Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги. — Ключи? Вы оставили там ключи? — закричала она, подступая к Алику. — Вы оставили кому-нибудь ключи?

Ключи? Какие ключи? — оторопел Алик.

— Боже, какой же вы глупый! — выговорила Софья Петровна, и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи — да ключи... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей.

— Ведь он... ведь его... — говорила Софья Петровна, отстраняя стакан — ведь его... уже наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас наверное будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека и подушка стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна. — Вот что, — ска-

зал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами — мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихоньку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули... или что-нибудь еще... что у вас ночью угар был... я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Наташа поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями озаряли комнату. Белый квадрат света, как согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю, под конвоем, приводят к следователю. Следователь — красивый военный, весь в ремнях и карманах. — Вы Николай Фомич Липатов? — спрашивает Колю военный. — Я — Николай Федорович Липатов, — с достоинством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. — Ба! — говорит он, — как я сразу не узнал вас? Да ведь вы — тот молодой инженер, портрет которого я недавно видел в «Правде»! Простите пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов... троцкист, фашистский наймит, вредитель...

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общежитие, и узнав, что Алик выехал в Ленинград — Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в шесть утра, когда уже снова задребезжали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу, в полумглу. По-прежнему оттепель, но за ночь лужи подернулись легким льдом.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, идти?

Алик говорил: в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А спрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

— В 9 часов пускать будут, — сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

— Тут ходить нельзя, гражданка, — сказал часовой.

Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкую, снежную пустыню Невы. Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. «Наверное сюда снег свозят со всего города», подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин среди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки, и почти все в валенках и калошах. Они притоптывали ногами и дули на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли, — размышляла от нечего делать Софья Петровна, — а мороза-то нет, снова тает». У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ждали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого толпились женщины — дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ждут? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые жен-

щины. От нечего делать Софья Петровна прошла раза два сквозь толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, перевязанного шарфом крест на крест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые — может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки, сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

— Вам список? — спросила старушка дружелюбно. — В парадной 28.

— Какой список?

— На «Л» и «М»... Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я и подумала, вы тоже об арестованном.

— Да, о сыне... — с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей пронизательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, зачем пришла она, смутно зашевелилась в ее душе. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах, да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную — роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову — заиндевший портфель, свернувшись лежала женщина.

— Записываться? — спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

— Да я, собственно, не знаю, — растерянно произнесла Софья Петровна. — Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске... Понимаете ли, просто как однофамильца...

— Говорите, пожалуйста, тише, — с раздражением обормовала ее женщина. У нее было интеллигентное, усталое лицо.

Списки отбирают, и вообще... Как фамилия?

— Липатов, — робко ответила Софья Петровна.

— 344, — сказала женщина, записывая. — Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

— 344, — повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа всё росла. — Ваш какой номер? — то и дело спрашивали Софью Петровну. — Ну, вам сегодня не попасть, — сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски. — Мы-то еще с вечера записавшись... — Список где? — шопотом спрашивали другие... Было уже светло. Наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, обвязанный шарфом. У него были кривые ножки и он еле поспевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софья Петровна издали увидела, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта. Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке толпились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали ворота, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий и последующий номер. А сзади всё напирало и напирало люди. Софью Петровну крутило как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб.

Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера; 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 — сгорбленная, древняя старуха. — Ваш муж тоже латыш? — спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза. — Нет, почему же? — ответила Софья Петровна. — Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский.

— Скажите, пожалуйста, у вас уже есть путёвка? — спросила у Софьи Петровны старушка-еврейка с серебряными волосами, — та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежавшая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке... Ну причем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом городе. Странно было думать, что в тридцати минутах

ходьбы ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке...

Отыскав своих соседей, люди стояли уже спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохеньких туфельках, — это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины — матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина — муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. «Воображаю, какое это несчастье для матери, узнать, что ее сын вредитель», думала Софья Петровна.

Изредка, по скрипучей узкой лестнице, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина. — Передала? — спрашивали ее внизу. — Передала, — она показывала розовую бумажку. А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила — выслан! — и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери. Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах.

— Тише! — зашикали на нее со всех сторон. — Он шуму не любит, закроет окно и всё. Тише!

Молочница поправила платок и ушла в слезах.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые — узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему. — Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть, — сказал ей мужчина. — «До двух? Неужели до двух здесь стоять?» с тоской подумала Софья Петровна, «ведь сейчас не больше десяти».

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие, немногословные разговоры. — Вашего-то

когда взяли? — Да уж третий месяц пошел. — А моего — две недели. — Скажите, вы не знаете, где можно навести справки? — В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего. А вы на Чайковской были? А на Герцена? — На Герцена военная. — Вашего-то когда взяли? — У меня дочка. — А на Арсенальной, говорят, белье принимают. — Вы кто, латыши будете? — Нет, мы поляки. — Вашего-то когда взяли? — Да уже полгода. — А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи, Боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошлый раз акурат в два захлопнул!

Софья Петровна повторяла про себя, что она спросит: — Привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью — или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна, следом за древней старушкой, вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три — в первую комнату. Через четыре — во вторую и через пять — следом за извивающейся очередью — снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошке широкие плечи и большие руки тучного мужчины. Было 3 часа. Софья Петровна сосчитала — перед ней еще 59 человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. «Ну, уж я-то с ним поговорю», — нетерпеливо думала Софья Петровна, — «пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору, или к кому там... Как много у нас в быту некультурности! Духота, вентиляции не могут устроить. Надо бы написать письмо в «Ленинградскую Правду».

И вот, наконец, перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко 30 рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо встала на место старухи. Она увидела молодого, тучного человека, с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками. — Я хотела бы узнать, — начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо чело-



века за окошечком — здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке...

— Фамилия? — перебил человек.

— Липатов. Его арестовали по ошибке и вот уже несколько дней я не знаю...

— Помолчите, гражданка, — сказал человек, наклоняясь над ящиком с карточками. — **Липатов** или **Лепатов?**

— Липатов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить...

— Буквы?

Софья Петровна не поняла.

— Звать-то его как?

Ах, инициалы? Эн, эф.

Нэ или мэ?

Эн, Николай.

Липатов, Николай Федорович, — сказал человек, вынимая из ящика карточку. — Здесь.

— Я хотела бы узнать...

— Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий! Софья Петровна поспешно протянула в окошечко 30 рублей.

Ему не разрешено, — сказал человек, отстраняя бумажку.

Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

Уходите! — шептали Софье Петровне сзади. — А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустилась на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован, и когда можно будет получить с ним свидание.

*(Окончание следует)*

*Лидия Чуковская*

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\*

Я просыпаюсь  
И рассыпаюсь.  
Но не на части,  
Не на куски, —  
От меня откалываются двойники.

Отделяются  
И удаляются.

Один из них ставит чай на плиту  
И молоко наливает коту.  
Еще сонный, еще ночной  
Разговаривает с женой.

А щеки бреет который —  
Зацапан уже конторой.  
В учреждении оном  
Он лает по телефонам.  
И скоро его нутро  
Будет трястись в метро.

А третий — поэт, лунатик —  
Слушает ветра натиск,  
А доведется около  
Какой-нибудь юбки вертеться —  
Она у него, как колокол  
Раскачивается в сердце.

Он удивлен.  
И слышно,  
Как дышит четверостишно.

Нас всех рисовал художник,  
Художник из тех, дотошных.  
Все вышли, как на портрете —  
Первый, второй и третий.

Я выгляжу, как начальник:  
Не голова, а чайник.  
А вместо руки обрубок  
Из телефонных трубок.

Кот о пиджак мой трется,  
И у меня с ним сходство.  
А у плиты жена  
Пылает, подожжена.  
И на жену из блюда  
Молочные струйки льются.

И всем нам наперерез:  
МАНЕ-ТАКЕЛ-ФАРЕС  
С соответственным переводом:  
НЕ ОПОЗДАЙ НА РАБОТУ.

Выдала кисть кубиста,  
Что такое убийство.

### ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

С веком рассорясь,  
Жил стихотворец.

Он напевал —  
А его наповал.

Он теперь, как прочие,  
Ждет, занявши очередь:

Из могилы выроют,  
Реабилитируют.

*Иван Елагин*

# РАВЕННА

Всё, что минутно, всё, что бrenно,  
Похоронила ты в веках.  
Ты, как младенец, спишь, Равенна  
У сонной вечности в руках...

Пожалуй Блок, нынче, этих стихов не написал бы, а если бы написал, то понадобились бы ему для этого гораздо большие усилия воображения. Равенна изменилась. Не столько за эти полвека с лишним, сколько за последние десять-пятнадцать лет. Даже не совсем та она сегодня, какая была всего лет пять тому назад. Конечно, основные достопримечательности ее остались те же. Посещают ее для того же самого, для чего посещали раньше. Древняя Равенна, пятого и шестого века, всё так же кажется здесь уснувшей, спеленутой или в саван облаченной веками и веками, прошедшими после тех веков. Даже еще призрачней стала она, может быть. Но если не о ней говорить, а о Равенне в целом, то теперь уже не скажешь, что похоронила она бывшее, хранит его, и ни о чем преходящем, нынешнем не заботится.

Перемена произошла по двум причинам. Во-первых то, чем Равенна единственна, и в Италии, и вообще в мире, то искусство, которое лучше, чем где бы то ни было, представлено здесь, привлекает к себе нынче гораздо больше внимания и восхищения, чем в начале века, не говоря уже о прошлом веке и о предшествовавших ему веках. Посещают ее поэтому теперь раз во-сто больше, чем во времена Блока. В древних церквах ее с мозаиками бывает прямо-таки не протолкнуться. Возле самой знаменитой, Сан Витале, автокары летом громоздятся дюжинами — привозят, увозят, поджидают. Разноязычные толпы устремляются сюда с побережья, где растут как грибы купальные лагеря и гостиницы, вместе или врозь. Стро-

ят гостиницы и в самом городе; расширяют, где можно, его улицы; пекутся о размещении битком набивающих его летом машин. Но если он, кроме того, пообчистился, насадил кое-где цветы и деревья, завел лавки понарядней, то объясняется это не одним нашествием куда больше, чем двенадцати языков, которые и предъявляют требования городу, и обогащают его, но еще и другой причиной: чем-то, чего еще двадцать лет назад никто не предвидел, чему весьма удивился бы и сам Блок, не говоря уже о помянутых в его стихах Теодорихе и Галле Плацидии (по-греко-русски названной им Плакидой). Этим двум такое совсем было бы непредставимо; и хоть поведал нам поэт:

Лишь по ночам, склонясь к долинам,  
Ведя векам грядущим счет,  
Тень Данта с профилем орлиным  
О Новой Жизни мне поет,

всё-таки о такой новой жизни тень эта ему не пела: Данте, ведя счет векам, нашего века не учел; а если бы теперь, лишний раз склонился он к здешним долинам (или верней равнинам), то разгневался бы и отвернулся, или, быть может, к одной из песен «Ада», прибавил бы, содрогнувшись, пять-шесть проклинающих терцин.

Дело в том, что в 1953 году, ныне покойный технолог и крупный общественный деятель Энрико Маттеи, побывав в Равенне, возымел гениальную в своем роде мысль. Окрестное население с незапамятных времен пользовалось прорывавшимся тут кое-где из недоосушенных болот газом, добывало его домашними средствами и готовило себе на этом газе пищу. Маттеи первый догадался, что можно добывать его совсем другим способом, в совсем другом количестве, и что газ этот, метан, пригоден отнюдь не для одной лишь варки супа или кукурузной каши, именуемой «полента». С тех пор и стали строить неподалеку от гробницы Теодориха эйфелевы башни в полроста или в треть парижской, на чьих верхушках вспыхивают то и дело уже не болотные огоньки, и прежде мерцавшие тут порой на горизонте, а полыхающие злобно, адские

## В. ВЕИДЛЕ

и впрямь огни. С тех пор и началась для Равенны новая жизнь, непохожая на ту, о которой писал Данте и думал Блок, но уже обновившая город и сулящая ему прогресс в геометрической прогрессии. Есть мечтательные спекулянты или — будем добрей — спекулирующие мечтатели, уверенные, что через пятьдесят лет он догонит, если не перегонит Милан.

\* \* \*

«Мечты, мечты...» Но не очень я чувствую их сладость, да и рифмы к ней давно мне уже не достает. Займусь поэтою другим: пойду назад, погляжу сквозь те огни на город, повернусь лицом к нему, как Лотова жена. Остолбенеть не побоюсь, да и живет ведь он пока, в большей мере чем метаном, людьми, которые, все как ни на есть, приезжая сюда, хоть на день или два, даже если футуристами были, превращаются в пассеистов. Не будущего Равенны ищут они, а прошлого. И очень давнего прошлого: позволительно даже и пожалеть, что менее давним интересуются так мало.

Удивляться тут, однако, нечему. Никакие века не оставили здесь ничего, что могло бы хоть издали сравниться с наследием пятого и шестого века. Только во времена, когда наследие это вовсе не ценилось, мог этот город казаться всего навсего одним из не слишком прославленных и парадных, но прелести не лишенных итальянских городов, соседствующим к тому же с великолепными сосновыми лесами, на много миль тянувшимися вдоль моря. Такой казалась Равенна Байрону, когда он в просеках этих лесов ездил верхом, проникая порой и в самую их чащу, когда снимал палаццо Гуйччюли, в семнадцатилетнюю жену его владельца был влюблен и держал в этом палаццо (который цел и сейчас) десять лошадей, восемь собак, три обезьяны, пять кошек, аиста, орла, сокола, ворону и пять павлинов. Прожил он там больше двух лет и писал оттуда: «Без правительства здесь живут и без закона, но живет здесь хорошо. Подсылают наемных убийц, убивают время от времени кого-то, но волнения это ни у кого не вызывает».

Беспорядок тогдашний был наследством неустойчивых времен: при Наполеоне Равенна двенадцать раз переходила из рук в руки и лишь незадолго до того вернулась (на 45 лет, до объединения Италии) в лоно церковного государства, где пребывала с начала XVI-го века, когда отторг ее от Венеции воинственный папа Юлий II. Отторг походя, между прочим, да и в Венеции слез о ней не проливали: ни для кого она не была, уже давно, лакомым куском. Давно речные пески засыпали ее гавань, давно между гаванью и морем выросли те густые сосновые леса... Не многим больше полувека красовался венецианский крылатый лев на одной из двух колонн равеннской серединной площади (на другой был и есть св. Аполлинарий, льва сменил св. Виталий). До этого, Равенна принадлежала самой себе. Не то, чтобы, впрочем, полностью самой себе. Как в большинстве других итальянских городов того времени коммунальная ее вольность на деле была упразднена владичеством могущественных семейств. Во второй половине XIII века хозяева ее звались Траверсари, в четырнадцатом их сменила семья Полента. Дочь Гуидо, положившего начало владичеству этой семьи, была та самая Франческа, которая вышла замуж за тогдашнего повелителя Римини (из рода Малатеста), полюбила его брата, погибла вместе с ним, и была воспета в тех дантовских стихах, о которых, хоть по наслышке, знают и те, кто никогда не читал «Божественной комедии».

Именно здесь, в Равенне, Данте «Божественную комедию» и закончил, как закончил здесь и свои дни. Гостеприимство оказал ему и его сыновьям внук того, «старого» Гуидо, Гуидо Новелло. Тут провел он несколько лет, самых бестревожных в его жизни; тут, после торжественных похорон в монастырской церкви св. Франциска, был и упокоен его прах. Упокое-ние это оказалось, однако, беспокойным. Когда один из сыновей Лоренцо Медичи стал (в 1513 году) папой Львом Десятым, он решил вернуть Флоренции останки его изгнанного поэта. Гроб вскрыли; он был пуст. Ничего там не нашли, кроме сухих листьев, выпавших из лаврового венка и двух-трех мелких косточек исчезнувшего скелета. Не вернулся изгнанник на родину; гробница его осталась в Равенне. Еще в венецианское

время украсил ее венецианец Пьетро Ломбардо не слишком удачным портретным рельефом. В конце XVIII-го века ее перенесли в ту маленькую, для нее выстроенную часовню, близ церкви Франциска, где она находится и сейчас. А в 1865-м году, ровно через шестьсот лет после рождения поэта, был, неподалеку отсюда, найден и его потерянный скелет. При строительных работах обнаружили ящик, в котором упрятали этот скелет подальше францисканские монахи на тот случай, если бы понудили их уступить его Флоренции. В ящике нашли удостоверительную записку; да и как раз тех, позабытых в гробу косточек тут и не хватало. Скелет, по словам очевидца, был красно-коричневого цвета. Его сперва выставили в стеклянном гробу и посмотреть на него стекались люди со всех концов Италии; потом вернули прежнему гробу, водворили в часовню-мавзолей. В 1908-м году, за год до того, как посетил Равенну Блок, возжгли над гробом вечную лампаду. Масло для нее — из тосканских олив — каждый год доставляет Флоренция во искупление своей вины перед поэтом.

\* \* \*

С поминовением Данте, с памятью о Байроне связан город, но ни до, ни после окончания «Божественной комедии», ни в какой области, ничего из ряда вон выходящего создано не было под защитой давно разрушенных его стен. Жизнь вел он незаметную, вдалеке от громких дел и временами впадал в дремоту, казавшуюся непробудной. Французского именитого мужа, Ипполита Тэна, он отнюдь не очаровал. Посетил его Тэн накануне того года, когда был обретен тот красно-коричневый костяк, и нашел, что местами Равенна — чистейшая деревня, в других же местах полна разрушающихся башен и что посреди ее улиц кое-где текут ручейки. Видел он и всё то, что мы осматриваем теперь, но и этим остался недоволен: в его время не принято было восхищаться ни архитектурой пятого-шестого века (кроме разве что Айи-Софии), ни мозаикой тех же веков, с ее «неумелым», как тогда считалось, рисунком, и отсутствием единогласно одобрявших современниками Тэна ре-



алистических намерений. Был, правда, один современник (даже и старше его на десять лет) швейцарец Яков Буркгардт, побывавший здесь раньше и нашедший, что большая здешняя крещальная церковь, — именуемая баптистерием православных, в отличие от построенной готами для крещения ариан — по красочно-декоративной красоте внутреннего своего убранства едва ли вообще с чем-либо сравнима; но такой свободы суждений в делах искусства Тэну не было дано. Да и в запустении тут находилось многое, и свободе оценок это, разумеется, не помогало. Малая крещальная церковь, некогда арианская, отдана была под товарный склад, в другой церкви (мозаики которой к концу века перекочевали в Берлинский музей) был рыбный рынок. Гробница Теодориха стояла посреди болота, откуда метана при помощи эйфелевых башен еще не извлекали, но которое и не осушали. Особого впечатления этот странный мавзолей остготского короля — массивный, толстостенный, покрытый непомерно тяжелым полукруглым монолитом — на Тэна не произвел; он только отметил, что двери его ввалились, прогнив от сырости. «Внутри, записал он, ничего нет кроме алтаря, с карандашными надписями на нем. И для «настроения» прибавил: «В мутной воде квакают лягушки».

Такова была Равенна, так видели Равенну сто лет тому назад. Мы ее видим теперь иначе. Мы ценим всего больше памятники тех времен, когда была она столицей западной римской империи, столицей Италии при Теодорихе, столицей византийского экзархата после него, то-есть всё еще столицей Запада, поскольку восточный император предъявлял на него права, пытался отвоевать его и править им из Константинополя, через своего экзарха. В мавзолее Галлы Плацидии, возведенном ею самой, когда она (номинально, скорее чем на деле) управляла империей от имени малолетнего своего сына, мы не скажем, как Тэн, глядя на мозаику с изображением Доброго Пастыря, что овцы, пасущиеся возле него, покрыты не шерстью, а рыбной чешуей, и что сам он безобразен. Выйдя отсюда, мы с благоговением входим в соседний, но построенный на сто лет позже храм св. Виталия, дивясь не только давно уже

прославленным на весь мир мозаикам (из которых самые знаменитые изображают две процессии, во главе с императором Юстинианом и с его женой Феодорой), но и утонченно-сложному замыслу восьмиугольного этого здания, всё затмевающего собой из того, что сохранилось от тех времен, кроме одной св. Софии. Мы не можем не восхищаться мозаиками обоих баптистериев или церкви, построенной Теодорихом возле своего, несуществующего более, дворца и называемой ныне Сант Аполлинаре Нуово, или загородной церкви Сант Аполлинаре in Classe, посвященной с самого начала св. Аполлинарию и построенной там, где когда-то была гавань Равенны (classis по-латыни значит «флот»). И опять-таки, в этой последней церкви восхищает нас столько же и ее архитектура: то, как замыкает апсида ее широкий главный корабль, замыкает не одним своим выгибом, но и мозаикой сверху этого выгиба, и то как сопутствуют ему боковые корабли, отделенные от него колоннами, столь мало похожими на прежние, классические колонны. Научились мы ценить и те равеннские церкви, где мозаик больше нет (прежде они здесь были всюду): Сан Франческо, где погребен был Данте и которая сперва называлась церковью св. Апостолов при Теодорихе построенный храм св. Агаты; превосходно восстановленную после разрушений последней войны церковь Иоанна Богослова, Сан Джованни Эвангелиста, просторную, светлую базилику воздвигнутую по обету благочестивой императрицы Галлы, данному на корабле во время бури, и где была мозаика, изображавшая ее с сыном и дочерью на этом корабле, в молитве о своем спасении, а за его рулем их заступника, евангелиста Иоанна.

Мы видим теперь Равенну не совсем так, как видел ее — хоть и в нашем уже веке — Блок; совсем не так, как видел ее Тэн; без сомнения иначе, чем видел ее Байрон. Отчасти мы даже вернулись к тому, как видели ее в XIV веке Данте или Боккачио, который писал о ней, что она «почти сплошь гробница священнейших погребенных; куда ни ступишь, всюду попираешь ногой их пепел». К этого рода чувству мы приблизились в том смысле, что сквозь сгустившиеся еще сильнее сумерки веков видим или силится разглядеть ту первую, древ-

нюю Равенну. Ясно себе ее представить нам трудно. Она была ближе к морю, хоть уже и отступила от него дальше, чем при Августе, когда строился ее военный порт. В ней было множество каналов; она едва ли не была Венецией до Венеции. Но даже ни о чем этом не думая, мы всё же устремляемся, пренебрегая всем другим, к ее мозаикам, в уцелевшие до наших дней древние ее храмы. Мы называем это искусство византийским и восторгаемся им — одни из нас искренно, другие потому, что византийским искусством (в отличие от времен Тэна) полагается нынче восторгаться. Даже новейшую и роскошнейшую из построенных здесь гостиниц так и называли «Византией». В уме современников наших гнездится нечто, не скажу, чтоб очень ясное, но побуждающее их, даже и вне Равенны, нанимать по временам, пусть и ненадолго, пристанище для своих мыслей в воображаемом Альберго Бизанцио. Но Равенна не Византия. В ее искусстве только еще намечаются некоторые византийские черты. Даже Сан Витале, включая мозаики его, хотя бы и те две императорские, быть может и выполненные, хотя бы частью, константинопольскими мастерами, еще не Византия. Ведь и Константинополь, пусть уже и в VI-м веке, еще не византийствует сполна, а лишь полагает начало Византии. Равенна же являет и свои, частью италийские, частью может быть «восточные», сирийские например, но Царьграду чуждые, особенности. Равенна, это поздний Рим. Это поздний и это новый Рим. Это и гробница, и колыбель; но колыбель превращенная в гробницу. Однако, вглядываясь в нее, мы учимся понемногу, сквозь то, что тогда умирало, прозревать то, что родилось.

\* \* \*

Сокровища Равенны — ее мозаики. Ездят туда ради них. Осматривать Равенну, это значит осматривать мозаики ее церквей, и еще, в дополнение, те ее церкви, где мозаик нет, но где они некогда были. Не так уж много их и осталось. Обозреть их все, включая даже и загородного св. Аполлинария во флоте можно в один день, а то и в пол дня. Но после столь беглого осмотра иные, — те кого они тронули и восхитили, —

чувствуют себя как то не по себе, точно дали им наскоро пробежать глазами поэтические, насыщенные звуком и смыслом строки, после чего, захлопнув книгу, поставили ее на полку, а их попросили о выходе: библиотека закрывается в шесть. Как же тут быть? Уж не остаться ли лучше до завтра, придти к девяти часам, вчитаться как следует, как это было: «Дольче колор д'ориенталь дзафиро». Нет, нельзя нам отсюда уехать, не дослушав этой музыки.

Тем более, что томик Данте можно купить и положить в карман, а вот этот «сладчайший цвет восточного сапфира», который в мозаиках здешних, вместе с изумрудом и больше золота именно нас и пленил, с собой не увезешь; никакие воспроизведения передать его не могут. Чтобы вполне насладиться хотя бы одним красочным этим волшебством, надо те мозаики видеть не раз и не два, надо всматриваться в них подолгу, надо вновь и вновь уходить и возвращаться к ним, да и плохо будет, если по нынешней скверной привычке вы только сочетание красок и возьмете на прицел, только им и захотите насладиться: вы тогда — будьте уверены в том — не оцените, не увидите должным образом и красок, и ими не насладитесь полностью. Нельзя отрывать сочетания их от сочетания форм, плоскостных или объемных, а красок и формы, вместе взятых, нельзя отрывать от выраженного ими смысла, как и всю целостно воспринятую мозаику от места занимаемого ею в архитектурном целом, потому что и это не безразлично ни для ее смысла, ни для смысла самой архитектуры. Восприятие поверхностное, частичное кое-что вам даст, но, удовлетворившись им, вы даже не будете знать, насколько оно бедней того, которое пришло бы ему на смену, если бы вы им не удовлетворились. Эстетизм (свирепствующий нынче) тем и плох, что учит довольствоваться малым, не открывая дороги к большему. Да и само собой ясно, что подход, внушаемый им, отбивает всякое желание понять памятники такого времени, как V-й и VI-й век, когда искусство осмыслялось религиозно, и вне зависимости от назначения зданий, от предмета изображений вообще не мыслилось...

\* \* \*

Нагнувшись, мы входим в низенькую дверь. Прикрыв ее, в темно-сапфирной, чуть искрящейся полумгле мы на первых порах почти ничего не различаем. Это усыпальница Галлы Плацидии. Крестообразное кирпичное зданище за полторы тысячи лет ушло в землю почти на два метра, так что коробовые его своды и куполок в четырехугольной башенке (только ее мы и видели снаружи) гораздо ближе оказались к нам, чем надлежало бы им быть. Все эти своды, люнеты под ними, купол и его тамбур покрыты мозаикой, кой-где на белом, но почти всюду на синем фоне, — частью фигурной, частью орнаментальной мозаикой, причем (вопреки готовому мнению большинства посетителей) и орнамент этот не сплошь простое украшение, и этот синий цвет не просто потому выбран, что золотой и пестрый узор так выигрышно выделяется на нем. Глаз наш теперь к сумраку привык. Алебастровые пластинки в оконцах (вместо прежних филигранно-мраморных) пропускают ровно столько света, сколько нужно, и этот медовый, золотисто-струящийся свет столь же всякой резкости лишен, как и архитектурная лепка сводов, плавно, без четких границ переходящих один в другой. Все углы и профили округлены; твердо отмечен лишь карниз, отделяющий этот горний, мозаикой явленный мир от простых и гладких стен, облицованных светлым мрамором. Если мы пройдем от двери к средокрестью (в крестообразном плане этот рукав немножко длинней других), повернемся налево, на восток (вошли мы с севера) и взглянем вверх, мы увидим в куполе над нами темно-синее ночное небо, усеянное крупными восьмиконечными звездами, уменьшающимися к середине (от чего купол кажется выше), и там, в его зените, золотой латинский крест. Продольная полоса его удлиняется к востоку: этим сказано, что он с востока поднялся. В ночном небе возвещает он день, — не просто новый день, а новое небо над новою землей, воскресение мертвых и жизнь будущего века. Крест, это сам Христос, во втором пришествии Его. Оттого, чуть ниже звезд, по углам между люнетами тамбура, сияют золотом четыре апокалиптических знамения, ставшие символами Евангелистов. Оттого, в восточном люнете, под крестом, глядяг вверх и рукой указывают на

него изображенные там апостолы Петр и Павел, а в других люнетах повторяют их жест попарно размещенные там апостолы. Всего их в тамбуре восемь; остальные четыре получили место в коробовых сводах направо и налево от купола. — Таково **главное**, хоть еще и не всё, что сказано мозаикой в месте последнего упокоения Галлы.

Благочестивая императрица воздвигла сперва, близ этого места, церковь в честь святого Креста, а некоторое время спустя повелела пристроить к ней, с южной стороны входного ее притвора, погребальную капеллу или усыпальницу (неизвестно был ли в ней с самого начала алтарь или нет). Притвор исчез, а в церкви, утратившей свою крестообразную форму и внутреннее убранство, теперь столярная мастерская. Усыпальницу предназначала Галла не для одной себя, но и для второго мужа своего, императора Константина III-го, и для брата, императора Гонория, умерших, первый за девять, второй за семь лет до нее. Все три саркофага, огромных размеров, находятся в мавзолее и сейчас. В глубине против входа — неукрашенный и с незаполненным щитом для надписи саркофаг Галлы, в котором, вопреки равеннским легендам, не довелось ей, повидимому, покоем: она умерла в Риме и вероятно погребена была там. В нишеобразном коротком рукаве креста справа от нее — будем говорить так, потому что воображала она себя погребенной именно здесь — саркофаг ее мужа; слева, в таком же углублении — брата. Обе эти гробницы украшены рельефами, символика которых связана с общей символикой мавзолея (агнцы, обозначающие Христа, Петра и Павла, пальмы, обозначающие рай, четыре райских реки, кресты). Большой люнет над гробницей Галлы отведен мозаике с изображением особо почитавшегося ею и ее семьей мученика Лаврентия. В середине мозаики, на первом плане — железная решетка, с горящим под ней костром (орудие его мученичества), слева шкаф с четырьмя евангелиями (атрибут его диаконского сана), справа он сам в развевающихся одеждах быстрым шагом движется из глубины вперед, направляясь не к решетке и костру, как обычно думают, а в реальное пространство перед собой, под сень креста, начертанного в звездном

небе. В правой руке он держит большой процессиональный крест, в левой — раскрытую книгу. Галла, лежа в гробу, видела бы его над гробом. Если же встала бы она и повернулась вослед его движенью, она прямо перед собой, в люнете над дверью увидала бы Доброго Пастыря, пасущего овец среди райских куш и холмов. Он сидит на камне, не в пастушеском, а в царском облачении, левой рукой опираясь на высокий, как у Лаврентия, золотом мерцающий крест, а правой лаская подошедшую к нему овечку, или, в образе овечки, рабу свою, усопшую Галлу, молитвами заступников и милостью Его, упокоенную в селеньи праведных.

Мозаика эта — высокое произведение искусства. Добрый Пастырь тут, впервые, не просто пастушок с ягненком на плечах, священность которого проистекает из мысли, обозначенной им, но не воплощенной в том образе, что служит ее обозначеньем. Здесь эта мысль — вместе с чувством неотделимым от нее — неразрывно слилась с тем, что мы видим, с явленным нам через искусство образом, так что образ этот, Доброго Пастыря, но притом и Небесного Царя, именно стал для нас видимою плотью мысли и чувства. Благочестивая Галла, глядя на эту мозаику, могла бы сказать: «Это и есть Спаситель, в которого верю. Вижу Его»; тогда как тот прежний пастушок только напомнил бы ей мысль о спасении. Так же напомнил бы, как напоминают эту мысль те олени с двух сторон водоема, или, выражаясь библейским языком, «лани у источника вод», что изображены в мозаиках люнетов над гробницами ее мужа и брата. Или как напоминают ее голуби у сосудов с водой, которых мы видим в подкупольных люнетах и на боковых сторонах обеих этих гробниц. Вода, там и тут, это «живая вода», вода жизни, то-есть для христианина — вода крещения, через которое входит он в новую жизнь, уже неподвластную смерти, отменяющую время. Этим и объясняется та близость крещальных символов к погребальным, что так поражает нас в раннехристианском искусстве и еще в V-м веке сказывается в сходстве символических мотивов, избираемых для украшения крещальных храмов и гробниц. Но символы эти бывают двух родов, и усыпальница Галлы как раз знаменует переход от

обозначающих, и только, к выражающим и образным, к таким воплощениям религиозных смыслов (а не простым указаниям на них), как Лаврентий победивший смерть, над ее гробом и вневременный Добрый Пастырь над дверью против него.

Так подробно, как об этих мозаиках, говорить о других не буду, но я нарочно остановился на них подольше: для примера. Кроме того, мавзолеей этот полностью сохранил свои мозаики и саркофаги; осмысленность его убранства мы можем полностью восстановить и оценить. Мы проделали эту работу; что ж, разве мы проделали ее зря? Разве теперь, глядя на те же мозаики, мы не увидим их полней и лучше? Этот анализ не увел нас от искусства: он нас увел от поверхностного услаждения им, и привел к понимающему восприятию, к усмотрению смысла сквозь видимость, и замысла сквозь исполнение. Кроме того он научил нас связывать изображения с архитектурой (и прежде всего с назначением зданий), что совершенно необходимо для суждения об искусстве тех времен. Анализ такого рода может нас от искусства увести, только если мы от основных линий символики отойдем, и увлечемся побочными ее путями. Было например подсчитано, что звезд в куполе мавзолея 567, и число это истолковано как трижды, трижды, трижды три (то-есть 81) помноженное на семь. Было замечено, что овечка, ласкаемая Добрым Пастырем, подходит к нему не справа, а слева (со стороны осужденных, а не оправданных на Страшном Суде), в чем усмотрено было сознание Галлой Плашидией своей греховности. Но не говоря уже о том, что осужденные — козлища, а не агнцы, и что все шесть овечек этой мозаики пребывают «в месте злчном, в месте покойном», такое истолкование не находит себе соответствия в непосредственно воспринимаемом зрительном образе, тогда как, например, сразу же нас «осеняет» смысл того, что все эти овцы смотрят на своего Пастыря, обращая головы к нему. Что же касается подсчета звезд, то он в лучшем случае должен быть отнесен к дополнительной символике, уже рассудочной и книжной, несравнимой с наглядно созерцаемым нами знамением последнего дня, среди ночных звезд восходящим на востоке.



\* \* \*

Из других зданий Равенны, сберегла целиком свои мозаики только древнейшая ее крещальная церковь, баптистерий православных, тогда как в построенном значительно позже, при Теодорихе, баптистерии ариан сохранилась одна лишь мозаика купола: двенадцать апостолов, с венцами своего мученичества в руках, и Крещение Спасителя в центральном медальоне. Мозаика эта более ремесленна по исполнению, чем такая же в куполе первого баптистерия, но Крещение сохранилось здесь лучше, потому что избегло реставраций. Здесь Креститель кладет руку на голову Христа, тогда как в той мозаике реставратор ухитрился вставить ему в руку чашу, из которой он поливает Христа водой: представления о соответствующем обряде были в XIX-м веке не те, что в V-м. Исказил реставратор и само изображение Христа: в XIX-м веке писали обнаженные тела тоже несколько иначе, чем в V-м. Невредимым осталось в обеих мозаиках античное речное божество, олицетворяющее Иордан, и перешедшее позже, как установленный атрибут этой темы, в наши иконы. Что же касается апостолов с венцами, то тут мозаики эти являют различие истинное и двойное.

В баптистерии православных апостолы движутся в чрезвычайно живом ритме, почти танцуя; лица их четко дифференцированы и энергично охарактеризованы. В баптистерии ариан характеристика эта куда слабей и шагают они довольно буднично. Зато здесь несут они свои венцы (замененные позже у Павла свитком, а у Петра ключами) весьма определенно к «обетованному Престолу», то-есть к трону, на котором в последний день воссядет Христос, тогда как в первом баптистерии неясно, куда и кому они их несут. В том поясе мозаичной росписи, где они изображены, престола нет, а в следующем, пониже, есть их целых четыре и чередуются они с изображением алтарей, на которых лежат раскрытые Евангелия. Исследователи удивляются этому напрасно. В те времена, такое повторение священных символов не было редкостью, а процессия с венцами сама по себе выражала приношение венцов: ее завершали мысленно, если она не завершалась наглядно.

В баптистерии православных, вслед за поясом престолов и алтарей, идут к низу еще два пояса: штукатурных изваяний и орнаментов, и синей мозаики с золотым узором и небольшими фигурами. Всё вместе дает нам прекрасный и первый по времени образец многоцветного внутреннего оформления центральной постройки. Продольного плана церкви, базилики, либо совсем не сохранили в Равенне своих мозаик, либо сохранили их лишь частично: в Сант Аполлинаре Нуово только на боковых стенах, в Сант Аполлинаре ин Класе — только в апсиде, за алтарем.

Апсида в базилике — главное. К ней обращаются взоры всех входящих в церковь, она замыкает собой колоннады, идущие от входа к алтарю, ее выгиб, нигде не повторяющийся, за вычетом маленьких боковых апсид, и полукупольное завершение ее знаменуют самое священное место храма и одновременно дают ему ту свойственную произведению искусства целостность, которой без них был бы он лишен. Апсида для базилики — то же, что купол для центральной постройки (в этом убеждает лишний раз капелла архиепископского дворца в Равенне, где в апсиде то же звездное небо и тот же крест, что в куполе усыпальницы Галлы). Изумительна апсида Сант Аполлинаре ин Класе: блаженно-зеленый райский луг с белыми овечками на нем и высокой белой фигурой св. Аполлинария посередине, над которым, в синем звездном круге, выплывает и царит торжественный триумфальный крест. В Сант Аполлинаре Нуово апсидные мозаики исчезли; цельность осмысления церкви, как и цельность впечатления от нее, этим разрушена. Зато мозаики среднего корабля, если не верхними двумя поясами, то нижним, являют нам то, чего больше нигде нет: изображающее осмысление базилики в до-апсидной, колонной ее части. Здесь шествуют мученики на одной стороне, мученицы на другой, с запада на восток, от входной стены к апсиде, медленным шагом, торжественно подвигаясь в том именно направлении, которое определяет сущность самой этой базиликальной архитектуры. Это белое шествие от земного к неземному, из тленной плоти в умопостигаемые небеса, оно то и учит нас понимать, что такое базилика.

Но самые совершенные, как и самые прославленные в Равенне, это всё же мозаики в далеко выдвинутом из восьмиугольника на восток алтарном выступе Сан Витале (других в этой не менее изумительной по архитектуре, чем по мозаикам, церкви не сохранилось; купольные заменены очень для нее неподходящей живописью XVIII века). Самая величественная из них сияет, как и следует ожидать, в полукупольном завершении апсиды. Фон ее золотой. Посредине, на голубой сфере, под которой из скал вытекают четыре райских реки, восседает юный Христос, во втором пришествии своем, и протягивает правой рукой венец св. Виталию, которого подводит к Нему ангел, а левой держит, оперев его на колено, свиток, запечатанный семью печатями. Справа, другой ангел подводит к Нему епископа Экклезия, строителя церкви, который держит на простертых вперед и покрытых мантией руках ее модель. На золотом небе над Христом — полосы сине-голубых и красно-белых облаков. Эта мозаика царит над всеми другими и над всем алтарным пространством храма. Под ней справа и слева — окруженные свитой и приносящие дары император Юстиниан и императрица Феодора, знаменитейшие мозаики Равенны, где портреты выполнены были, вероятно, мозаичистами, прибывшими из Константинополя. Юстиниан и Феодора сами в Равенне никогда не были, мозаики «представляют» их (как посол представляет своего государя), заменяют их присутствие, — и не на один раз, а на вечные времена. Замечательней всего мозаики эти именно тем, что в них одновременно изображено, сделано очевидным, как шествие приношения, хоть и небывшее, но представленное бывшим, так и вневременное неподвижное пребывание приносящих во храме. С двух сторон алтаря идут мозаики символизирующие совершаемое на нем таинство: изображения трех ангелов у Авраама и жертвоприношения Исаака с одной стороны, жертвы Авеля и Мельхиседека с другой. Рядом с ними — пророки Исая и Иеремия, Моисей на Хориве и Моисей на Синае, а сверху, над всем этим, Агнец в звездном круге, поддерживаемом на протянутых руках четырьмя ангелами в золоте и синева. Этим завершается тот поразительный красочный септаккорд, где есть

и пурпур, и чернь, и алость, и желтизна, и вместе с синим голубое, но где господствует всё же необыкновенной силы изумрудная райская зеленейшая зелень, долго еще остающаяся у нас в глазах, когда насытившись великолепьем, бредем мы куда-нибудь, всё равно куда, по кажущимся теперь бесцветными и пустыми улицам Равенны.

*В. Вейдле*

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

\*

Я свободен, как бродяга,  
И шатаюсь налегке  
Там, где раньше Миннегага  
Проплывала в челноке.

Где с естественною силой  
В каждом камне и листке  
С ней природа говорила  
На индейском языке.

Та эпоха отгорела,  
Облетела, как цветок,  
И теперь иное дело,  
Пришлый лад и новый слог.

Шпорник, заячья капуста,  
Мята, дикий виноград,  
Выражая свои чувства,  
По-английски говорят.

Речи саксов, честной, краткой,  
Не чуждается мой слух,  
Но к наитьям и отгадкам  
Я — увы! — в ней тугоух.

Мне родной язык роднее,  
Восхитительнее всех,  
Мил мне в нем и стук спондея,  
И пиррихия разбег.

Я прислушиваюсь чутко,  
Но никак не разберу —  
То ли память шутит шутку,  
То ли ум ведет игру,  
То ли в голос учат листья  
Речи новые свои:

“Вы откуда собралися,  
“Колокольчики мои?  
“В праздник, вечером росистым  
“Дятел носом тук да тук,  
“Песни, вздохи, клики, свисты  
“Не пустой для сердца звук.  
“Шепот. Робкое дыханье.  
“Тень деревьев, злак долин.  
“Дольней лозы прозябанье.  
“Колокольчик дин-дин-дин...”

\*

Только руками кусты раздвину —  
Небо увижу сквозь паутину,  
Сквозь переплет из паучьих слюнок,  
Пятиугольник  
Из паутинок,  
Из бусинок-росинок  
Замысловатый рисунок.

Здесь на опушке в солнечном свете,  
Как на ладошке, всё на примете:  
Ветви налево, травы направо  
Шепчут согласно: “Слава, слава!”  
И облаков белоперых стая,  
Перелетая... летая... тая,  
Вдруг синевой изнутри окрасится.

Так почему ж в этой храмине синей  
Муха звенит и звенит в паутине,  
Как над сыпучим песком пустыни  
Глас вопиющего о оазисе?

## УРОК БОТАНИКИ

Бутон зелено-матовый  
Был взорван дивной силой,  
Не темной, внутриатомной,  
А зрячей, легкокрылой.

Он век ее наращивал,  
Чтоб зацвести, расправясь,  
Дать радость настоящему,  
А будущему — завязь.

Чтоб стать по смерти семенем,  
Сокровищницей генной,  
И сделать смерть лишь временной  
Знаменоносцев сменой.

Всё рассчитав до тонкостей,  
Он развернулся в утро  
Всем спектром, по-ньютоновски,  
От инфра и до ультра.

Он ждал благого вестника,  
Как ждут поэты строчку —  
Пыльцу на рыльце пестика  
Или на семя почку.

И украшал цветением,  
И окружал восторгом  
Акт оплодотворения —  
Процесс его и орган.

Есть лексика цветочная  
И точная в природе:  
За словом “непорочное” —  
Зачатье, не бесплодие!

Лишь мы зовем греховными  
Альковные понятия  
И не сочтем верховными  
Любовные объятья.

Для них у нас и слов еще  
Не найдено поэтами,  
И путаем чудовищно,  
И мямлим мы поэтому.

Спасаясь от вульгарности,  
Кружим в высокопарности  
Или, стыдясь сусальности,  
Соскальзываем в сальности.

#### БАЛЕРИНЕ

Чтоб рассказать, как у принцессы  
Горит и мечется душа,  
Ты заюлила мелким бесом,  
Выделявая антраша.

Нет, нет! неправда, дорогая:  
Ты вся — как лилия в грозу!  
Уже, меня опровергая,  
Глаза, сужаясь и моргая,  
Сдержать пытаются слезу!

Пляши, как пыль в луче весеннем,  
И маловеру докажи:  
Душа сродни телодвиженьям  
И ритм — движениям души.

(Есть связь между пера нажимом  
И тайной духа моего —  
Всегда меж зримым и незримым,  
Как меж характером и гримом,  
Найдется сходство и родство).



Пляши, как ямб в стихотвореньях,  
Чтоб можно было ликовать  
И помнить только о пареньях,  
А о паденьях забывать:

Забыть, что зори пахнут кровью,  
Что ночи прячутся в груди,  
Что мы живем в межледниковье —  
Льды сзади, холод впереди.

\*

В горах куда как ерепенится  
Неумудренная река,  
А по лугам течет, смиренница,  
Не усекая берега.

Теперь себя как ни подхлестывай,  
А не вкусить уже того  
Сверканья обоюдоострого,  
Восторга рикошетного.

Теперь выискивай, выкручивай  
Приторможенные пути,  
Петляй, плутай, хитри при случае,  
Плетись под зарослью ползучею,  
Тоскуй под ивою плакучею,  
Но как ни гни свои излучины,  
Тебе от моря не уйти.

*Николай Моршен*

# ИСПОВЕДЬ

Конвоир, с ничего не выражающим лицом, втолкнул меня в открывшуюся дверь, и хриплым голосом крикнул: — Сидеть смирно, не вставать, не двигаться и не облакачиваться о стену!

...Если у многих других заключенных, сидевших в этих камерах, всегда всё-таки оставалась надежда, что дело их будет выяснено, и рано или поздно они опять окажутся на свободе, то у меня таких надежд не было. Я знал твердо, что это конец. И удивительно было то, что мне не было ни грустно, ни досадно, ни даже жаль своей молодой, но давно «загубленной» жизни...

Помню в детстве, как отец молился: «— Господи, возьми меня и соедини с Тобою навеки...». В Бога я не верил и потому всегда боялся смерти. И я думал об отце: хорошо ему было, он верил, а вот кому я буду молиться, когда придет мой черед? И вот он пришел...

Я следовательно, т. е. был следователем в областном отделе НКВД. Был даже заведующим отделом, одним из самых важных — иностранным отделом. И вот, я провалил важное задание. То есть, как это «провалил»? Разве я его «провалил»? Ведь всё было сделано, оформлено и готово к отправке. И разве я виноват в том, что там, «на верхах», они не учитывают, что человек, это очень сложная машина, и не каждого сломишь в заранее рассчитанное время. Но партия не признает никаких оговорок, никаких оправданий, никаких «смягчающих вину» обстоятельств...

И не так ли поступал и я сам еще вчера? Взять, к примеру, дело Екатерины Вишневской. Кто она? Одна из многих. Песчинка в пустыне. На фоне великого дела построения коммунизма, какое значение может иметь одна жизнь? Одна кап-

ля? А сколько труда, терпения, судебных хитростей пришлось применить для ее «укрошения»...

Это был один из первых весенних дней в марте 1938 года. Я всегда любил раннюю весну, когда снег еще не стаял, почки еще не начали распускаться, а только чуть-чуть набухли. Весны еще нет, а в воздухе она уже чувствуется. Особенно любил я запах, неповторимый запах начинающего таять снега...

После ночной смены у меня болела голова, немного тошнило. Я решил пойти домой пешком. Прогулки всегда действовали на меня хорошо, ветерок бодрил, может быть помогал привести мысли в порядок. Уже после нескольких минут ходьбы, я почувствовал себя лучше. По дороге домой я должен был пройти через центр города. С главной улицы донеслись звуки похоронного марша. «Кого-то хоронят», — подумал я с досадой. С раннего детства похороны действовали на меня удручающе. Помню, когда я был еще совсем маленьким, отец взял меня на похороны моей матери, умершей от чахотки. Это было до революции... Впереди шел отец Ириней, за ним — церковный хор, певший заупокойные молитвы. Ничего в жизни нет для меня ужаснее этих молитв. Кто их выдумал? Это какая-то концентрация человеческих страданий, в словах, которых я не понимал и плохо разбирал, звучали для меня «надгробные рыдания» всех детей, потерявших своих матерей... Мне было жутко, хотелось домой. Но отец мой, или кто-то из шедших за гробом, решили, что я устал. Чья-то сильная рука подняла меня и посадила на телегу, и я очутился на близком расстоянии от гроба. Как сейчас помню синее, изуродованное болезнью и смертью лицо покойницы. И помню ощущение ужаса, которое охватило меня, когда я прикоснулся к ее руке и почувствовал ее холодную, каменную твердость... Я спрыгнул с подводы, и бегом бросился в лес, мимо которого мы проходили. Отец догнал меня, взял на руки и не выпускал, пока мы не дошли до кладбища. Я спрятал свое лицо на его груди... но страх перед смертью никогда не покидал меня с тех пор...

В центре города процессия двигалась по направлению, по которому и мне надо было идти домой. Это были пышные гражданские похороны. Вместо певчих играл оркестр. Играл тот

похоронный траурный марш, который вызывал у меня мурашки на спине.

Всякая музыка, особенно в последние годы, вызывала во мне сильное волнение. Во время концерта Баха — слезы почему-то наворачивались на глаза. Бетховен иногда буквально раздирает душу... Вот эта процессия с множеством венков, которые девушки и юноши несли перед гробом, напомнила мне вдруг Крестный ход в нашей деревне перед Пасхой...

Но тут я вспомнил, что вчера еще прочел в газетах, что профессор медицины Андрей Михайлович Вишневский скоропостижно скончался во время конференции в своем институте. И вот ему устроили торжественные похороны со всеми традиционными почестями, полагающимися советскому сановнику. Теперь тело его везли в здание Медицинского института, где гроб будет поставлен посредине зала, оркестр будет играть этот же душераздирающий похоронный марш, а бывшие ученики и ассистенты профессора будут поочередно выступать и в своих прощальных словах выражать печаль по поводу безвременной кончины дорогого профессора и высказывать соболезнование семье покойного.

По газетам я знал, что профессор Вишневский — бывший эмигрант, только в начале тридцатых годов вернувшийся на родину. У него были большие заслуги в науке и мировая известность. Это было крупным достижением нашего отдела: уговорить его вернуться в Советский Союз для того, чтобы стать директором Научно-исследовательского института. Я вспомнил, что, говорили, что профессор Вишневский приехал вместе с дочерью, которая была не только его ассистентом, секретарем и помощницей, но и другом и хозяйкой. Кроме нее, у Вишневого никого не было из родных. Он овдовел в эмиграции... об этом было упомянуто в газете... «Где же она теперь, его дочь? — почему-то подумал я. — Что она будет делать здесь после смерти отца?.. Одна... Без друзей... Без родных... «Дубовый листок»... — И откуда-то чувство жалости мелькнуло во мне... То ли себя стало жаль... то ли чужую, незнакомую девушку, которую я никогда не видал.

Процессия поравнялась со мной. На высоком катафалке,

в груди цветов лежал живописный старик, с бородой и прямым аристократическим носом. Гордое выражение не покинуло его и на одре смерти. «Породистый был, — подумал я с усмешкой, — недаром попал в эмиграцию... А вот почему вернулся?.. Это уж другое дело... Неужели за этими похоронами?» и я отмахнулся от какой-то ненужной улыбки..

Екатерина шла за гробом с непокрытой головой, высокая, немного сутуловатая. Я видел ее лицо. Серые глаза были сухие и широко раскрыты, нос отцовский, губы сжаты, уголками вниз. «С характером», подумал я. Волосы зачесаны назад и закреплены в небрежный пучек. В волосах седины. А ведь женщина совсем молодая, пожалуй, тридцати еще не перешагнула. «Знать, хлебнула уже жизни»... — и вдруг почему-то мне вспомнились стихи Некрасова:

Есть женщины в русских селеньях,  
С спокойною гордостью лиц,  
С красивою силой в движеньях,  
С походкой, со взглядом цариц...

И чем дольше я смотрел на ее лицо, тем больше оно казалось мне привлекательным... мне даже стало как-то жаль ее, будто были мы уже давно знакомы... и даже близко... и вот она осиротела...

Рядом с ней, чуть-чуть отставая, шел еще молодой профессор, я узнал его по портретам в газетах, — Богдан Алексеевич Гнатовский. Он был ассистентом Вишневого, его другом и теперь, наверное, займет его место. Это был человек невысокого роста, ниже Екатерины, с седой головой, но необыкновенно молодыми улыбающимися глазами и бодрой уверенной походкой. Он вел Екатерину под руку. И по тому, как бережно он держал ее руку, и по нескольким случайным взглядам, которыми они обменялись, мне показалось, что не только отношения друга отца с его дочерью сложились у этих людей. «Может быть, это только так показалось? — думал я позже. — Да и какое мне, собственно говоря, дело, если даже и так»...

Я повернул в переулок и пошел к себе домой отсыпаться и набираться сил на новую ночную смену.

Когда на другой день я вернулся в свой кабинет, на столе у меня лежала закрытая папка. Привычно я раскрыл ее и обошел: первым, что бросилось в глаза, был ордер на арест Екатерины Вишневской. В то время каждый день был «днем сюрпризов». Если бы это был приказ об аресте самого наркома, я не удивился бы так. Почему? Может быть родилось предчувствие, что это было началом моего конца? Или оттого, что впервые в моей жизни, я почувствовал человеческие, теплые чувства к чужой незнакомой женщине?

Через несколько минут я медленно нажал кнопку и равнодушным, почти машинальным движением передал вошедшему лейтенанту ордер на арест Екатерины Андреевны Вишневской.

## 2

Я услышал стук женских каблуков в конце коридора и сразу понял, что это были ее шаги. Она шла поспешной походкой, в которой чувствовались страх и напряжение. Но в глазах ее не было страха, в них были даже дерзость и удивление.

«Она всё еще надеется, — думал я, — что произошло недоразумение, что с ней этого не могло случиться... и, что после объяснения со мной, она спокойно вернется в свою квартиру, оплакивать, только что похороненного отца... Она не верит, что пришло время оплакивать ее, Екатерину Вишневскую, гордую, сильную, молодую и красивую...»

Я спокойно ждал.

— Товарищ следователь, скажите мне, какие у нас были основания к моему аресту? — почти прокричала она.

Я улыбнулся, потому что именно этой фразы я от нее ждал. У меня был уже готовый ответ:

— Основание очевидное, — приказ об аресте, подписанный самим наркомом.

— Да, но ведь это ошибка! Я никакой антисоветской деятельностью не занимаюсь и не занималась...

— Ну, простите, это мы должны еще расследовать. У нас есть другие сведения, — проговорил я как можно суше и официальнее. — Мы с вами будем встречаться часто и успеем обо всем поговорить. Теперь же подпишите бумагу, что вам не

было нанесено никакого физического ущерба при аресте... и идите «отдыхать» в камеру. Вас вызовут на следствие...

Эти слова, которые я повторял при стольких оказиях без всякого чувства, сейчас вдруг вызвали легкую краску на моих щеках, будто я уличил себя во лжи... или еще в чем-то...

Екатерина ничего больше не сказала, только смотрела на меня полными удивления, широко раскрытыми, при электрическом освещении, почти зелеными глазами и машинально подписала бумагу.

— Отведите ее в женскую камеру номер 121, — приказал я, и когда ее вывели, опустил в кресло.

«Ну и женщина, — думал я, — из ее глаз «правосудие огненными мечами мечет»... Трудно будет ее сломать...»

Я раскрыл папку с ее делом. Письмо наркома было со штем-пелем: «Строго секретно». Я начал читать. Стиль письма был мне давно знаком, но на этот раз добраться до смысла было труднее, чем обычно. После многословного предисловия о том, какое значение для советской власти имеет НКВД и каковы его задачи, письмо переходило на тему о задачах иностранного отдела. После этого автор подходил к делу: — «... необходимо наладить работу среди русских эмигрантов за границей. В виду того, что Польша является наиболее близким по территориальному расположению государством, нам необходимо организовать хорошо работающую связь для того, чтобы быть в курсе дел эмигрантов, их планов и их намерений. Особенно важно войти в доверие и получить сведения о работе таких организаций, как «Просвита» и «Сичовые Стрельцы», руководство которыми находится во Львове и Кракове. Нужно послать проверенных людей, которые могли бы заслужить **полнейшее доверие** в этих организациях. По донесению нашей разведки у нас имеются сведения, что Екатерина Вишневецкая, во время своего пребывания в Польше пользовалась уважением в эмигрантских кругах. Я предлагаю арестовать ее и через нее узнать имена надежных людей и наладить связь во Львове и Кракове. В связи с предстоящими событиями, которые не подлежат оглашению даже в наших органах, это поручение является особенно важным. Я поручаю ведение этого дела на вашу полную ответ-

ственность и надеюсь, что задание будет выполнено в кратчайший срок...»

Это значило, что «дела» за Вишневской не было, и что его надо было мне создать. Надо было узнать всё, что она могла сообщить о деятельности «сичовиков», надо заставить ее подписать показания о ее виновности, а потом уже требовать согласия на возвращение в Польшу и проведение там правительственных заданий. Работа не легкая. Я сразу это почувствовал. Надо что-то придумать. А думать некогда. Дел накопилось столько, что конца краю им нет. Когда-то, еще в школе, я мечтал стать следователем. Какой же я был тогда дурак, идеалист... Не легко получить признание в совершенных преступлениях... Но в искусственно созданных в тысячу раз труднее, тем более, если фантазия отказывается работать, а создавать нужно... партия этого требует. Повидимому, во всем этом есть глубокий смысл. Но мне до него не добраться... да и времени нет... Вся жизнь идет между бессонными ночами и короткой дремой, часто перебиваемой кошмарными сновидениями.

Прошло несколько недель, прежде, чем у меня нашлось время заняться делом Екатерины. Я так ничего и не придумал. Среди ночи, я вызвал ее на допрос. Снова услышал шаги в коридоре, только теперь они были медленными, с «пришлепыванием», не было в них ни страха, ни дерзости... Я смотрел на бумаги, делая вид, что занят, а в действительности мне было трудно встретить ее правдивый, чистый взгляд... Я не забыл ее глаз, и никогда не забуду... Она стояла, молча... ждала... Я поднял глаза, и вдруг... мурашки пробежали у меня по спине: передо мною стояла «старуха», — худая, изможденная, сгорбленная, с растрепанными волосами, серым лицом и... Нет, глаза не изменились! Они смотрели так же резко, дерзко, глубоко. Только как-будто немного выцвели, стали больше серыми, чем зелеными и внутри их появился какой-то нездоровый блеск... Наши взгляды встретились и несколько секунд мы молча рассматривали друг друга, как враги перед боем.

— Ваше имя и фамилия? — прервал я молчание банальным вопросом.

— Вы знаете, — сказала она резко.



— Прошу не грубить. Помните, где вы находитесь. Отвечайте на вопросы!

— Екатерина Андреевна Вишневская, — проговорила она совсем тихо, как-будто смирившись.

Я посмотрел на нее еще раз, и опять, как тогда на похоронах, мне почему-то стало ее жаль... не то, что жаль, а какое-то необъяснимое чувство охватило меня. Где-то в глубине души мелькнула мысль, что во времена инквизиции я мог бы обвинить ее в том, что она ведьма и очаровала меня сверхъестественным путем. Эту мысль сменило страшное желание поговорить с этой женщиной по-человечески, не как с преступницей.

Я встал со стула, подошел к ней совсем близко и просто сказал:

— Екатерина Андреевна, разрешите поговорить с вами, как со старой знакомой... — ее недоверчивый, удивленный взгляд только подстегнул меня. — Послушайтесь моего доброго совета, подпишите протокол, какими бы нелепыми не показались вам обвинения. Вы человек интеллигентный, я не хочу говорить с вами грубо, как с бабой (при этом слове, плечи ее вздрогнули). Против вас поднято большое дело. Если его раздуют... то всё может кончиться очень плохо... Подпишите протокол и я обещаю отправить вас в Польшу в самый короткий срок.

После этих моих слов я ожидал взрыва, но его не произошло. Екатерина стояла молча, как пораженная громом. Глаза ее стали еще шире, еще зеленее.

— Я никогда не делал таких отступлений, — произнес я тихо, но очень внушительно. — Вы понимаете, что я рискую своей головой, говоря с вами так откровенно. Вам должно быть ясно одно — другого выхода у вас нет. Или вас расстреляют, как врага народа, террористку и шпионку или... вы добровольно согласитесь работать для нас... Мы перебросим вас в Польшу, где у вас остались друзья детства (я нарочно поставил ударение на этих словах), которые вас помнят и вам доверяют... Всё, что нам нужно на данном этапе, это знать имена людей, на которых мы сможем положиться в случае... при всяких не-

предвиденных обстоятельствах, — быстро поправился я. — Я прошу вас, сделайте это для меня... Это избавит и вас и меня от возможных неприятных последствий...

Она молчала. На мгновение мне показалось, что она пове-рила моим «добрым намерениям» и готова сдаться. Но, к моему удивлению и досаде, после минутной паузы Екатерина произнесла совсем не громко, но очень твердо:

— На эту роль я не способна... Я не умею лгать...

Я посмотрел на нее и еще раз понял, что моя попытка оказалась провалом. Один раз в жизни я отклонился от правил, пытался говорить с ней без грубости, без насилия, показал свою слабость... а она отвергла... В ней была сила. Сила веры в свою правоту... То, чего не хватало мне...

В этот день, я не стал больше ее допрашивать. Она послушно вышла, унося за своей сутуловатой спиной сильную душу.

Время шло. Я уже получил несколько запросов о деле Вишневской от самого наркома. Я поручил ее дело своему заместителю, который был известен своей неумолимой настойчивостью и теми или другими методами почти всегда добивался подписания показаний. Какие это бывали методы, мы старались в подробности не вдаваться. «Цель оправдывает средства...»

Через несколько месяцев я снова вызвал Вишневскую. В то время она подвергалась воздействию бессонницей. Ее ответы были сбивчивы, ее вид был ужасен. Это было совсем не то, чего мы добивались. Я вызвал своего помощника:

— Черкасов, ты забыл для каких целей мы взяли эту женщину. Ты превратил ее в развалину... а нам нужен проверенный агент... Принеси ее бумаги. Я сам займусь ее делом....

— Это не женщина, а черт в юбке, — проговорил Черкасов со злым блеском в глазах. Я пожалел, что поручил ему свою «совесть», как в душе я называл Екатерину.

Я начал перечитывать протоколы ее допросов. Равнодушно перелистывая уже разбухшее дело, я в этих бумагах не находил ни малейшей надежды найти ключ к его развязке. Вдруг я прочел знакомую мне фамилию — Богдан Алексеевич Гна-товский... Где я слышал эту фамилию? ...Профессор Гна-тов-

ский... Да, как же, это же тот коренастый человек, который вел Екатерину под руку тогда, на похоронах отца. Я вспомнил и ласковый взгляд, которым она несколько раз взглянула тогда на него. Меня словно осенило. В голове моей план стал принимать более отчетливые очертания...

— Черкасов, — позвал я его опять, — пиши ордер на арест Гнатовского.

Екатерину перевели в отдельную камеру, дали дополнительный паек, прибавили прогулку и предоставили выбор книг. Она стала понемногу приходить в себя. Через несколько недель была устроена ее очная ставка с Гнатовским. Екатерина не знала и не могла знать об его аресте. Она посмотрела на меня с полнейшим недоверием, когда я сказал ей, что он уже подписал показания, обвиняющие его в шпионаже в пользу Польши, в диверсантских актах против членов правительства и во вредительской деятельности в Институте.

— Это чистая провокация, — проговорила она сквозь зубы.

А когда я объявил ей о том, что Гнатовский уже признался, что в польскую разведку завербовала его она, Екатерина Вишневская, агент разведки, она ничего не могла выговорить, и только через несколько секунд громко и нервно расхохоталась.

Екатерина была уже в моем кабинете, когда Гнатовского внесли на носилках. Она взглянула в его сторону, но в первый момент не поверила своим глазам или не узнала его. Да и узнать его было не легко: лицо изуродовано от синяков и кровоподтеков, глаза, когда-то всегда улыбавшиеся, были опухшие, с красными веками. Одна рука и нога были сломаны, почему его и доставили в кабинет на носилках.

— Катя, — проговорил он совсем тихо, и от звука его голоса всё тело ее вдруг передернулось судорогой. Еще некоторое время она пыталась овладеть собой. Потом сделала неуверенный шаг вперед, оглянулась, не будут ли ее задерживать, и бросилась к Гнатовскому. Она стала перед ним на колени и зарыдала, громко, как крестьянки плачут по покойнику, с причитаниями и воплями. Некоторое время он гладил своей не-

поврежденной рукой ее голову, и по его щекам текли слезы. Я кивнул конвоиру, тот взял Екатерину под руки, наредкость осторожно, даже с какой-то бережностью вывел ее из комнаты. Екатерина не сопротивлялась и ни разу не взглянула ни на кого из нас.

На следующий день она подписала протокол и дала свое согласие на сотрудничество с нами, после переброски ее в Польшу.

— Вам нечего беспокоиться, — говорил я ей убежденным тоном. — Вас никто не будет трогать в течение может быть многих лет. Всё, что вы должны сделать, это войти в доверие местных эмигрантов и «сичовиков». Чем больше вы будете ругать нас, чем больше вы будете рассказывать плохого, даже лгать о нас, тем больше они будут вам верить. Пишите статьи, книги, выступайте, рассказывайте о своем аресте, о камерах, о пытках, что хотите... Одного вы только не должны сказать им, — истинной цели своего приезда. Когда вы нам понадобится, мы наладим с вами контакт. Не ищите его сами... Никаких денежных пособий мы не даем. Вы должны устроиться на работу, как раньше, в госпитале... где хотите...

Екатерина слушала меня молча, заранее соглашаясь со всем, что я скажу.

— Как я могу быть уверена в том, что Богдан Гнатовский будет на свободе? — спросила она под конец.

— Этого я вам гарантировать не могу. К сожалению, поздно об этом говорить. Гнатовский, как вы знаете, признался во всех своих преступлениях и был приговорен к высшей мере наказания... Приговор вынесен по суду и приведен в исполнение прошлой ночью.

Я никогда не забуду выражения ее глаз, лица, фигуры. Я видел, как вся душа ее зажглась ненавистью. Она была, как раненая — перед своей последней схваткой. На мгновение мне показалось, что вот-вот она бросится на меня. Я ждал этого, и желал, желал ее мести. В этот момент я понял больше, чем за всю свою сознательную жизнь.

Некоторое время она стояла без движения. Потом покачнулась, стала бледнеть и потеряла сознание. Ее перенесли в

тюремную больницу. Там она долго не приходила в себя. Потом поднялась температура и начался менингит...

— Запиши, что 27 сентября 1939 года, Екатерина Андреевна Вишневская скончалась... от тифа, — продиктовал я Черкасову.

После этого я долго сидел за своим письменным столом, положив голову на руки... без мыслей... и без чувств...

Я пришел в себя от грубого толчка в плечо:

— Приказ о вашем аресте, — сухо произнес голос Черкасова. Я молча вынул наган, положил его на стол и равнодушно пошел за конвоиром. Идти было не далеко...

\* \* \*

Всё это рассказал автору Андрей Николаевич Симонов, с которым пришлось просидеть в камере смертников в 1939 году. Андрей Николаевич был высокого роста, крепко и красиво сложен, с серыми волевыми глазами и правильными чертами лица. О встрече с ним, у меня остались хорошие воспоминания. В камере он вел себя сдержанно, почти ни с кем не разговаривал. И только раз, когда мы остались вдвоем, он вдруг, вероятно, чувствуя потребность в исповеди, рассказал мне свою жизнь. Его не терзали ни пытками, ни допросами, но, как сам он хорошо знал, участь его была решена. Относился он к этому спокойно. Одна мысль только беспокоила его часто: — А, что если есть какая-то загробная жизнь и он встретится с Екатериной, как он посмотрит ей в глаза?

После того, как его вызвали «с вещами», он тепло простился со мной и успел шепнуть:

— У меня на сердце легко... Значит она простила...

— Бог простит! — ответил я, и тут же подумал: — простит ли?..

*Е. Костич*

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

\*

Ветер дергает зонтик из рук  
В морозящий снежинками холод;  
Треплет полы унылых старух, —  
Он, как дети, стремительно молод.

Им он — облака свежий глоток  
И весны безрассудной предвестник,  
Первый белый озябший цветок,  
Первых птиц позабытые песни...

Ветер, ветер, — прости мне вину, —  
Что от слез ледящих слепая,  
Я в твою молодую весну  
Осторожной старушкой ступаю!

\*

Так зябко было. И моя рука  
Тепла искала у тебя в кармане.  
Мы проходили мимо кабачка,  
Где надрывались тощие цыгане.

Вошли, и столик заняли в углу,  
Так хорошо — опять на нашем месте.  
Мы радовались чадному теплу,  
Тому, что вновь, на целый вечер вместе.

Мы заказали красного вина,  
О чем-то говорили и молчали.  
А музыка цыганская полна  
Была извечной страсти и печали.

Теперь ничто не манит вперед —  
Одна зола осталась от пожара.  
Теперь за нашим столиком сидит  
Другая очарованная пара.

## СТИХИ

\*

Уходят лица, имена и даты,  
Смолкает звук любимого стиха,  
Что было розой радости когда-то,  
В листах альбома — ломкая труха.

Но я молю, забыв о расстояньи,  
Забыв о тысячах ушедших дней,  
До моего последнего дыханья  
Не уходи из памяти моей!

\*

Мокрым камнем пахнет водопад,  
Пенный шум висит в ущелье узком,  
И слюдой дробленую блестят  
Повороты каменного спуска.

Я иду на стройный этот шум,  
Окунаюсь радостно и жадно  
В легкий холод пыли водопадной,  
И бурлящей музыкой дышу.

\*

Сеется светлый дождь,  
Солнце сквозит за ним,  
Позолотило рощ  
Серокудрявый дым.

Робкую тень мою  
Пбд-ноги бросив мне,  
Отняло вновь. Стою  
В пасмурной тишине.

Капли щекочут лоб,  
Словно и я жива.  
Вот и опять светло —  
И подросла трава.

*Лидия Алексеева*

## АННА АХМАТОВА\*

Я не специалист по русской поэзии, еще менее — по поэзии Анны Ахматовой. И если я выступаю сегодня здесь то, конечно, не для того, чтобы прочесть о ней обстоятельный литературный доклад: это сделают те, кто к этому призван; но я выступаю и не для того, чтобы «пристегнуть» Анну Ахматову к определенному мировоззрению или идеологии, сделать из нее иллюстрацию и союзницу моих взглядов, моей веры, моего миропонимания. Наконец, я говорю даже не для того, чтобы в лице скончавшейся Ахматовой еще раз почтить великую русскую культуру, ее породившую, и тем самым «отдать ей дань».

Поэты принадлежат всем, кто любит поэзию и для кого стихи не развлечение, не часть «культурной жизни» и не приятное дополнение к реальной, деловой жизни и серьезным убеждениям, а что-то совершенно единственное по своему значению. Всякая подлинная поэзия — это какой-то совсем особый подарок людям, по внешности — самый ненужный, а по-настоящему — один из самых насущных. Символисты мечтали когда-то сделать поэзию «теургией», таинством претворения и преображения жизни. Их ошибка была в непонимании того, что этого делать не нужно, что поэзия уже сама по себе, сама в себе имеет эту силу, и имеет она эту чудотворную силу только в ту меру, в какую она — только поэзия.

Но если подарок поэзии дан всем, то принимается и воспринимается он каждым особо, лично, и потому каждый — специалист и неспециалист — может свидетельствовать о том, что он получил в этом таинственном даре. Эти несколько слов — мое личное свидетельство, попытка описать подарок, полученный мной, и претворяющий мою печаль об уходе Ахматовой в чувство светлой печали и благодарности.

Эти размышления касаются — конечно, очень схематиче-

---

\* Слово на собрании памяти Анны Ахматовой в Св. Серафимовском фонде в Нью-Йорке 13 марта 1966 года.



ски, очень отрывочно — трех тем ахматовской поэзии: любви, России и веры.

Быстрая и широкая популярность Ахматовой по-первоначально могла казаться несколько подозрительной. В мире, насыщенном сложной и высокой поэзией русского «серебряного века» вдруг прозвучало не только что-то очень простое, но в своей простоте, как будто, снижавшее высокий, почти мистический тон, усвоенный русской поэзией, начиная с Владимира Соловьева и пророческих «зорь» раннего символизма. Женская лирика о любви и влюбленности, об изменах и верности, о боли и радости, о встрече и разлуке. Таково вначале было отношение Гумилева к поэзии Ахматовой: «Вам нравится?» — говорил он. — «Очень рад. Моя жена и по канве отлично вышивает». Так казалось и многим другим. Но прав был, конечно, не Гумилев, а тайнозритель русской поэзии Вячеслав Иванов, когда, прослушав одно из первых — таких женских стихотворений, он сказал Ахматовой: «Поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии». Да это, действительно, была простая земная любовь с ее радостями и горестями, с ее уединенностью в себе, с ее, казалось бы, бесчувственностью к «проблемам» и «вопросам».

Да, действительно, это женская лирика. Но может быть тогда не было так ясно, как стало ясно потом, что эта женская лирика о любви и почти только о любви, совершала нечто насущное в самой русской поэзии, очищая ее изнутри и указывая ей как раз тот путь, которого она всей своей мистической взволнованностью, всей своей болью искала.

Русский «серебряный век» незабываем и неповторим. Никогда — ни до, ни после — не было в России такой взволнованности сознания, такого напряжения исканий и чаяний, как тогда, когда, по свидетельству очевидца, одна строка Блока значила больше, была насущнее, чем все содержание «толстых журналов». Свет этих незабываемых зорь навсегда останется в истории России. Но теперь, спустя столько лет — и каких лет! — мы не только можем, мы должны сказать, что была в этом серебряном веке и своя отравка, тот «тайный яд», о котором говорил Блок. Была великая правда вопрошаний и исканий и какая-то роковая двусмысленность в ответах и утверждениях. И ни в чем, быть может, двусмысленность эта не проявилась столь явственно, как именно в главной теме всякой

поэзии: в теме любви. С «Трех разговоров» Владимира Соловьева вошло в русскую поэзию, в самую ткань поэтического опыта и творчества, странное и, надо прямо сказать, соблазнительное смешение мистики и эротизма. Не одухотворение любви верою и не воплощение веры в любви, а именно смешение «планов», в котором не одухотворялась плоть, но и не воплощался дух. Мы знаем, какой личной трагедией обернулось это смешение в жизни Блока, как «Стихи о прекрасной Даме» обернулись надрывом «Балаганчика» и каким-то каменным отчаянием «Страшного мира» с его ледяными метелями.

И вот простые женские, любовные стихи Ахматовой, такие, казалось бы, «незначительные» на фоне всех этих взлетов и крушений, в атмосфере этого мистического головокружения, на деле были возвратом к **правде** — той простой человеческой правде о грехе и раскаянии, о боли и радости, чистоте и падении, которая одна — потому что она правда — имеет в себе силу нравственного возрождения. Сама того не зная и не сознавая, пиша стихи о простой и земной любви, Ахматова делала «доброе дело» — очищала и просвещала — и делала это, действительно, по-женски, просто и без самооглядки, без манифестов и теоретических обоснований, правдой всей своей души и совести. И потому, в конечном итоге, она имела право сказать, что творчество ее

Не для страсти, не для забавы,  
Для великой земной любви.

В Ахматовой «серебряный век» нашел свою последнюю правду: правду совести. И не случайно, конечно, **совесть** является единственным настоящим героем ее поздней и замечательной «Поэмы без героя»:

Это я — твоя старая совесть —  
Разыскала сожженную повесть.

Это совесть приходит к ней в новогодний вечер и освещает правдой смутную и двусмысленную как маскарад давнюю петербургскую повесть всех этих запутанных и трагических жизней, всей этой эпохи, это совесть дает ей силу, с одной стороны,

Испугаться,  
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться  
И замалчивать давний грех,

а, с другой стороны, всё, включая и сам грех, побеждает жалостью и верностью, небесной правдой великой земной любви. И потому от любви ее ранних стихов, той любви, из-за которой она «на правую руку надела перчатку с левой руки», — прямой путь к голой, страшной как распятое тело, но уже действительно ничем непобедимой любви «Реквиема».

Ахматова и Россия. Каждый русский поэт имеет свой образ России, каждый на своем творческом пути так или иначе, раньше или позже, но говорит о России, включает ее в свою поэзию. Пушкин был «певцом империи и свободы»; для Блока Россия стала последним воплощением Прекрасной Дамы, обещанием, судьбой, надеждой, что не сбылись в его жизни, Мессией грядущего просветленного мира. Ничего этого нет в поэзии Ахматовой, обращенной к России. Или, вернее сказать, поэзия ее как раз и не обращена к России как к «объекту» любви или носителю какой-то особой судьбы. Тут тоже можно говорить о женском отношении Ахматовой к России, которое воплощается в чувстве какой-то почти утробной от нее неотделимости. Ахматова несколько раз говорит о своем сознательном отказе от эмиграции, от ухода с родины. В первый год революции на голос, призывающий ее к такому уходу, она отвечает:

Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.

И сорок лет спустя, в предисловии к «Реквиему», — совершенно так же:

Нет, и не под чуждым небосводом  
И не под защитой чуждых крыл,  
Я была тогда с моим народом  
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Но — и в этом мне кажется вся суть ахматовского отношения к России — стихи эти совершенно свободны от какой бы то ни было «идеологии». Идеологический подход к родине — это подход мужской, и таков был, по существу, всегда подход к ней в русской поэзии, причем под идеологией я разумею совсем не обязательно политическую идеологию, ибо возможна и оправдана идеология и художественная. И такой идеоло-

гический подход может не только оправдать, но сделать нравственно неизбежным и необходимым уход, ибо уход этот — **ради** родины, во имя ее — есть проявление верности ей.

Но в том-то и всё дело, что для Ахматовой такого выбора не было, ибо она не «относится» к России, а есть как бы сама Россия, как мать не «относится» к семье, а есть сама семья. Отец и муж могут уйти из дома на время, **ради** семьи, чтобы издалека помогать ей. Но мать не может уйти, потому что без нее нет семьи, и нечему помогать. Вот такой матерью и женой, одной из миллионов таких матерей, которым **нельзя** уйти, и была Ахматова. И тут — проявление всё той же ее женственности, женской любви, которая в каком-то смысле до конца пассивна, есть всецело самоотдача, но которая, вместе с тем, и есть сама сила, сама последняя суть и красота жизни, так что ради нее, по отношению к ней, для ее защиты и для служения ей и существуют все «идеологии».

У Ахматовой совсем нет стихотворений «патриотических». Даже в страшные годы войны, осады Ленинграда, родина является ей всегда в образе матери и притом почти всегда страдающей, так сказать, «реальной» матери, матери «реальных» детей. Что такое победа, что ей сказать?

Пусть женщины выше поднимут детей,  
Спасенных от тысячи тысяч смертей —  
Так мы долгожданной ответим.

Родина, Россия — это реальные люди, и реально в них, прежде всего, их страдание. И родина — это тоже живой, свой город, о котором столько писала, который так любила Ахматова, про который в разлуке писала:

Разлучение наше мнимо  
Я с тобою неразлучима.

И когда этот город страдает, про него можно сказать:

Не шумите вокруг — он дышит,  
Он живой еще, он всё слышит.

Родина — это «пречистое тело земли»; родина — это родной язык, в котором бьется его жизнь. И потому, повторяю, связь Ахматовой с Россией не «идеологическая», это не вера в ее миссию, не вдохновение ее славой, это всегда — простое

биение сердца, жизнь вместе, самоочевидность нерасторжимо-  
го единства. И в этом единстве, в этом полном слиянии светит свет.

Всё расхищено, предано, продано.  
Черной смерти мелькало крыло,  
Всё голодной тоскою изглодано,  
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми,  
Небывалый под городом лес.  
Ночью блещет созвездьями новыми  
Глубь прозрачных июльских небес.

И так близко подходит чудесное  
К развалившимся грязным домам,  
Никому, никому не известное,  
Но от века желанное нам.

И потому поэзия Ахматовой, да и сама Ахматова, в эти годы, когда так страшно был искажен лик родины, когда для одних она была вся страх, вся страданье, а для других — боль разлуки, — всё больше и больше становилась именно самым образом настоящей России, той, которая соединяет, которая живет под страхом и сияет из дали разлуки, которая сама собой свидетельствует о своей неистребимости. Голос не о России, а голос самой России, ее воздух, ее правда, ее свет.

Вера Ахматовой. И тут опять не обойтись без сравнения. Уже столько было сказано о религиозном вдохновении, о «романе с Богом» русской литературы. Действительно, вся она, на глубине своей, была всегда отнесена к последним вопросам бытия, так или иначе решала для себя вопрос о Боге. Но и тут Ахматова стоит особняком. Как и любовь, как и Россия, вера для нее — не «тема» и не «проблема», не что-то внешнее, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это снова что-то очень простое, ее почти «бабья вера», которая всегда живет, всегда присутствует, но никогда не «отчуждается» в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных славословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри и изнутри не столько указывает, сколько погружает всё в какой-то таинственный смысл. Так, никто, кроме Ахматовой, не «заметил», что Блока хоронили в день Смоленской иконы Божьей Матери.

И Ахматова не объяснила нам, почему это важно. Но в этом удивительном стихотворении о погребении Блока словно любящая, прохладная материнская рука коснулась сгоревшего в отчаянии и страдании поэта. И, ничего не объясняя и не разъясняя в его страшной судьбе, утешила, примирила, умиротворила и всё поставила на место, всё приняла и всё простила:

А Смоленская нынче именинница.  
Синий ладан над травой стелется,  
И струится пенье панихидное,  
Не печальное нынче, а светлое.  
И приводят румяные вдовушки  
На кладбище мальчиков и девочек  
Поглядеть на могилы отцовские.  
А кладбище — роща соловьиная,  
От сияния солнечного замерло.  
Принесли мы Смоленской заступнице,  
Принесли Пресвятой Богородице  
На руках во гробе серебряном  
Наше солнце, в муке погасшее, —  
Александра, лебедя чистого.

Этой верой пронизан «Реквием». И тут тоже она присутствует не как какой-то высший смысл, объясняющий и анализирующий неслыханное человеческое страдание. Она просто **есть**, и самая страшная бессмыслица, самое бездонное горе не способны ее поколебать. Вот вынесен приговор, вот совершилось непоправимое:

И упало каменное слово  
На мою еще живую грудь.  
Ничего — ведь я была готова,  
**Справлюсь с этим как-нибудь.**

Вот в этом удивительном, потрясающем «справлюсь с этим как-нибудь» больше сказано о вере Ахматовой, чем любой поэт сказал в специально религиозном стихотворении о своей вере. Тут всё — и приятие, и смирение, и жалость, и слабость, и таинственная победа — «словно праздник за моим окном». Ахматова знает, где в Евангелии явлена, показана ее вера, ее место в мире веры:

Магдалина билась и рыдала,  
Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,  
Так никто взглянуть и не посмел.

Опять — женщина. Опять — мать. Она не «говорит» о вере, но она свидетельствует о ней каждой строчкой своих стихов. Сколько бы ни было горя и страдания в ее поэзии, будь то страдания любви или материнской боли за страдание сына, всех сыновей и всех матерей, мир ее поэзии — светлый мир, и он светится верой. Верой, не отделяющей себя ни от кого и ни от чего, верой, всё время претворяемой в жалость и утешение, в благодарность и хвалу, в присутствие таинственного «праздника за окном».

И, наконец, последнее. Теперь, когда ушла от нас Ахматова, когда созрела и завершилась эта длинная и прекрасная жизнь, стало очевидной то, что я назвал бы *царственностью* Ахматовой: стало ясно, что все эти годы она была царицей русской поэзии и признавала это и принимала это как свое самоочевидное и необходимое служенье.

Она пережила всё свое поколение — ни с чем в русской поэзии несравнимое поколение. Она разделила, приняла всю его страшную судьбу и по праву была наследницей и носительницей всей его славы. От «Бродячей собаки» и башни Вячеслава Иванова — до стояния у креста Сына — и не в переносном, а самом буквальном смысле, она исполнила и всю правду этого поколения и потому стала основой всего будущего русской поэзии. Она не просто писала стихи. Она носила передачи в тюрьму, где изнемогал Осип Мандельштам. Она триста часов стояла там, где ни ей, и никому другому не открыли страшного засова. Она никого не предала, но всех пожалела, приняла всё страдание и ни от чего не отреклась. Она имела право сказать, как она сказала в очереди перед дверью ленинградской тюрьмы, когда ее кто-то опознал и спросил: «А это вы можете описать?» — И она сказала: «Могу». И потому она имела право сказать так же просто:

А если когда-нибудь в этой стране  
Воздвигнуть задумают памятник мне,  
**Согласье на это даю торжество.**

Через всё наше лихолетье она пронесла, ни разу не изменив, правду и совесть, то-есть то, чем всегда светила нам подлинная русская литература. И потому, думается, не случайно одно

из своих немногих чисто религиозных стихотворений она посвятила не только Матери, стоящей у креста, но и словам, услышанным Матерью:

Хор ангелов великий час восславил,  
И небеса расплавились в огне.  
Отцу сказал: «Почто Меня оставил?»  
А Матери: «О, не рыдай Мене!»

По православному учению пасхальная победа начинается на самой глубине, в последней темноте Великой пятницы. Поэзия Ахматовой — это свет, светящий во тьме и которого тьме не объять.

*Прот. А. Шмеан*



## ВИЛЬЯМСБУРГ

Предположи в лесу кукушку,  
И в темном погребе творог,  
И зайца на лесной опушке,  
И тишину лесных дорог,  
И беззаботное безделье,  
И гладь садового стола,  
И не заметишь, как неделя  
Одним дыханьем протекла.  
А мы концерты посещали,  
Церковный слушали орган,  
Пылали сумерки свечами  
И время звук опровергал.  
Широколистые деревья  
Склонялись на церковный двор,  
И нам всему хотелось верить,  
Была нам праздность не в укор.  
А мы, читая озеристов,  
Смотрели в прудовую дрожь,  
И птица характерным свистом  
Нам, что ни день сулила дождь.  
Но к счастью птица ошибалась  
Лишь Ватикан непогрешим —  
И небо влаге улыбалось  
Пятнистым шелестом вершин.  
А мы кружились в менюэте,  
Как бы меж небом и землей  
И в бархатном купались лете,  
Расшитом солнечной иглой.  
А мы слыхали столько звуков  
В пернатой влажной высоте,  
И мирный пруд под тенью буков  
Был ясен, как “Моралитэ”.  
Не отдых, а рожок пастуший,  
Не отпуск, а Руссо почти;  
О наших странствиях послушай,

А не захочешь, так прочти.  
Мы даже кое-что успели,  
Наш краткий отдых был глазаст:  
Мы дважды двести лет в неделю  
Перелистали взад-назад.  
Читай с улыбкой на лице —  
Пусть будет этих строк движенье,  
Как прудовое отраженье,  
Как отзвук Гайдна во дворце.

Этот дом — как музыкальный ящик,  
Как таверна, или табакерка.  
В нем забыли голос настоящий,  
И замкнули кованую дверку.  
Бьется в горле перебой лукавый,  
К свету поднимается улыбка —  
Прошное шутило бранной славой,  
Прошное светилось воском зыбким.  
Год, как день. Столетье — не помеха,  
Лишь бы только памятка осталась —  
Платье восемнадцатого века,  
Голос соловьиного закала.

## 2

Меж листвы дворцовый флигель  
С легкой стрелкой бельведера  
Отражен в воде, как в книге,  
В назиданье малOVERу.  
В назиданье поколениям  
Утки плещутся в канаве  
И осока по колени  
Входит в воду, улыбаясь.  
Ты не видел льва в короне,  
Не встречал единорога?

Ан тебя за плечи тронет  
Затененная дорога.  
И докажет в очной ставке  
Сколь умишко твой наивен,  
Для тебя, читатель Кафки,  
Дрожь воды пройдет по иве.  
И заржут единороги,  
Зарезвятся львы в коронах,  
Ты замолкнешь, критик строгий,  
Бывший скептиком с пеленок.  
Облака идут над крышей  
Губернаторской высоко,  
И твоим дыханьем дышет  
Голенастая осока.

## 3

Вечер бродит в окнах спален  
Со светильником в руках.  
Притаившись на канале  
Ночь стоит на поплавах.  
Ночь в таверне цедит эль,  
Стелит мягкую постель,  
Ночь луной застеклена  
И темнеет от вина.  
Так застенчив и непрочен  
Мягкий воск, приятель ночи  
Друг ночного колпака  
И парного молока.  
Ненавистник четких линий  
Балетмейстер и поэт,  
Друг фигурки в криолине,  
Выбегающей на свет.  
Скоро все замки запрут,  
Тихо спит дворцовый пруд,  
Сладко дремлет вместе с ним  
Вязь несложных пантомим.

Погасили бальный лоск  
Застывает теплый воск.

## 4

Военное солнце мелькает в озерах,  
Травой зеленеет лужайка и вал,  
Играют знамена и стелется порох,  
И дым словно тронутый синькой крахмал.  
И тянет травой из просторного сада,  
И лето прозрачно течет по губам.  
Своим механическим треском цикада  
Едва не глушит боевой барабан.  
И сводной картинкой, блестящей и клейкой,  
Проходит сиянье воды по лицу;  
Доносится марш и военная флейта  
Сквозь слезы смеется на гулком плацу.

## 5

Темный мостик, склеенный из бревен,  
Весь пронизан шорохом воды,  
Весь прохвачен световой игрою,  
Как бы перламутровой среды.  
Зелень и вода в пятнистом солнце,  
Совещанье бликов на столе —  
Утренние краски барбизонца  
На озерном смазаны стекле.  
По стене дворцового фасада  
Тень от ветки плещется слегка,  
И стрижёт листву чужого сада  
Смуглая шершавая рука.  
И в разбег мазков темнозеленых  
Солнечные проблески вобрав,  
С легкой нимфой глуховатых кленов  
Лиственный аукается мрак.

## 6

Круглых крон просторный шелест,  
Белой мельницы кружение,  
Неожиданная прелесть  
Безотчетного движенья.  
Так роса в траву ложится,  
Испаряются озера,  
Так друзей светлеют лица  
В продолжение разговора,  
Так проносятся олени,  
Так к воде стремятся лани,  
Так по щучьему веленью  
Исполняются желанья.

*Олег Ильинский, 1965*

## ЗИНАИДА ГИППИУС И СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Известная преимущественно как поэт, Зинаида Николаевна Гиппиус писала романы, пьесы, короткие рассказы, статьи на политические, религиозно-философские и обще-публицистические темы. С первых лет двадцатого столетия она играла большую роль и как поэт и как литературный критик, всегда умевший «отличать настоящее искусство от подражания, совершенство от посредственности», как писал о ней кн. Д. Святополк-Мирский. Ее, иногда необычные по форме («в особенной манере интимного разговора»), статьи всегда были оригинальны и всегда выражали ее собственные взгляды на литературу.

В русском, западно-европейском и американском литературоведении Зинаида Гиппиус часто упоминается как поэт, но как литературного критика ее почти не знают. Но в истории русской критики у нее несомненно есть свое особое место: ее манера выражения — иногда юмористически-серьезная, иногда парадоксальная, часто полная иронии и сарказма, почти всегда была блестяща.

В литературных журналах и больших газетах Петербурга и Москвы критические статьи Зинаиды Гиппиус появлялись под псевдонимами Романа Аренского, Антона Крайнего, Льва Пущина и товарища Германа. Отметим, что у некоторых они вызвали и неприязненные чувства к автору и отрицательную критику. (См. напр. А. Белый «Антон Крайний», «Русск. Мысль» № 2, 1910). Но было много и почитателей таланта Гиппиус, как критика и мемуариста. Укажем хотя бы на Владислава Ходасевича, который в своей статье о «Живых Лицах» Зинаиды Гиппиус отмечал, что они «написаны в литературном отношении блестяще». Ходасевич писал: — «Это и сейчас уже чтение увлекательное, как роман. Люди и события представлены с замечательной живостью, зоркостью, — от общих характеристик до мельчайших частных, от описания важных событий до мельчайших, но характерных сцен. ... И все эти люди

показаны не в неподвижных «портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков, собраний... В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристрастием и бесстрастием. ... Она наблюдает зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не затушевывая своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий. ... Перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» самой Гиппиус. ... З. Н. Гиппиус дает обильнейший материал для суждения о ней самой... как о важной участнице и видной деятельнице данной литературной эпохи. ... З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влияние, кстати сказать, мне кажется еще далеко не вполне взвешенным нашей **критикой**. Во всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему историку». («Совр. Зап.» XXV. 1925).

Как и «Живые Лица», критические статьи Зинаиды Гиппиус полны зорких, острых наблюдений о произведениях и личности Андрея Белого, Валерия Брюсова, Александра Блока, Михаила Кузмина, Василия Розанова, Федора Сологуба, Антона Чехова, Максима Горького и многих других выдающихся писателей того времени. Как и в «Живых Лицах», в своих статьях Гиппиус рисует жизнь литературных салонов и кружков, изображает собрания и события в Париже, Петербурге, Москве.

К сожалению, литературные статьи Гиппиус мало известны; полностью они даже и не собраны. Ее взгляды поэтому недостаточно освещены и комментированы. В этой статье я ограничусь только отношением Зинаиды Гиппиус к поэзии и судьбе Сергея Есенина.

Одной из ранних реплик Гиппиус на поэтический талант Есенина является ее статья «Земля и камень», напечатанная в «Голосе жизни» (№ 17, Петроград, 1915). Сдержанно, но в общем положительно, отзываясь Гиппиус о поэзии Есенина: подобно Клюеву, Есенин находит — «свои свежие, первые и верные слова для передачи того, что видит. В стихах Есенина пленяет какая-то «сказанность» слов, святость звука и значения, которая дает ощущение простоты. ...Тут... мастерство как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга дополняющие. ... Замечательно, что при таком отсутствии прямой, непосредственной связи

с литературой, при такой разностильности, Есенин — настоящий **современный** поэт. Он, сам того не подозревая, — уже «писатель», он, прежде всего, «видит», и это — не его личное свойство, а общее свойство современных словесников-поэтов».

В стихах Есенина этого раннего, «петербургского», периода поражает эмоциональная непосредственность. Есенин — лирик и художник родной деревни. Соблазны культуры и модных направлений тогда еще не задели «рязанского Леля». Молитвенные напевы, прославление сельского пейзажа, юная, сильная любовь — вот темы первого сборника Есенина «Радуница» (1915). Но уже в 1915 г. Зинаида Гippiус выражает опасение, что молодой поэт «может еще завянуть на корню», т. к., «не зная 'языка'», он может увлечься литературной модой, погубившей уже много свежих дарований. «Пока невиданный Питер не слишком удивил и пленил его», шутливо замечает Гippiус, но на «поэзо-концерты» Игоря Северянина он всё-таки пошел. В этих «поэзо-концертах» она видит проявление дурного вкуса, который заметен и в вычурных, временами грубых образах Есенина:

Над тучами, как корова,  
Хвост задрала заря.

И облак желтокрылый  
Прокусит млечный пуп.

И жует, слюнявя бороду,  
Кус подохлой кобылятины.  
...Говорит он псиним голосом  
С губ бежит слюна кипучая.

Георгий Адамович так характеризует творчество Есенина «петербургского» периода: «Ранние стихи соответствуют зрительному впечатлению, которое он производил: сладковатые, нежные, мелодичные, будто всегда теплые, — от них чуть-чуть мутило... Маяковский много позднее сказал, что когда он впервые услышал голос Есенина, ему почудилось, будто заговорило ожившее лампадное масло. Зло, но метко», заключает Адамович. «Лампадное масло пришлось петербуржцам не по вкусу».

Но Есенин искал признания своего таланта именно в столице, т. к. Москву считал «бездушным городом»: «Москва — не суть двигатель литературного развития», пишет он в



письме Г. А. Панфилову в 1913 г., «а она всем пользуется готовым из Петербурга. ... Люди здесь [в Москве] большей частью волки из корысти. ... Всё здесь построено на развлечении, а это развлечение покупают ценой крови». За славой Есенин приехал в Петербург.

Живое и подробное описание первого появления Есенина в ее салоне в 1915 г. Гиппиус дает в статье более позднего времени «Судьба Есениных». Она вспоминает: — «Народу было много, когда он появился. Вновь приходившим мы его тотчас рекомендовали; особенного стеснения в нем не замечалось. Держал себя со скромностью, стихи читал, когда его просили, — охотно, но не много, не навязчиво: три-четыре стихотворения. Они были недурны, хотя и с сильным клюевским налетом, и мы их в меру похвалили. Ему, как будто, эта мера показалась недостаточной. Затаенная мысль о своей необыкновенности уже имелась, вероятно: эти, мол, пока не знают, ну да мы им покажем ... Кончилось тем, что стихотворство было забыто, и молодой рязанец... во весь голос принялся нам распевать «ихние» деревенские частушки. И надо сказать — это было хорошо. Удивительно шли — и распевность, и подчас нелепые, а то и нелепо-охальные слова — к этому парню в «спинжаке», что стоял перед нами, в углу, под целой стеной книг в темных переплетах. Книги-то, положим, оставались ему и частушкам чужими; но частушки, со своей какой-то безмерной и короткой, грубой удалю, и орущий их парень в кубовой рубаше, решительно сливались в одно. Странная гармония».

Вопреки существующей легенде, будто петербургские поэты, усталые и пресыщенные столичной жизнью, умудренные всякими исканиями и искусами в литературе, с восторгом приветствовали «радостно-новую лиру» Есенина, Адамович подчеркивает, как и Зинаида Гиппиус, нескрываемую сдержанность и холод петербуржцев. Они «хмурились и выжидательно переглядывались», отмечает Адамович: — «Блок молчал. Сологуб отделялся несколькими едкими и пренебрежительными замечаниями. Гумилев... демонстративно принимался разговаривать, когда тот [Есенин] читал стихи. Ахматова улыбалась, как будто одобрительно, — но с таким же ледяным светски-любезным равнодушием, как слушала всех, даже Городецкого, стихи которого терпеть не могла. Кузмин пожимал плечами. ...Раздра-

жали в Есенине... именно его наряд и общая нарядность его стихов. Трудно было принять это всерьез. ... Восхищен был один Сергей Городецкий, которому Есенин был дорог и нужен, как «дитя природы», явившееся в условно русском, нарядно-пейзанском облачении: с кудрями, в голубой шелковой рубашке, с певучими былинно-религиозными стихами, чуть ли не с гусями под мышкой. Городецкий, довольно неудачно насаждавший «стиль рюсс», с первых же месяцев войны восплававший неистово-черносотенским патриотизмом, увидел в Есенине союзника, соратника. Он сам ведь только подделывался и подлаживался, это же было действительно что-то «от сохи» — и притом ничуть не страшное, вопреки тогдашним утверждениям, и, в частности бунинской «Деревне», недавно прогремевшей, а ласковое, послушное и приветливое. Восторг Клюева не в счет — ибо Есенин был как бы вторым его изданием.

Ведь «это он [Клюев] выискал Есенина», поясняет Гиппиус.

Петербургские поэты увидели в стихах Есенина и бутафорскую красоту, и стилизованную народность, и слащавую религиозность. Аромат полей, свежий запах земли, пенье жаворонка, которые создали славу Есенину в Москве после его возвращения из Петербурга, оказались не для поэтов Петербурга. Один Городецкий принял близкое участие в судьбе Есенина, с энтузиазмом признав народность его таланта. В 1915 г. Городецкий организовал группу «Краса», в которую входили поэты «из народа»: Н. Клюев, С. Клычков, А. Ширяев, С. Есенин. К ним примкнули и некоторые писатели «из города», как напр. А. Ремизов. Их связывал интерес к народной поэзии, к старине, к поэтическому фольклору. В Петербурге Есенин был близок и к кружку «Скифы» Иванова-Разумника. «Краса» и «Скифы» возлагали на Есенина большие надежды, рассматривая его как главу «народной школы», «крестьянской поэзии», которая должна была открыть подлинные глубины народного духа. По описанию Гиппиус, Есенина — «закружила, завертела, захватила группа тогдашних «пейзажистов» (как мы их с Блоком называли). Во главе стоял Сергей Городецкий. Он, кажется, увидел в Есенине того удалого, «стихийного» парня, которого напрасно вымучивал из себя во дни юности. ... Есенин стал, со своей компанией, являться всюду (не исключая и Рел.-Фил. Общества) в совершенно особом

виде: в голубой рубашке, с золотым пояском, с расчесанными, ровно подвитыми кудрями. Война, — Россия, — народ, — война! Удадь во всю, изобилие и кутежей и стихов, всюду теперь печатаемых, стихов неровных, то недурных — то скверных, и естественный, понятный рост самоупоения, — я, мол, знаменит, я скоро буду первым русским поэтом, — так говорят...»

Это «самоупоение» звучит отчетливо в письме Есенина к Р. В. Иванову-Разумнику: «Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев, как некогда пришибленный им, не сумел отойти от его голландского романтизма... Я не люблю их, главным образом, как мастеров в нашем языке. Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка. ... Я его [искусство] хорошо изучил, обломал и поэтому так спокойно и радостно называю себя и моих товарищей 'имажинистами'». По воспоминаниям А. Воронского Есенин публично «кричал, что он — лучший в России поэт, что ему цены нет». Но, встретив однажды Есенина в Москве в цилиндре и разлетающейся крылатке, свисающей с плеч почти до земли, Воронский на свой вопрос о маскарадном костюме Есенина, получил ответ: «Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире». Ущемленное самолюбие Есенина страдало от клички «поэта из низов», как он писал А. В. Ширяевцу в письме от 24 июня 1917 года.

Зинаида Гиппиус, со своей «изошренной культурой» (по выражению Д. Святополк-Мирского) не верила, конечно, Есенину, что он лучший поэт в России. Воспитанная в лучшей русской традиции словесного искусства, человек «ума, вкуса и изысканности», которые по мнению Андрея Белого составляют «основу и мощь утонченной культуры», она не выносила невежественности тех начинающих писателей, которые претендовали на звание художника, хорошо не зная русской классической литературы. «Интерес к ней и труды 'отцов' (или 'дядей') ...были им чужды», говорит Гиппиус: «Почти никто [из них] не читал Достоевского (разве в детстве, бегло), или «старого» Гоголя. Тургенева со снисходительностью презирали, Некрасова презирали без снисхожденья, никогда не выдав в глаза его книг. О других писателях, более ранних, менее ярких, нечего и говорить. Любопытство было только к «современникам»: их знали, начиная с Блока, иногда с «декадентов». ...

Создавался... у всех, мало-по-малу, собственный стиль, какая-то вычурная смесь изысканности с малограмотностью. Натура, сказать «не банально», заставляла их портить каждое русское слово, какое они только могли».

Молодежь второго десятилетия двадцатого века изумляла Зинаиду Гиппиус или своей крайней апатичностью или «дерзаниями» и «вздыбами» футуристов, имажинистов и прочих «истов». Раньше, в девяностых годах, вспоминает Гиппиус, «молодежь мучилась, боролась, осознавала проблему ‘личности’, утверждала, ковала ‘личность’, доходила в борьбе до неизбежных крайностей». Молодежь же двадцатого века вдруг «заговорила, как о чем-то новом (не заговорила — залепетала) о ‘я’ и ‘не я’, о праве личности и грехе стадности, о грядущем гении, о ‘познании’ мира путем включения его в свое эго». «И слова какие-то всё старенькие-престаренькие», пишет Зинаида Гиппиус, «знакомые со времен юности Бальмонта: ‘солнечно-новая’, ‘стремительно-дерзкая мудрость’ и т. п.» «И пожалуй наша сегодняшняя молодежь», делает вывод Гиппиус, «вовсе и не молодежь, а ‘так’. Так, масса ‘вообще’, среди которой, по медленно-верному закону, происходит своим чередом впитывание очередных идей».

В творчестве футуризма и имажинизма Гиппиус видела общий упадок культурного уровня эпохи. С большим недоверием смотрит она на их часто нелепые словообразования, приемы и образы, на их непонятные ей «средства к доброй цели», как она их называет, «‘дыр...бул...щир’», любовь к смерти младенцев, беременных мужчин» и т. п. Сарказм и ирония звучат в сомнениях Гиппиус, что футуристическое «дер...день...ецы» являются «зажигающей звездой» в истории русской поэзии: — «Ни тот, кто зажег звезды, ни сами звезды никогда не требовали, чтобы люди их мгновенно оценили, увидели, признали, — они слишком уверены в себе. На что бы это было похоже, если бы звезды стали в желтых кофтах приставать к людям на улице, требуя признания и ругательски ругали бы всех, кто относился к ним с благожелательно-спокойным терпением. Было бы неблаголепно и... подозрительно. Ведь и настоящие-то звезды, новые, вдруг не открываются. Нужно время, проверка... Может быть, это — метеоры? Камни, летящие даже не на голову, а как они всегда летят, в пустое место? .. Декаденты были гораздо более горды, более уверены в себе, не приста-

вали до такой степени ни к «толпе», ни к литературной критике. Тоже «презирали», тоже «отругивались», и с эстрады и всячески, но именно отругивались, а не лезли с ножом к горлу, не унижались до провокаций, чтобы потом попрезирать и поковырять. ... У добрых людей болит сердце, глядя на толпу «новых» поэтов: точь-в-точь герой Щедрина, г. Очищенный, который жил тем, что подставлял себя под «оскорбления действием», коих искал (таксу, на лике написанную, имел для сего). Но добрых людей я считаю сентиментами. Довольно для их сердца, если они будут терпимы, терпеливы, не поддадутся на провокацию «по таксе».

Ссылаясь на «Исповедь хулигана» (1920) и «Москву кабацкую» (1923-1924), в которых развиваются темы бродяжничества и хулиганства, Гиппиус так рисует период имажинизма в творчестве Есенина: «В красном тумане особого, русского пьянства он пишет, он орет, он женится на «знаменитой» иностранке, старой Дункан, буйствует в Париже, буйствует в Америке. Везде тот же туман и такое же буйство, с обязательным боем — кто под руку попадет. В Москве не лучше: бой на улицах, бой дома. Знаменитая иностранка, несмотря на свое увлечение 'коммунизмом', покинула, наконец, гостеприимную страну. Интервьюерам, в первом европейском городе, она объявила, что «муж» уехал на Кавказ, в «бандиты»...

И дальше Гиппиус пишет — «На фоне багровой русской тучи он носился перед нами, — или его носило, — как маленький черный мячик. Туда-сюда, вверх-вниз... В. В. Розанов сказал про себя: я не иду...меня **несет**. Но куда розановское «несение» перед есенинским! ... И стихи Есенина — как его жизнь — крутятся, катятся, через себя перескакивают. Две-три простые, живые строчки — а рядом последние мерзости, выжигающее душу сквернословие и богохульство, бабье, кликушечье, бесполезное».

«Если взять у него несколько характерных строчек», пишет Гиппиус в другой статье, «особенно из последнего периода, то... лучше их и не цитировать. Окажется, что еще самое пристойное из его дерзаний, это — как он

Сидит на подоконнике  
И...на луну.

Стихи Есенина периода имажинизма изобилуют вычурны-

ми образами и сравнениями («когти лазури», «грабли зари», «бешеное зарево трупов», «каменные руки шоссе», «отчего, словно яблоко тяжелое, виснет с шеи твоя голова»), есть и циничные выражения и элементы натурализма («словно вонючая моча волов льется с туч на поля и деревни», «луны лошадиный череп каплет золотом сгнившей луны», «всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари»). Особенно перегружена вычурными образами его драматическая поэма «Пугачев» (1920-1921): «запах травы, холодом подоженной», «мечь щенками кровавыми щенится», «разбив белый кувшин» головы своего мужа, Екатерина восходит на трон. Увеличиваются цветистость и разукрашенность эпитетов, возрастает «вещественность» образа.

Недочетами с технической стороны являются, пожалуй, и шаблонно-народные формы поэзии Есенина, отсутствие звуковой убедительности стиха, несоответствие ритма и темы и чувства меры в распределении веса слов и их красок. Тонкий вкус Гиппиус не допускал есенинских излишеств. Гибель таланта «этого типичного русского, нетронутого культурой человека», она видит в «безмерности» его натуры и неискренности в духовной культуре. Подобный упрек она делала в свое время и Максиму Горькому: «Талант — это некое имение, получить его по воле нельзя, но, получив, разорить, опозорить, во зло обратить — сколько угодно. Это чаще всего и происходит... Когда пришел настоящий большевизм... таланты остались талантами. Но талант начали употреблять на схватыванье и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных и на обработку их в сверх-кошмар, в сверх-безобразии... Это «сверх» обыкновенно не удается, и мы получаем только цепь бесполезно-уродливых описаний».

«Нетронутый культурой» Есенин поет о чем угодно: — «и о деревне, и о России, обо всем, чего его нога потребует. ... Из цепи сегодняшних «свободных» поэтов, деятелей русской поэзии, Есенина не выкинешь: он колечко заметное. ... Все потуги новшества, всю ломку, все «дерзания» последней поэзии он приемлет и даже, благодаря своей природе, доводит до гиперболических размеров. У Есенина чисто русская распутинская, — безмерность: куда бы ноги ни поставил — катит его как с горы. От свободы, не знающей препон... он обалдевает. Если «новое» в поэзии — «сказать погаже», у

Есенина тотчас за поясом, всё вплоть до Маяковского. Если кощунство — так уж никакому комсомольцу не выдумать. А главное — ломка, ломка, ломка, пафос разрушения, который пьянит лучше вина. ... Главный принцип в сегодняшней русской поэзии — **разрушенья**, — проводимый то подземно, то надземно, но неуклонно, коснулся, наконец, самого сердца поэзии, даже самого сердца русской земли, — русского языка... Процесс шел (в общей линии) так: футуристы — ломка звука; имажинисты и другие «исты» — дробление искусства, изгнание из него жизни, из поэзии — музыки; наконец, с помощью безмерных Есениных, — ломка фразы и самого слова. Это работа отходящих. Имажинистов уже нет, Есенин в похмелье, еще бормочет насчет «октября», но уже без прежнего «вздыба». «Кудри повылезли», и он истерически восклицает: Живите, пойте, юные! Юные, — или последние, не поют (причем, пенье?), но печатают свои стихи. Что это за стихи? — Они спокойны. Ни смеяться над ними, как над футуристическими, ни возмущаться ими — нельзя. В них закончена ломка всего, что составляло стихи: звука, ритма, фразы и слова. Аккуратно изгнаны: музыка, краски, жизнь (о мысли и смысле я не говорю: Бог с ними!). Слова — в ряду крайне шатком, неустойчивом, стучат, как костяшки. Разбиты все внутренние законы языка».

Это состояние русской поэзии совпадает с последними годами в жизни и творчестве Есенина. Изменилась общая тональность его стиха, как, например, в «Персидских мотивах» (1924-1925), «Руси Советской» (1924) и «Стране советской» (1924). Есенин как будто бы и хочет быть «в созвучии с эпохой», но не может найти «себе нигде приюта», даже в своем родном селе:

Вот так страна! Какого-ж я рожна  
Орал в стихах, что я с народом дружен?  
Моя поэзия здесь больше не нужна,  
Да и, пожалуй, сам я здесь не нужен.

Утратив мечты об Инонии, грядущем рае на земле, Есенин с смирением уступает место новой молодежи:

Цветите, юные! И здоровейте телом!  
У вас другая жизнь, у вас другой напев.  
А я пойду один к неведомым пределам,  
Душой бушующей навеки присмирив.



Исчезают «вздыб» и разбойное деревенское хулиганство. Появляется общая сдержанность чувств, новая, разговорная интонация стиха, соответственно которой становится прозаической структура синтаксиса. И только в поэме «Черный человек» (1925) Есенин как бы возвращается к вздыбу чувств, к настроениям «Москвы кабацкой». Начинается душевный распад.

«Есенин не поступил в 'бандиты', говорит дальше Зинаида Гиппиус: — «Он опять женился...на внучке Толстого. Об этом его прыжке мы мало знаем. Кажется, он уже начал спотыкаться. Пошли слухи, что Есенин меняется, что в его стихах — новые ноты. Кто видел его — находил растерянным. В стихах с родины, где от его дома не осталось следа, где и родных частушек даже не осталось, замененных творениями Демьяна Бедного, — он говорит вдруг об ощущении своей «ненужности». Вероятно, это было ощущение более страшное: своего... уже «несуществования».

Душевный разлад Есенина кончается самоубийством: «И вот последний Петербург — нет, 'Ленинград': комната в беспорядке, перерезанные вены, кровью написанное, — совсем не гениальное, — стихотворение, и сам Есенин на шнурке от портьеры».

В своих более ранних статьях Гиппиус осветила жизнь, личность и творчество Есенина с момента его первого (1915) и до последнего (1925) появления в Петербурге-Ленинграде. В Петербурге началась его литературная карьера, там же она и оборвалась. Позже Зинаида Гиппиус объясняет и причину гибели поэта, говоря, что его судьба — это больше, чем личная судьба, чем единичное явление. Его судьба — судьба многих, по выражению Гиппиус, «потерявших спинной хребет». «На Есенине это ярко и просто: пил, дрался, — заскучал, повесился. Примитивный рисунок всегда нагляднее». «Есенин интересен», пишет Гиппиус, «как явление наглядное. Продукт химически чистый. На Есенине можно наблюдать процесс разложения и конечной гибели человека». Подобная трагедия, утверждает Гиппиус, может произойти и с человеком более сложной культуры, стоит лишь вспомнить судьбу А. Блока, Ф. Сологуба и других. Их трагедия отличается от есенинской тем, что она «внутренняя», т. к. они «до конца не спустились и без борьбы по спуску не влеклись». Трагедия Есенина — это «внешняя» трагедия «нетронутого культурой» человека, и ви-



димые проявления этого процесса на Есенине более рельефны и резки. «Самоубийство Есенина открыло для комментаторов широкое поле», говорит Гиппиус; — «Можно, например, всё свалить на большевиков: это они виноваты, не вынесла талантливая душа... и т. д. Можно покачать головой: вот до чего доводит богохульство. Можно и совсем не комментировать: просто отдаться, как М. Осоргин, лирической скорби, отговорила, мол, роща золотая, умолк, самый значительный современный поэт, такой значительный, что лишь «безнадежно равнодушные и невосприимчивые люди» могут этого не понимать и от этой поэзии в волнение не приходиться».

Зинаида Гиппиус дает иное толкование причин самоубийства Есенина: «Большевики не суть, не главное. Не они создали 'историю' Есенина. Как потенция — она была заложена в нем самом. Большевики лишь всемерно содействовали осуществлению именно этой потенции. Помогали и помогли ей реализоваться. И возможность стала действительностью — действительной историей Есенина». Эта потенция Есенина, реализованная общими условиями и атмосферой НЭП'а, заключалась в «безмерном самораспускании», в «самораспылении», в «последней потере» русской души, не знающей самоограничений.

При анализе «истории» Есенина перо Зинаиды Гиппиус утрачивает свою обычную иронию. Ирония постепенно уступает место серьезным и грустным размышлениям над судьбой неуравновешенного русского, потерявшего самого себя в вихре бурных, необузданных чувств, неожиданных событий, резких перемен. На примере судьбы Есенина Гиппиус предостерегает русскую эмиграцию «от соблазна самопотери и...от тех, кто себя уже потерял». Есенинские «безмерность», «безволие» и «без-ответственность» являются иллюстрацией человеческой трагедии вообще. Только истинная культура — гармоничность, взаимодействие между ростом духовным и жизнью человека, «двусторонность» личности — могут предотвратить трагедию безмерности, безнадежности, беспреградности чувств. «Отсутствие критерия, меры, сдерживающего начала может самые благородные чувства незаметно превратить в стихийные инстинкты. Слишком большая 'свободность', душевная 'легкость в мыслях' — уже признак начинающейся дисгармонии, признак того, что реализм жизни отстает, не поспевает за стремительным ростом духа. Вот где должна лежать наша за-

бота», утверждает Гиппиус, «если мы думаем об истинной культурности».

Гиппиус кончает свою «историю Есенина» выражением глубокой человеческой печали о потерянной жизни, но потерянной «не напрасно»: «Есенину не нужен ни суд наш, ни превозношение его стихов. Лучше просто, молчаливо, по-человечески пожалеть его. Если же мы сумеем понять смысл его судьбы — он не напрасно умер».

При чтении статей Гиппиус о Сергее Есенине не может не броситься в глаза ее молчание о стихотворениях, посвященных революции 1917 г. Не говорит она и об «Инонии» (1918), которую Владислав Ходасевич называет «лебединой песней Есенина, как поэта революции и чаемой новой правды». Гиппиус никогда и не считала Есенина поэтом революции. В его стихах она не видела воплощения «октябрьских» направлений в русской поэзии 1917-1925 гг. Она не считала его «романтиком революционных чувств», каким его изображает советская критика. В глазах Зинаиды Гиппиус стихи Есенина представляют собою выражение крайней традиционности и патриархального консерватизма. Его Россия — это Русь, а Русь — деревня. Его поэзия полна воспоминаний о деревне, о родной земле, о полях и реках, навсегда для него сохранивших свою прелесть. В стихах Есенина есть и живые отклики поэта на «песни-золото» русской старины, воскрешенные Н. А. Клюевым, на цикл стихов о Руси Александра Блока, Петра Орешкина. Вера в Бога у Есенина облачена в традиционные формы христианского мифа, как, например, в стихотворениях «Шел Господь пытять людей в любви» (1914), «Исус-младенец» (1916). «Не от холода рябинушка дрожит» (1917); в стихах его заметны иногда черты библейской стилизации. Его крестьянская вера раскрывается также и в концепциях и образах литературных памятников древней Руси: небо у Есенина — это отелившаяся корова, телок — это урожай, хлеб. Правда неба воплощается в урожай. Земля — это мать, родящая от неба. Единственно праведное религиозное занятие — это работа на земле. Хлебопашец-крестьянин как бы принимает участие в творении Божьем.

Консервативный и традиционный характер поэтических форм Есенина сказывается и в постоянных его эпитетах («кудри русые», «темна ноченька»), кратких прилагательных («белы снега», «алы зори», «сине море») зачинах («Гой ты, Русь,

моя родная», «сторона ль ты моя, сторона», «соколы вы мои, соколы»), частушечных ритмах («хороша была Танюша»), подражаниях («Песнь о великом походе», 1924), в метафорах («месяц — кудрявый ягненок», «кормышлом серп двуногий плавно по небу скользит»), в церковно-славянских архаизмах («упокой», «воссиял», «прозревшие вежды»). Если Есенин и принял октябрьскую революцию, то он смотрел на нее как на пролог будущих, гораздо более значительных событий. В своей автобиографии он говорит, что революцию он «встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». Политически он не мыслил, и выражения «огненный стяг», «борьба за волю, равенство и труд», «железное слово — республика» не имели для него четкого и осознанного социально-политического значения. Для него они были полны скорее опьяняющей стихии.

«Поэтичность» таланта Есенина, по мнению Гиппиус, состоит в юной непосредственности его ранних стихов, в их подкупающей лирической силе, в его народной **песне**, то звонкой и веселой, то полной тоски и бурного отчаяния от совершенных ошибок и заблуждений. Очарование есенинской поэзии сказывается в его безбоязненном признании этих своих ошибок и решимости ответить перед судом своей совести.

К оценке Гиппиус следует прибавить, что Есенин привлекателен и в своем выражении великой темы «блудного сына», темы возвращения в «отчий дом» после «грехопадения», с характерно-русскими нотами раскаяния. Стихи Есенина последнего периода, как говорит Г. Адамович, это тема утерянного рая, сказание о «блудном сыне» есенинской деревни, куда возвращается смиренный и готовый к покаянию поэт. Тут Есенин создает высокий миф, за который ему прощаются многие из его поэтических срывов.

Зинаида Гиппиус была одной из первых русских критиков, заговоривших о «тайне» творчества Есенина. Какой бы субъективностью ни отличался ее подход к поэзии Есенина, ее суждения во многом верны и интересны.

«История Есенина», написанная Зинаидой Гиппиус с большой зоркостью, является по праву художественным дополнением к ее литературным мемуарам «Живые лица».

# УТОПИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ

## 1

Я заключил себя в монастыре  
Над озером, в монастыре зеленом  
Душистых хвой в смолистом янтаре  
И бледно-желтых грошиков под кленом...

Свершенная Мечта — святой алтарь  
Монастыря бесстенного Природы.  
Я новью замолить мечтаю старь  
Своих грехов, забыть ошибок годы.

Не говори, потомок: «Он был слаб»,  
Исполненный энергии и страсти,  
Я сжег Любви испытанный корабль  
И флаг Успеха разорвал на части...

Я расплескал столетнее вино,  
Мне данное рукой державной Славы,  
Пороком цепь сковал к звену звено,  
И смял романа начатые главы...

Во имя Той, Кто восприяла плоть,  
Я сделал невозможное возможным...  
За прошлое прости меня, Господь,  
Устрой остаток жизни бестревожным.

Среди глуши, бумаги и чернил,  
Без книг, без языка, без лживой кружки  
Я заживо себя похоронил  
В чужой лесной озёрной деревушке.

---

Эта, написанная в 1924 году, поэма Игоря Северянина появляется в печати впервые. Она прислана нам другом И. Северянина, известным эстонским поэтом Алексисом Раннитом. РЕД.

## 2

Нет, не себя, — в себе я схоронил  
Пороки, заблужденья и ошибки.  
В награду дух обрел взнесенье крыл,  
Уста — святую чистоту улыбки.

И мысль моя надземна с этих пор:  
Земля с ее — такой засушной — ложью,  
Ее детей непреходящий спор  
Чужды ушедшему в Природу Божью.

Ложь истины и эта правда лжи,  
Неумертвимые вражда и войны...  
О, неужели люди все, скажи,  
Быть Человеком вовсе не достойны?

И вот, во имя Сбывшейся Мечты,  
В себе похоронив следы порока,  
Я возродился в мире Красоты,  
Для подвига Поэта и Пророка!

Среди глуши, бумаги и чернил,  
Без человеческой мудрости печатной,  
Нет, не себя, — в себе я схоронил  
Порок Земли, душе моей отвратный.

## 3

Отвратный ли? — не я ли пел порок  
Десятки лет, и славословил тело?  
Что-ж из того! всему положен срок:  
Впредь петь порок душа не захотела.

Лишь в мертвце противоречий нет, —  
В живом — калейдоскоп противоречий.  
А если он, живой, к тому-ж поэт.  
Он человек порой сверхчеловечий.

И потому, что он сверхчеловек,  
Он видит недостатки человека,  
И думает вместить мечтанный век  
В пределы существующего века.

Удастся ли когда-нибудь? О, нет!  
Не думаю. Не верится. Не знаю.  
А всё-таки!.. поэт, ведь, я, поэт,  
И, как поэт, я иногда мечтаю...

И мыслю о немыслимом — о том,  
Что люди прекратят вражду и ссоры,  
И будут над рекою строить дом  
С окном на безмятежные просторы.

Что люди поразрушат города,  
Как гнойники ненужной им культуры,  
Откажутся от праздного труда —  
Работы механической фигуры...

Да здравствует кузнец и рыболов,  
Столяр и ты, кормилец-хлебопашец!  
Да здравствует словарь простейших слов,  
Которые сердца приемлют наши!

Идиллика поверхностно скотом  
Не называйте, каменные люди!  
Я мыслю о немыслимом — о том,  
Чего, быть может, никогда не будет...

А если-б было, не было того,  
Что есть теперь — повсюдного содома,  
Природа — Бог, и больше нет Его,  
Не строй себе нигде, как в Боге, дома.

В Природе жить — быть вечно в Божестве  
Не с Божеством, не у Него, а в Боге.  
Во всем своем вмещающая существе  
Природу, ей причастен ты в итоге.

Природа — всё естественное. Всё-ж  
Культурное — искусственно, и, значит,  
Ваш город — лишь кощунственная ложь,  
Которая от вас святыню прячет.

Ненужному вас учат города, —  
Вы, неучи ученые, умрете.  
Не стоит жить для ложного труда  
В бессмысленном своем людвороте.

Труд всякий ложен, как и жизнь ложна,  
Но предпочтенье отдаю простому —  
Природному. Работа, что сложна,  
Принадлежит, по существу, содому.

## 4

Маститый кафедральный муж, чья дверь  
Влечет, как светоч, сбившихся с дороги,  
Ты — уважаемый глубоко зверь,  
Ученый зверь! ты только зверь двуногий!

Ты выдрессирован наукой. Ты —  
Величественная земная немочь,  
Исполнен весь пустейшей полноты:  
Пузырь из мыла и ученый неуч!

Что стоит всё величие твое,  
Весь твой расчет, который строг и точен,  
Когда ничтожное хулиганье  
Тебе способно надавать пощечин?..

Ты, зверь, среди таблиц и диаграмм  
Мечтающий свой мозг увековечить,  
Ты даже от простых семейных драм  
Себя не в состоянии обеспечить...

К чему твоих познаний мишура,  
Изобретенья все и все открыты,  
Когда и завтра будут, как вчера,  
Происходить кровавые события?

Зверь зверя будет грызть наедине,  
И звери станут грызть зверей открыто  
В так называемой «людской» войне  
Из-за гнилого старого корыта...

Ты можешь ли не умереть, старик,  
И заменить октябрь цветущим маем?  
Так чем же ты, убогий зверь, велик,  
И почему зверями уважаем?

Маститое ничтожество! Фигляр,  
Сильнейший из бессильных! Вся культура,

Вмещаемая в твой надплечный шар,  
Когда в ней разобраться, на смех курам!

И если-б этой кафедры шута  
И города, трактирного зверинца,  
Не знал профессор вовсе, у куста  
Провел бы жизнь за соскою мизинца...

А то стругал бы с пользою бревно,  
Как ныне мозг бессмысленно стругает...  
Я думаю, для зверя всё равно,  
Как он живет и как он умирает...

## 5

Ученому ученый рознь: один  
Старается на пользу брата-зверя,  
Другой, прохвост, доживший до седин,  
Изобретает пушки, лицемеря

Патриотизмом, свойственным зверям,  
На самом деле думая о «куше»...  
В честь Марса звери воздвигают храм,  
Жестокие ожесточая души.

Итак, на сломку университет,  
Который больше вреден, чем полезен!  
Я докажу: раз в мире мира нет,  
Наука — вздор! Попробуй, на железе

Взросший, опровергнуть мысль мою!  
Наука — вздор, раз кровь по миру льется!  
Рушь университетскую скамью, —  
Уст не мочи своих в крови колодца...

Не попусту мой пламенный задор,  
Продуманы слова, перестраданы,  
Когда я говорю: «Наука — вздор!»  
Ты вспомни разрывные «чемоданы»,

Ты вспомни газ удушливый, весь вред,  
Весь ужас, создаваемый наукой.  
Я отвергаю университет  
Со всей его ... универсальной скукой!



## 6

Я слышу, зверь, я слышу твой вопрос:  
— А разве пользы от науки мало?  
Ах, нет лекарств целебней лдяных рос  
И средств простейших лучше! Понимала

Толк в травах Солнечного Дикаря  
Душа, леча природой дух и тело.  
А воздух-то? а солнце? а заря?  
Смола лесов без грани, без предела?

А ты, животворящая вода  
Студеного ключа, там, из-под дёрна,  
Врачующая боли без следа?  
Чудная! чүдная! ты чудотворна!

Лекарства городов, все чудеса  
Хирурга — ноль, ничто перед Природой.  
Да исцелит тебя ее роса!  
Души своей Наукой не уродуй!

Есть случаи, когда тебя ланцет  
От смерти сбережет: что за отрада  
Жизнь удлинять? Живешь — прекрасно. Нет —  
Так, значит, вовсе жить тебе не надо...

А если надо, что-ж, и без ножа  
Профессора останешься на свете...  
Живи, живой, собой не дорожа,  
Как мудрецы и маленькие дети!

И головы́ себе не забивай  
Научною сухою дребеденью,  
И помни, что тебе доступен рай,  
И этот рай — земля с ее сиренью!

Сирень — простое дерево. Сирень  
Бесхитростна, как ты, душа поэта.  
Она в обыкновенный вешний день,  
Всё-ж ароматней университета!..

— Он полн идей, — мне скажут. Полн идей?!..  
Тщеславия? убийства? славы блуду?

Зверей я не считаю за людей  
И никогда людьми считать не буду,  
Пока не изничтожится война —  
Рычаг и главный двигатель культуры.  
Двуногие! поймите, что гнойна  
Вся ваша гнусь кровавой авантюры..

## 7

Я говорил про высшую из школ  
Лишь потому, что лекторская школа,  
Мне кажется, могла бы на «престол»  
Сажать людей, пригодных для «престола»,  
Которые развитием своим  
Высоко вознеслись бы над толпою,  
Воздвигнув стяг: «Земной не умертвим  
Здесь на земле ничьей рукой землею».

## 8

На то война! А разве без войны  
Не убивает зверь другого зверя,  
Его лишая жизни без вины?  
И что ему ничтожная потеря —  
Другого зверя жизнь? Ах, что ему  
Какие-то там «честность», «честь» и «право»?  
Его, как в клетку, заключат в тюрьму,  
Где уж сидит орущая орава...  
Кто может бить стекло и зеркала  
И мазать лица кельнеров горчицей,  
В том никогда ужиться не могла  
Душа людская, с белой голубицей,  
Которую равняют. «Ты тростник,  
Но мыслящий», сказал про зверя Тютчев.  
Я думаю, однако, что старик —  
Поэт название мог бы выбрать лучше:  
Ведь, в тростнике нет зверского, меж тем,  
Как в людях зверство сплошь. О, «царь природы»,

Подвластный недостаткам зверским всем!  
Но, может быть, людей есть две породы?

Как знать! возможно... Отчего б и нет?  
За эту мысль цепляюсь. Грежу тщетно.  
И лавой мысли весь мой кабинет  
Клокочет, как дымящаяся Этна...

## 9

Любовь земная! ты — любовь зверей!  
Ты — зверская любовь, любовь земная!  
Что розоватости твоей серей?  
Ты — похотная, плотская, мясная!..

Ты зиждешься единственно на лжи.  
Кому — хитон, с тебя довольно кофты...  
Уродина! ты омрачаешь жизнь,  
И оттого-то вовсе не любовь ты!

Детёныши, законные плоды  
Твои, любовь звериная, всосали  
С твоим проклятым молоком беды  
Всю низость чувств, зачатых в грязном сале...

Измена и коварство, и обман,  
Корысть, бездушие, бессердечье, похоть  
Вот облик твой, и, кто тобою пьян,  
Удел того — метаться, выть и охать...

Законодатели! Пасть, как дракон,  
Раскрывшие в среде своей звериной!  
О, если-б учредили вы закон:  
**Рождаемость судима гильотиной.**

О, смилуйтесь: зверь зверствовать устал...  
Слетайтесь, стаи падали вороньей!  
Плод вытравить закон, который стал  
Необходим при общем беззаконьи!..

## Ф И Н А Л

Но мне-ль в моем лесном монастыре  
Проклятья миру слать и осужденья?

Над озером прозрачным, на горе,  
Мой братский дом, и в доме Вдохновенье.

Божественность свободного труда,  
Дар творчества дарованы мне Небом.  
Меня живит озёрная вода,  
Я сыт ржаным — художническим! — хлебом.

Благодаря Науке, я гремлю  
Среди людей, молящихся Искусству.  
Благословенье каждому стеблю  
И слава человеческому чувству!

Я образцовой женщиной любим,  
В моей душе будящей вдохновенье,  
Живущей мной и творчеством моим,  
Да будет с ней мое благословенье!

Благословенна грешная земля,  
В своих мечтах живущая священно!  
Благословенны хлебные поля  
И Человечество благословенно!

Искусство и Наука, и Любовь —  
Всё, всё, что я клеймил в своей поэме,  
Благословенны на века веков, —  
Да будет оправдание над всеми!

Раз могут драгоценный жемчуг слез  
Выбрасывать взволнованные груди,  
Раз облик человеческий Христос  
Приял, спасая мир, не звери — люди.

Живи, обожествлённый Человек,  
К величественной участи готовься!  
О, будет век — я знаю, будет век!  
Когда твоих грехов не будет вовсе...

Алмазно хохочи, жемчужно плачь, —  
Ведь, жемчуг слез ценней жемчужин Явы...  
Весенний день и золот, и горяч, —  
Виновных нет: все люди в мире правы!

*Озеро Uljaste, Январь 1924.*

*Игорь Северянин*

## ТРИ РЕЧИ О ПУШКИНЕ

С пятого по 8-ое июня 1880 года праздновалось открытие памятника Пушкину в Москве. Многие присутствовавшие на торжествах считали, по произведенному на них впечатлению, самыми сильными речи Достоевского, Тургенева и Островского. Однако, несомненно, что самое большое впечатление не столько как речи, а как **события**, произвело слово Достоевского. Упомянутые три выступления интересны и важны в культурно-литературной истории России по многим причинам. Прежде всего — три больших писателя, говорили о родоначальнике большой русской литературы. В их речах отразились общественные и литературно-критические течения русской мысли 1880-х годов; наконец, индивидуальность каждого из ораторов в этих речах рисуется очень ярко словами, недомолвками, последующими разъяснениями.

По несомненному значению, а равно и по своей обширности речи о Пушкине можно (в обратном порядке) распределить так: А. Н. Островский, И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский. Первая — застольное слово, радостное, с призывом к веселию русских литераторов, с указанием на великие заслуги Пушкина. Вторая — тонко сложенная, очень благожелательно-осторожная, с известной оглядкой и опаской — не переоценить бы поэта перед либеральной публикой! Третья — превознесение гения Пушкина, указание на открытие им тайны русской истории. Слово не менее историософское, этико-философское, чем чисто литературное. Чувствуется предельная раскаленность сердца ее автора, неколебимость его убеждений, беспощадная критика дерзнувших недооценить, или даже не понять Пушкина. В ней нестерпимо жгучее желание и попытка «разгадать тайну». Горизонты ей раскрываемые несравнимы до сих пор ни с одной речью или статьей о Пушкине. Можно, а кое-где и должно, не согласиться с автором, но его предельная серьезность, самозабвенная отдача идеям и эмоциям слов от сердца — вне сомнения. До сих пор не молкнет эхо этой поразительной речи.

\* \* \*

«Застольное слово о Пушкине» сказано было знаменитым драматургом А. Н. Островским на обеде Московского общества любителей российской словесности 7-го июня 1880 г. В черновике и белой рукописи речи (напечатанной в «Вестнике Европы», № 7, 1880 г.) и в краткой заметке писателя, нет существенных расхождений. Слово А. Н. Островского всего четыре печатных страницы, тип того, что теперь в Америке называют «шорт спич». Особо выдержанного порядка мыслей, искусно проведенного нарастания настроения почти незаметно. Начало и концовка сходятся в чувстве удовлетворения и радости, замыкая довольно красиво и уместно всё содержание речи. Основные идеи слова можно сформулировать так: заслуги Пушкина громадны а) перед читателем, б) перед литературой — создание оригинально-самобытной «русской школы», в) перед нацией — «раскрыл русскую душу» и уяснил ее русским людям. В краткой черновой записи А. Н. Островский выставляет два положения своей речи: почему народ любит великих поэтов и как действует настоящее народное искусство на публику. На эти-то положения и отвечает прежде всего его застольное слово. «Человек незаметно для себя умнеет под влиянием изящного произведения... критик сам постепенно подымается на высоту мирозерцания художника». Начало речи — установление фактов: «Памятник Пушкину поставлен: память великого народного поэта увековечена, заслуги его засвидетельствованы. Все обрадованы». Островский и говорит «от полноты обрадованной души». Он сразу же заявляет: «Строгой последовательности и сильных доводов я обещать не могу; я буду говорить не как человек ученый, а как человек убежденный». Далее драматург благодарит поэта за «сокровища, которые он завещал нам». После этого вступления Островский развивает три сходно-смежные идеи. «Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть», ибо Пушкин дает и наслаждение и мысли. В «тонкой и благоуханной атмосфере возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства». Всякий ждет и получает от поэта нечто прекрасное, новое, чего ему без поэта не обнаружить. Со смертью поэта наступает чувство «умственного сиротства» не кем думать, не кем чувствовать». Пушкиным «восхищались и умнели, восхищаются и умнеют. Наша литература обязана ему своим умственным ростом». Русская литература

«в одном человеке (Пушкине) выросла на целое столетие», отказалась от жизни по чужим образцам, поэт создал «образцы, совершенные по форме и по самобытному, чисто народному содержанию. Он дал серьезность, поднял тон и значение литературы, воспитал вкус в публике». Еще важнее, что «до Пушкина у нас литература была подражательная», без корней и «искреннего отношения к действительности, к реальностям жизни», Пушкин же всегда искренен и был «самим собой». Вследствие этого он «оставил за собой школу и последователей». Дал «смелость русскому писателю быть русским. Ведь это только легко сказать! Ведь это значит, что он, Пушкин, раскрыл русскую душу!» Кроме того он же открыл пути талантам других русских писателей в России и через Россию помог их воздействию на европейскую литературу. Концовка всей речи Островского бодро радостная: «Выпьем **весело** за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень **весело** этот тост: нынче на нашей улице праздник».

Чокались, хлопали, выпивали, закусывали, радовались. Похлопывали оратора-москвича, почвенника, русака до мозга костей. Бытовик в основе, Островский тот же и в семье литераторов. Звонкий спич. Речь в основном обращается к уму слушателей. Объясняет и рассуждает. Нет ни одной цитаты из произведений поэта!

\* \* \*

В публичном заседании Общества любителей российской словесности Тургенев сказал речь «А. С. Пушкин». Величавая красивая фигура: голова в серебряной седине, мощный лоб, открытое русское лицо писателя и мыслителя. Манеры на Западе воспитанного оратора. Прекрасно поставленный выразительный голос. Всё — в благожелательно-импозантной манере, в осторожно закругленной фразе, в цитатах по-французски и по-латыни, в стихах Пушкина, приводимых с точной датировкой. Это не только историк литературы, но и социолог, историк развития различных идей у разных поколений русского общества, старающийся показать, что он, Тургенев, на всё смотрит либерально, прогрессивно и всё понимает, и если даже кое-что м. б. не одобряет, то видит историческую необходимость этого. Речь сама по себе м. б. несколько длиннее речи Достоевского, если не считать позднейшего предисловия До-

стоевского и ответа проф. Градовскому. Самым интересным для внимательного слушателя 1880 г., а ныне для читателя, служит трижды повторенная оговорка — недоуменный вопрос, обращенный к публике: «Вопрос: может ли он (Пушкин) называться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и др., мы оставим пока открытым... Всё так... Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом, в смысле всемирном (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?..

...Быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не дерзаем его отнять у него». Эти замечания трижды повторенные в разных местах слова тем интереснее, что Тургенев в предисловии — в письме к дочери А. С. Пушкина — графине Н. А. Меренберг — замечает: «...Я до некоторой степени заслужил это доверие (графини) моим глубоким благоговением перед памятью ее родителя, учеником которого я считал себя с «младых ногтей», и считаю до сих пор...» Заметил же Тургенев о Пушкине как народном писателе: «...Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа».

Я думаю, что эти колебания Тургенева следует отнести за счет известной мягкотелости и страха перед левыми кругами. И о всей речи я скажу: «в бочке меда есть ложка дегтя». В речи о Пушкине Тургенев нападает на подделки под народный тон, «вообще под народность». Это столь же неуместно «как и подчиняться чужим авторитетам». И внезапно как доказательство этих положений ему «служат: с одной стороны сказки Пушкина, с другой — Руслан и Людмила, **самые слабые**, как известно, изо всех его произведений». Не существенно теперь несколько иное мнение, чем мнение И. Тургенева, о сказках Пушкина и в среде публики, и среди ученых. Но такие замечания на прославлении Поэта не содействовали особо поднятому настроению. В основе же речь Тургенева построена на утверждении, что Пушкин является «нашим первым поэтом художником», в нем сливаются два основных начала «народной сути: начало **восприимчивости**, и начало **самодетельности** (подчеркнуто Тургеневым. Р. П.), женское и мужское начало». Касается Тургенев и биографии поэта, и основных



влияний на него. Попутно пускает не отравленную стрелу в наивных народников, а частично и славянофилов: «...Мы не в состоянии разделять мнения тех, конечно добросовестных, людей, которые утверждают, что настоящего русского литературного языка вовсе не существует; что нам его даст один простой народ, вместе с другими спасительными учреждениями». Сам оратор допускает более чем смелое и необоснованное фактами утверждение, что, напр., у Бетховена и Моцарта «ни в одном из их произведений вы не найдете следа не только заимствований у простонародной музыки, но даже сходства с нею»...

Характерно, что желая украсить «поэтическим золотом» прозаическую речь и процитировав стихотворение «Поэт, не дорожи любовью народной!» («Поэту»), Тургенев сейчас же делает отступление: «Пушкин, тут, однако, не совсем прав — особенно в отношении к последовавшим поколениям». Тем не менее в той же речи он поминает **несколько** поколений прошедших «сподряд перед нашими глазами — поколений, для которых самое имя Пушкина было не что иное как **только имя**, в числе других **обреченных забвению имен**». Однако-де в 1880 г. можно радоваться возврату к поэзии. Тургенев поминает и пыль битвы, когда потускнел и затмился стяг Пушкина, когда «для некоторых целей» считалось «не только дозволи-тельным, но и обязательным приносить всё неидущее к делу в жертву, сжимать всю жизнь в одно русло...» Он вспоминает после Гоголя голос поэта «мести и печали» (Некрасова) и всех его последователей. Из особо драгоценного наследия Пушкина Тургенев в речи помянул создание типов — признак гениального дарования, и мнения иностранцев (Меримэ) о великой правде русского поэта, ищущего прежде всего правды, а «поэзия чудным образом расцветает как бы сама собой из самой трезвой прозы». Начинается речь длинной, в семь строк, фразой из сочиненных и подчиненных предложений о сооружении памятника и о сочувствии этому всей образованной России. Концовка же выражает мысль о значении имени Пушкин и о надежде, что в будущем и сыновья простого народа повторят слова ребенка, слышанный Тургеневым лепет: «Это памятник — учителю».

Нет, такая осторожная похвала не могла и не вызвала настоящий восторг. Половинчатость (не можем дать, но и не

можем отнять) холодит сердца. Много и оглушительно рукоплескали слушатели не столько речи, сколько самому оратору, знаменитому гуманисту, писателю Тургеневу.

\* \* \*

Достоевский: «Пушкин» (Очерк). Произнесено 8-го июня. Взошла на эстраду фигура скорее невзрачная, чуть серая. Лицо серое и на нем тень близкой смерти. Одна радужная оболочка глаза растеклась и глаза словно не одинаково смотрят. Щеки впалы; борода, редющие прямые русоседеые волосы. Руки нервные, тонкие и вместе тяжелые. Пробор на левой стороне, виски впалые. Голос — тенор, порою хрипловатый — в бари-тон. Правда, читать Достоевский умел. Есть свидетельства, что когда был в ударе, читал, как никто и никогда, и свои произведения и «Пророка» Пушкина. И тогда слышался то горячий шепоток страсти, то голос поднимался, рос до звонкого чуть надтреснутого вопля тенора. Невольно и как-то сразу передавалась иступленная сердечность волнения чтеца или декламатора стихов. Чувствовалась раскаленная добела, трепещущая душа пророческая и несчастно-счастливая душа Иова родной русской литературы и ее народа.

Почти не глядя в рукопись и чуть наклонившись вперед, Достоевский начал сразу с самой сути, не с памятника, не с приветствия идеи его поставить: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь». И сразу же громким таинственно взволнованным полушепотом «Прибавлю от себя: и пророческое». Говорят, весь зал дрогнул. Словно некий ток пронизал всех. Дрогнула и замерла тысячная толпа. Пушкин — пророк, «явление невиданное и неслыханное, а по нашему и пророческое». «Он угадчик, тут он пророк». Не случайно влюбленный в поэта юноша Достоевский вместе со своим братом Михаилом хотел носить траур по Пушкину. Прежде чем разбирать основные идеи речи, коснемся тех эпитетов, оппозиций, сравнений, какие писатель применяет к Пушкину. Это всё суперлативы из суперлативов, характеристика поразительная: чрезвычайный, единственный, пророческий; создатель апофеозы русской женщины; творец бессмертных строф, художественных, глубоких, недостижимой красоты; никто как Пушкин не соединялся так задушевно и родственно с народом, исключение из всех гениев

по всемирной отзывчивости; он нашел свои идеалы в родной земле и пришел в самом начале правильного самосознания нашего. Мало того, не было бы Пушкина, м. б. не было бы и последовавших за ним талантов. В Пушкине и творческая сила, и **стремительность**, и национально-творческая **мысль**, и деятельность; он создатель правды и красоты чисто русских народных, живых и реально близких типов. Это уже и не характеристика, а гимн творчеству поэта и его личности. О памятнике же ни слова. Ночью свой лавровый венок за речь-событие Достоевский отвезет к памятнику поэта и став на колени поклонится земно гению всея Руси.

Основные идеи речи Достоевский позднее сформулировал в четыре пункта в дополнительно написанном «Объяснительном слове по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине»: 1) Прозорливый и гениальный ум и русское сердце Пушкина отыскали главнейшее болезненное явление — в оторвавшихся от почвы лишних людях. Таковы Алеко и особенно Онегин. «За ними выступили Печорины, Чичиковы (!), Рудины, Лаврецкие, Болконские». 2) Пушкин первый дал художественные типы народно-русской правды и красоты. Типы Татьяны, Пимена, герои из «Капитанской дочки». Только народный дух, люди твердо верящие в Россию — истинно положительное явление, вскрытое и доказанное поэтом. 3) Пушкин, как никто, способен к всемирной отзывчивости и к полнейшему перевоплощению в гениев чужих народов. 4) Эта способность к перевоплощению имеет в себе пророческое указание, так-как это способность русская, национальная. Это не только отзывчивость, но и возможность к всепримирению, к всечеловеческому единению, к «братской любви извиняющей несходное и снимающей противоречия».

Речь Достоевского трудно было бы назвать «событием», если бы не ее ход, как ход раскаленной, спускающейся с кратера лавы. Волновали слушателей подчеркивание пророческого в даре Пушкина, социальный подход к проблемам интеллигенции.

Особенно ярко в речи противопоставление Татьяны Онегину. Счеты вполне сведены с теми, кто назвал героиню «нравственным эмбрионом». Она-то не эмбрион, она верующая и тверда в моральных искушениях. Нравственный эмбрион — Онегин. Татьяна же и «глубже Онегина и, конечно, умнее

его».\* Она и есть главная героиня поэмы, апофеоза русской женщины. И затем вдруг оратор делает мастерское отступление. Достоевский подчеркивает, что ежели бы на Татьяну еще в ее деревеньке указал Онегину Чайльд-Гарольд, или сам Байрон, он бы был и увлечен и поражен, ведь в нем было подчас «много лакейства духовного». Достоевский неотступен в защите героини. Но и это не всё. Нельзя, говорит Достоевский, строить свое счастье на несчастье другого, самого незначительного существа.\*\* Призыв же Достоевского к скитальцам на родной земле потрудиться для народа и с народом, вызывал, конечно, восторг у легкоплавкой народнической части интеллигентной публики. Говор Достоевского в речи отличается риторическими вопросами, ответами, живостью восклицаний: «Онегин... разве он знает душу человеческую?.. О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече... О, я ни слова не скажу про ее (Татьяны) религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака, — нет, этого я не коснусь». Порою, как оратор, Достоевский пользуется в отличие от Островского и Тургенева и смягченным просторечием: «Вот, дескать, где исход мой», и и т. п. Часто он сам сейчас же спешит ответить на заданный вопрос: «Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня!» Не избегает он и кратких цитат из эпики и лирики Пушкина. Концовка речи — встревоженно напряженная: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Голос упал и замер. Зал очнулся. Были не аплодисменты, не крики, а вопль, стон восторга. Казалось, рухнут стены! Люди повскакали с своих мест, бежали к оратору... Некоторые обнимались, иные мирились. Студент подбежал в страшном волнении к Достоевскому и упал в обморок. Слышались крики: — Вы пророк! — Вы разгадали! Кое-кто рыдал. И. Аксаков заявил, что после речи Достоевского говорить он не может, нельзя говорить. За похвалу в речи сходному с Татьяной только одному типу в русской

---

\* Интересно, что сам Пушкин в беседе с одной из современниц, жавших другой развязки, заметил: Онегин не стоит Татьяны!

\*\* Эту мысль находим подробно развитой в «Братьях Карамазовых».

литературе — Лизе Калитиной, — Тургенев послал оратору растроганный воздушный поцелуй. Казалось, настало некое всепримирение в уверенности дела всемирного счастья.

Достоевский, однако, вскоре вспомнил стих Пушкина и написал пророчески: «Скоро услышу 'смех толпы холодной'». Интересно, что эта речь о Пушкине на торжествах открытия ему памятника, возбудила гнев ряда людей. Уже в том же июне 1880 г. вышла в «Голосе» критика проф. Градовского «Мечты и действительность». Г. Успенский критиковал речь в «Отечественных записках». К. Кавелин в «Вестнике Европы». Н. Михайловский обвинял Достоевского в том, что под видом хлеба он преподнес камень покрашенный под хлеб. К. Леонтьев упрекал писателя за забвение Церкви и за полную отвлеченность всечеловека, как идеи. А. Кошелев взял под защиту «скитальцев», утверждая, что русскому человеку «не дают настоящего дела». Можно было бы умножить список лиц, обрушившихся очень скоро на речь Достоевского. Интересен тут самый факт кипения страстей, а не сердечной благодарности за столь живую речь хвалы Пушкину. Но этот спор более всего доказывал, что эта речь для всех была — событием.

Следует обратиться к финалу, к ответу Достоевского проф. Градовскому. Большинство возражавших явно негодовало, на то, что призывая к братству и всеслужению оратор заявил: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю, в рабском виде исходил благословляя Христос». Ответ писателя был не только полемикой с Градовским, но и изложением своего Верую. В «Послесловии (Придирка к случаю)» Достоевский выставляет в основном десять положений. 1) Достоевский знает и понимает русский народ: «От него я принял вновь в мою душу Христа... Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в европейского либерала». Достоевский жил с народом, «ел с ним, спал с ним и сам к 'злодеям причтен был', работал с ним настоящей мозольной работой». Идеал народа — Христос. 2) Оторванные от народа, жившие отдельной кучкой интеллигенты были нетерпеливы, высокомерны и народа не уважали. 3) Нужно было Пушкина, Хомякова, Самарина, Аксаковых, «чтоб начать толковать об настоящей сути народной». 4) Только отщепенец-либерал полагает, что Россия содержит в основном рабов да Держиморд. 5) В истинном христианстве нет рабов, хотя есть и будут гос-

пода и слуги — братья. 6) В русском народе есть свое духовное просвещение, принятое народом из службы Богу в храмах. У народа есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум» и указующий дорогу в жизни. Народ принял в сердце Христа еще и потому, что в веках «бесчисленных и бесконечных страданий им вынесенных» нашел в Боге утешение. 7) Великие идеи нравственно-религиозные и даже идеи гражданского устройства «есть единственно продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него они и начинаются. **Так было и так будет в истории**». При начале же всякого народа, всякой национальности, идея нравственности «всегда предшествовала зарождению национальности, **ибо она же и создавала ее**». (подчеркнуто Достоевским). Нравственная идея всегда исходила «из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не просто земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью». 8) Европа близка к развалу, т. к. «грядет четвертое сословие... не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон». Европа, увы, из христианской стала языческой. 9) Россию благословил Христос (!) и она вместит слово Христово и послужит братски человечеству. 10) Речь Достоевского содержала веру, убеждение, идею и создала «единственный момент» на празднике Пушкина. Напрасно-де критики писали позднее, что «и трус-то я, и поэт-то я, и ничтожен-то я, и нулевое-то значение имеет моя речь».

Конечно, речь Достоевского волнует нас и через восемьдесят шесть лет, протекших с ее произнесения. Многие мысли ее и утверждения вошли прочно в круг нашего сознания. Но многие утверждения писателя стали, словно в карикатурном одеянии, смущать умы многих читателей. Действительно ли мы благословенный народ-Христолюбец, имеем исключительно нам вверенную миссию братского всеслужения? Уже кн. Евг. Трубецкой отошел от этого соблазна: «Впоследствии, пишет он, я убедился, что в Новом Завете все народы, а не какой-либо один, призваны быть богоносцами; горделивая мечта о России, как избранном народе Божиим... должна быть оставлена»... Важно отметить, что идея необходимости для русских «всемирного счастья» владела Достоевским еще с 1860-х годов. Но вместе с тем тот же Достоевский печатно утверждал, например, о **лени и бессердечии** отношения русских отцов к

своим детям и говорил что тут не то что таких людей пол-России, а «куды гораздо больше» . (Дн. пис., 1877, VI-VII).

Но всё-же, мне кажется, неистребима особая всепрощающая доброта многих русских. Об этом свидетельствовали многие пленные немцы и итальянцы вернувшиеся домой и написавшие ряд книг-мемуаров. Об этом говорят и такие произведения, как, напр., вещи Солженицына, особенно его «Матренин двор». На этой-то доброте сердца, при всех грехах злого максимализма, покоится вера и убеждение многих в возрождение России и воссоздание в ней христианской этики. Вспоминаются слова И. Тургенева из конца его речи о Гамлете и Дон-Кихоте: «...Добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей красоты; всё минется, сказал апостол, одна любовь останется».

Нет речи да и нет такой книги, где бы любовь к Пушкину была и больше и ярче, а через него и с ним и любовь к русскому народу, чем в речи Достоевского.

*Р. Плетнев*

# ЛЕВ ЛУНЦ

## И “СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ”\*

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ  
ГАРИ КЕРНА

29. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

25/ХІІ.23. [Петроград].

Левушка дорогой,

Сегодня 2 года — первый день Рождества. Всемирная Литература.<sup>1</sup> Стили перепутались, и традиционный вечер будет попрежнему 7-го, хотя празднуют все сегодня. [...] Левушка, с Новым Годом! Вам — здоровья, мне — освобождения. Собираемся кутить. Грандиозная встреча у Никитиных: Серапионы, Замятин, Щеголевы и присные. Если судить по Зойкиным именинам — особого веселья не предполагается. А именины были замечательные (хоть это и свинство, но ужасно хочется посплетничать). Итак, были все: Майские, Ионовы, Баскаков, затем «попутчики» в лице братьев, и не-попутчики, как Ев[гений] Ив[анович], Жак, Яков Лившиц.<sup>2</sup> Дамы блистали красотой (Агутя),<sup>3</sup> лакированной обувью (все!) и молодостью — Валентина Андр[еевна] Щеголева. Т. к. сговориться публике было трудно, все сочли долгом выпить, к ужасу Зои Дмитр[иевны]. Миша и Женя Шварц<sup>4</sup> избрали своей резиденцией ванную комнату (перед этим Миша объяснялся в любви всем женам ответ[ственных] работников). [...] Пав[ел] Елис[еевич],<sup>5</sup> пытаюсь танцевать шимми, разбил два шкафа. Веня и Тихонов играли роль санитаров. Жак мрачно поглощал имевшиеся на столе продукты питания и пытался портить Дусю. Серг[ей] Семенов появлялся как раз там, где не был нужен.

---

\* См. кн. 82 «Н. Ж.».



Илья и Павлик,<sup>6</sup> сидя в стороне, издевались над окружающими. Затем, я безуспешно пробовала научить Илью целоваться. [...] Да, Мишка танцует фокс-трот с Валент[иной] Ходасевич,<sup>7</sup> и ни о чем другом говорить не может.

Левушка, а я скучаю. У Серапионов, как всегда, что-то не клеится. Каждый тянет в свою сторону. Даже встречаются вне сред мало. Такое у меня создается впечатление. Мишка злится на Федина за его оседлость и прочность. А я иногда ему в этом завидую. [...]

Лида.

Левушка, выучитесь моему адресу: Эртелев 17 или Басейная 9, а не наоборот.

<sup>1</sup> «Всемирная литература» — изд-во, организовано М. Горьким в 1919 г. При изд-ве была студия переводчиков, в к-рой нек-рые из «Серапионов», в том числе Лунц, начали свою литературную работу. См. «Лит. наследство», т. 70, стр. 561.

<sup>2</sup> В. Майский (И. М. Ляховецкий) — историк, автор кн. «Экономическая политика Совет. Республики»; Илья Ионович Ионов (1887-1942) — партиец, поэт, член редколлегии «Жизнь искусства» и позже (с 1924 г.) зав. ленинградским отделом Госиздата; Жак Израилевич — старый петербургский журналист; Яков Лившиц — журналист.

<sup>3</sup> Жена К. М. Миклашевского (1888?-1943? в Париже), актера и автора книг о театре масок.

<sup>4</sup> Мих. Слонимский и Евг. Шварц.

<sup>5</sup> П. Е. Щеголев (1877-1931) — известный историк.

<sup>6</sup> П. П. Щеголев — сын П. Е.

<sup>7</sup> Валентина Михайловна Ходасевич (р. 1894) — художница, племянница В. Ф. Ходасевича, по мужу Дидерихс.

### 30. ПОЛОНСКАЯ — ЛУНЦУ

[Петроград. 29-ХП-23].<sup>1</sup>

Левушка, с Новым Годом, с новым счастьем. Целую Вас дружески. Я не забыла, что мы с вами пили на ты, но полагаю что «ратификация» еще не последовала. Но я вас люблю и «на Вы».

Очень хотелось бы мне посмотреть как идет ваша трагедия<sup>2</sup> в Вене. Здесь все огорчены снятием «Вне закона». Особенно Вивьен, который говорит, что всю жизнь мечтал о такой роли.<sup>3</sup> А что за новая пьеса? Я утешаюсь тем, что когда-нибудь и «Вне закона» и «В петле»<sup>4</sup> будут узаконены. Получили

ли вы серапионовские стансы и что о них скажете. А знаете ли что я пишу драму.<sup>5</sup> Да, да!

Брат<sup>6</sup> жмет вашу лапку, особенно неопиcуемый немец. Поправляйтесь!

Е. Полонская.

<sup>1</sup> Открытка датируется по почтовому штемпелю.

<sup>2</sup> «Вне закона».

<sup>3</sup> См. письмо 22, прим. 2.

<sup>4</sup> Поэма Полонской (см. письмо 20, прим. 7).

<sup>5</sup> Драма была уничтожена (см. письмо 48).

<sup>6</sup> А. Г. Мовшенсон.

### 31. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

3/1-24. [Петроград].

...Мы за Леву Лунца пьем  
И за Витю Шкловского!<sup>1</sup>

Дорогой Лунчик, еще раз с Новым Годом!

Встречали замечательно: у Ник[олая] Сем[еновича], Опояз, Серапионы, Шварцы, Ев[гений] Ив[анович] и чады и домочадцы Мар[ьи] Конст[антиновны]. Дон-Жуаны вроде Мишки плакались на отсутствие женщин стиля Агути, супруги Никитины, встреченные без подобающего почета, удалились рано, но по моему было чудесно, как бывает только у Тихоновых. За Ваше здоровье пили не меньше 3-х раз. Тынянов читал частушки. Марья Конст[антиновна] выпила и всем говорила «правды». Это было превесело. Илья дал мне слово написать Вам. Был на встрече и Соколов-Микитов с Лидией Ив[ановной]. Через 2 м-ца у них будет ребенок. С ним мы немедленно подружились. Вот это я понимаю: удивительное сочетание интеллигента с «живым человеком». Левушка, у Федина рецидив и язвы. Ходит худой и зеленый, с сумасшедшими волчьими глазами.

Левушка милый! Только что открыла новогодний № Жизни Иск[usstва]. Поздравляю Вас! В Одессе поставили «Вне Закона»!

«В поисках революционного матерьяла Одес. Драм. Театр остановил свой выбор на произведении молодого автора Льва Лунц «Вне Закона», при чем в задачу театра вошло,

видимо, дать нечто революционное и в самой постановке. Революционное в постановке выражается прежде всего в уничтожении рампы и перенесении части действия в зрительный зал, в применении конструктива площадок и лестниц при крайней условности прочей декорации. Надо отметить, что массовые сцены сделаны безусловно хорошо, костюмы живописны и моментами (1 акт) зрительный зал действительно заражался жизнерадостностью актеров, затрачивающих массу сил и энергии. Артист Корнев весьма удачно балансировал между комическим и трагическим в изображении роли Алонзо».

Это — всё [...]

15/1.

Письмо залежалось — и хорошо, пошло теперь вместе с новым. [...] Папа мой, наконец, устроился в какой-то еврейской газете на русском яз., в Риге. Зовет в гости. Можете быть спокойны: дальше Феодосии я летом не уеду. Живых людей не много, и на моем пути они не попадают. [...] Серапионы, т. е. Миша, Федин и отчасти Николай (когда не занят новыми друзьями и семейным очагом) пьют. Есть такая «Карусель», из кот. хотели сделать что-то вроде «Бродячей Собаки».<sup>2</sup> Говорят, хорошо расписано, хорошо кормят, бывают нэп'ы и цвет богемы. Серапионами предположено возродить там вторники, устраивать до 12 ч. н. литерат. чтения с публикой по рекомендации. По моему, чепуха. Ничего не выйдет. Лишний повод напиться после 12-ти час. [...] О 1 февр.<sup>3</sup> были разговоры. Либо семейное, а ля прошлый год, торжество у Фебина, либо холостая выпивка. [...] Писем для Ев[гения] Ив [ановича] уже месяца полтора не было. Левушка, Вас Серапионам не хватает очень. И мне. [...] Коля зачастил на Серапионы ходить. Про него, бедного, написали недавно в «Ж[изни] Иск[usstva]»: «Читал сценарий пролетарский писатель Ник[итин]». Говорят, позеленел и пошел объясняться к Гайку,<sup>4</sup> но дошел только до порога. Он усиленно читает в Доме Печати (открылся в Центр. Клубе Просвещения).

А в общем — скучно. Левушка, родной, пишите. Вы сейчас единственный человек, с кот. я поддерживаю корреспонденцию. На меня со всех сторон нарекания.

Лида.

[на полях]: Дорогой Лева, клянусь, что на днях напишу

много. Целых две недели у меня гостил неотразимый Соколов-Микитов. Я пил. За твое здоровье тоже.

К. Ф.

<sup>1</sup> Отрывок из частушки, к-рую пели «Серапионовы братья», празднуя Новый год (см. письмо 34).

<sup>2</sup> «Бродячая собака» — лит. кафе (1912-1915), где собирались «акмеисты» и др. поэты.

<sup>3</sup> 1 февраля — годовщина «Серапионовых братьев».

<sup>4</sup> Гайк Георгиевич Адонц, редактор «Жизни искусства».

### 32. К. ЧУКОВСКИЙ<sup>1</sup> — ЛУНЦУ

[Петроград. 7-I-24].<sup>2</sup>

Милый, милый Левушка! Поздравляю Вас с Новым Годом. Помните ли Вы еще Петербург? Здесь сейчас хорошо: снег мягкий и добрый, мороз деликатный. Как то так случилось, что, чуть Вы уехали, Ваша слава воссияла в Петербурге. На днях видел Лаврентьева,<sup>3</sup> режиссера Большого Театра. Он говорил мне о Вашем «Вне Закона»: вот **это** пьеса! ох, какая пьеса! Замятин утверждает, что изо всех «Серапионов» Вы самый талантливый. Я спорил, возражал, не помогло.

Кланяйтесь, пожалуйста, Вашей маме. Передайте, пожалуйста ей от всей нашей семьи самые горячие приветы. Дай ей Бог, чтобы ее милый сыночек Лёвушка поскорее выздоравливал — и был бы счастлив! Папе тоже кланяйтесь от нас, если только в Буйнос Айресе он не забыл о нашем бытии.<sup>4</sup> Экий у него талант к путешествиям. Мне в Ольгино и то съездить трудно.

Литературных новостей у нас целая куча. Приехал Алексей Толстой, обосновался здесь и сразу всем полюбился. Семья у него большая, зарабатывать нужно много, и вот он пишет обеими руками. У меня с ним отношения наилучшие, несмотря ни на что.<sup>5</sup> Я написал довольно ядовитый памфлет о Горьком. На днях он появится. Если Вам интересно, пришлю. Детских книг я написал столько, что скоро сделаюсь Чарской в штанах. Ольга Форш написала отличный роман.<sup>6</sup> Она живет теперь в Царском. Это теперь такая мода: там теперь обитают Сологуб, Ив. Разумник, Голлербах,<sup>7</sup> Форш и Маршак. Целая колония.

Ну до свидания. Люблю Вас. Чуковский

<sup>1</sup> Корней Иванович Чуковский (р. 1882) был связан с «Серапионо-

выми братьями», как лектор в Доме Искусств (1919 — весна 1921) и гость на их собраниях. Здесь публикуется его единственное письмо, находящееся в А. Л.

<sup>2</sup> Датируется по конверту.

<sup>3</sup> А. Н. Лаврентьев — актер.

<sup>4</sup> В октябре-ноябре 1923 г. Н. Як. Лунц побывал по делам в Буэнос-Айресе.

<sup>5</sup> Вероятно, намек на полемику между Чуковским и Толстым, к-рая коснулась оценки нек-рых петроградских писателей. См. газету «Накануне» № 6, Берлин, от 4 февраля 1922 и журн. «Новая русская книга» № 7, Берлин, 1922.

<sup>6</sup> «Одеды камнем» (таинственный узник Алексеевского равелина), М., «Россия», 1925.

<sup>7</sup> Эрих Фед. Голлербах — критик, сотрудничал в «Новой русской книге», «Жизни искусства» и др.

### 33. Н. ЧУКОВСКИЙ<sup>1</sup> — ЛУНЦУ

[Петроград. 7-I-24].

Милый Лева!

Прости, что я тебе не писал. Сумасшедше занят. Со времени твоего отъезда перевел с английского два романа по 15 листов каждый, написал 20 стих., перешел на второй курс и съездил в Одессу. Но главное — жениховствую. Невеста моя Марина Николаевна Рейнке — помнишь еще когда говорил о ней? Но об этом пока помалкивай.

Как ты, родной? Пиши чаще и подробней. Мое нежное сердце тоскует по покинувшим меня друзьям. А ведь я человек привязчивый, люблю вас, сволочей, искренне и нежно — вы даже не подозреваете как. Вова Познер покинул меня, Нина Берберова тоже,<sup>2</sup> Лёва Лунц тоже. Колбасьев приехал было из Афганистана, да ненадолго — уехал в Гельсингфорс. Кстати: у Миши родился от его брата Александра племянник — как раз в ночь на Рождество Христово. Мишка уверяет, что он тут не при чем. У Колбасьева ожидается ребенок, у Никитина с Зойкой — тоже. Вообще литература рождает. Серапионцы процветают. По наблюдениям моим, со стороны, Никитин несколько отпадает от них. На заседаниях бывает редко. Зоя никогда не бывает.

У нас дома — прелесть Мурочка. Знает наизусть все детские папины сочинения и терроризирует ими весь дом. Представь себе, что я вот уже пол года как недурно зарабатываю переводами и курю собственные папиросы. Да что там говорить, всё равно не поверишь.

Как твоё здоровье? Поправляйся, не забывай нас, пиши. Целую.

Коля Чуковский

Привет твоим. Твоя «Вне Закона» с успехом идет в Одессе.

---

<sup>1</sup> Николай Корнеевич Чуковский (1905-1965) был другом «Серапионовых братьев» и гостем на их собраниях. Его письмо к Лунцу написано на обороте предыдущего письма.

<sup>2</sup> Владимир Соломонович Познер, поэт и один из первых «Серапионов», уехал во Францию в 1921 г.; Нина Николаевна Берберова выехала за границу в июне 1922 г.

34. КАВЕРИН

ЛУНЦУ

14/I-24 [Петроград]

Дорогой Левушка!

Я очень обрадовался твоему письму, хотя ты и называешь меня, старый интриган, ослиной ягодицей. Где ты вычитал в моем письме что я язвлю насчет Кости? Я Костю люблю и уважаю и также верю в него, как и ты. Не сообщаю тебе на этот раз обычной «Серапионовской хроники». Ничего нового, кроме того, что Слонимский научился бесподобно танцевать шимми и фокс-трот, а Зошенко выпустил новую книжку, которую я еще не читал.<sup>1</sup>

Юрий пишет тебе о «комитете изучения живой литературы» — это симпатичная история.<sup>2</sup> Кто писал тебе о моих успехах? Всё это наглая ложь, потому что всё время, до самого Рождества, я занимался, как дьявол, а не написал ни строки, кроме халтурного рассказа «Манекен Тутертага», в котором твой опытный глаз мигом узнал бы переодетого Шваммердама<sup>3</sup> и который годится только на подтирку... Зато последний месяц я писал с утра до вечера — переделывал и расширял летний рассказ «Шулер Дьё», о котором до тебя дошли какие-то слухи. Он был плох, недосказан, смутен — теперь я поставил всё на землю, наплевал на фантастику и воспользовавшись, между прочим, этим говенным шулером написал «Эдвина Вуда» — листа в 2 1/2.<sup>4</sup>

Поздравь меня — я переехал в Россию, писал о кабаках и игорных притонах в Питере и т. д. и, извини дружище, посадил в последней главе за стол в клубе тебя (под твоей фамилией) среди Федина, Тихонова, Виктора и Эдвина Вуда. Если ты не хочешь, напиши и я вычеркну.<sup>5</sup> Сегодня Замятин хвалил

мне этот рассказ и я чувствую себя на коне — он б. м. напечатает его в журнале, который затевает Тихонов А. Н. — из Всем. Литер.<sup>6</sup> Кстати сегодня он просил меня просить тебя непременно прислать для печати твою пьесу.<sup>7</sup> Журнал в высшей степени почтенный — там будет Горький, Замятин, Пильняк и прочие сливки общества. Присылай скорее, дружочек.

Читал ли ты его (Замятина) статью в «Русском Искусстве»<sup>8</sup> — там он тебя, Леонова (? мало его знаю) и меня считает «единственной» надеждой новой рус. литературы. «Билеты дальнего следования» и проч. Словом, еще 3-4 года и мы с тобой покажем кузькину мать бессюжетникам. Эдвин Вуд сделан по твоему рецепту, склепан плотно, кажется, — ни одного немотивированного действия, сюжет поставлен во главу угла.

Меня чертовски огорчает твоя болезнь, но я надеюсь твердо, что скоро уж ты встанешь, елки зеленые. Мы довольно симпатично встретили Новый год (с Новым годом, Левушка!) Пели частушки сочиненные Юрием.

Пропиваю я сегодня  
Платьище исподнее.  
Настроенья у меня  
Очень новогодняя.

Ник. Никитин посетил  
Англию инкогнито  
И Европа вся дрожит  
В рог бараний согнута.

Эх который Михаил  
Десять дам покорил?  
Тот который с круглым глазом<sup>9</sup>  
Иль который пишет сказом?<sup>10</sup>

Что-то Шварц имеет вид  
В первый раз влюбленного.  
На каком-то *soirée*  
(У Никитина на Зоиных именинах).  
Целовал Ионова.

Времена что-то настали  
Вовсе нонче куцые

Братцы Федина прикрыли  
 (Еще не совсем прикрыли, но собираются).  
 С Книгой с Революцией.

**На «Шахматы» Тихонова:**

Всем поэтам шах,  
 Всем издателям мат,  
 Шахматисты все читают,  
 Ничего не понимают.

**На опоязцев:**

Борис Михалыч Эйхенбаум  
 Пишет том в два месяца  
 Или он иль Виноградов<sup>11</sup>  
 Кто-нибудь повесится.

Если хочешь развлеченья  
 Ты пройдишь по Невскому.  
 Хочешь знать стихосложение  
 Иди к ... Томашевскому.

Было еще на кого-то, не припомню.  
 Кончалось:

Эх налейте вина,  
 Вина запьянцовского!  
 Мы за Леву Лунца пьем  
 И за Витю Шкловского!

И, честное слово, мы хорошо выпили за тебя, Левушка! Ну больше писать нечего, дорогой. Жду писем и пьесы от тебя. Привет от Лиды сердечный (это моей жены Лиды, а не Харитон). Поправляйся, дружище.

Целую крепко. Твой Веня.

**Еще на Слонимского:**

Мих. Слонимский овладел  
 Формами большими.  
 Танцевал он фокс-трот  
 А танцует шимми.

Почему ты ни беса не пишешь о себе? Пиши больше и не отделивайся, с. ... тремя словами. Антокольский<sup>12</sup> в письме



тебе кланяется. Это славный, талантливый малый и нашего толка.

<sup>1</sup> В 1923 г. Зощенко напечатал три книги: «Рассказы», «Юмористические рассказы» и «Разнотык». В 1924 г. появились «Аристократка» и «Веселая жизнь».

<sup>2</sup> Письмо 35.

<sup>3</sup> «Манекен Тутертага», «Шваммердам», — ненапечатанные рассказы Каверина.

<sup>4</sup> Впоследствии рассказ был переработан и назван «Большая игра». — «Лит. мысль» № 3, 1925; вошел в т. 1 «Собр. соч.», М., 1963.

<sup>5</sup> Персонажи остались, а фамилии были вычеркнуты. Герой «Эдвин Вуд» стал «Стивеном Вудом».

<sup>6</sup> Александр Николаевич Тихонов (псев. Н. Н. Сереброва, 1880-1956). В то время Тихонов и Замятин основывали журнал «Русский современник» (см. письмо 42).

<sup>7</sup> «Город Правды».

<sup>8</sup> «Новая русская проза».

<sup>9</sup> М. Слонимский.

<sup>10</sup> М. Зощенко.

<sup>11</sup> Виктор Владимирович Виноградов (р. 1895) — в то время член «Опояза», сейчас — академик.

<sup>12</sup> Павел Григорьевич Антокольский (р. 1896) — поэт, переводчик Шиллера, позже в 20-х гг. служил режиссером студии им. Е. Вахтангова.

### 35. ТЫНЯНОВ<sup>1</sup> — ЛУНЦУ

[Петроград. 14-I-24].

Дорогой Левушка!

Большое Вам спасибо за теплоту по моему адресу. Много о Вас думаем, вспоминаем. Чувствуется очень часто Ваше отсутствие. Пили за Ваше здоровье в новогоднюю ночь. Организуется теперь в Институте Ист. Иск. живое дело — «Комитет по изучению соврем. литературы» — и опять о Вас вспоминали. Это доказывает, что мы 1) крепко за эти годы сдружились, во 2) — но и во-вторых тоже много хорошего.

Поправляйтесь, дорогой друг. Очень хочу узнать от Вас, наконец, что Вы одолели болезнь, пишете и т. д. И я лет восемь назад был болен 5 месяцев подряд, плакал и начинал забывать о здоровье. Всё это прошло, и у Вас пройдет.

Если Вам интересно знать об «Опоязе», то он работает, больше вглубь, чем в ширь (ибо Вы не узнали бы теперь уче-

ной литературы — все стали формалистами и кричат: «и я» — даже по-немецки: I-a!) Эйхенбаум у нас стал Августом Шлегелем, пишет много, интересно и изящно. Я печатаю не очень изящную книгу «Проблема стихотворного языка».<sup>2</sup> (Название принадлежит издателю, который испугался «Стиховой семантики»). Выйдет в феврале, вероятно, — и я Вам пошлю. Витю к сожалению до сих пор не видали, а переписка после стольких лет — это то же, что питание продуктовыми карточками вместо каши. Дочка моя стала к моему ужасу поэтессой — начала кубо-футуризмом, а потом через Северянина пришла к Надсону. Теперь сочиняет главным образом под Надсона. Она Вас помнит, — только что сказала: «который у нас концертом управлял» (т. е. «кино»)<sup>3</sup>. Ну, целую Вас. Поправляйтесь. Напишите мне.

Ваш Юрий.

---

<sup>1</sup> Юрий Николаевич Тынянов (1895-1943) был связан с «Серапионовыми братьями», как шурил Каверина и член «Опояза». Статья Тынянова «Серапионовы братья» напеч. в журн. «Книга и революция» № 6, 1922. Его письмо к Лунцу было послано вместе с предыдущим письмом Каверина. См. воспоминания о Тынянове Каверина в «Новом мире» № 10, 1964.

<sup>2</sup> Книга напечатана в Ленинграде в 1924 г., переиздана в 1965 г.

<sup>3</sup> Кино, кинематограф — игра.

### 36. А. СЛОНИМСКИЙ, С. МАРШАК<sup>1</sup> — ЛУНЦУ

22 января 1924 [Петроград].

Милый Лева, приветствую Вас из недр осиротелого Сандомуча! Тот же Маршак, та же Клавдия Ивановна<sup>2</sup> — но нет больше величавых королей, торжественно возносящих чайник из кухни, ни беснующихся дофинов, ни его престарелых поклонниц, для которых весь он был «восторг и песнопенье». Праздная деревянная корона валяется на буфете, и память о величии былого (конечно, не щеголевского) сохраняется только в истрепанных анналах, писанных рукою лучшего из дофинов.

Сегодня исполнилось ровно 4 недели, как я стал серьезным отцом семейства. Пяточка родился 25 декабря, пока что мы называем его Вовочкой — из понятного уважения к таланту Вовы Познера. Голос у него довольно громкий, с назальной окраской (как у маршаковского козла); интонирова-

ние еще слабое (как у Эйхенбаума). Он сейчас очень занят конструированием пространства и времени и пачканием пеленок. Поэтому и вид такой серьезный, что я даже конфужусь.

А Вы как? Поправляетесь? Напишите: Петровский пр. д. 2. Последнее Ваше письмо произвело колоссальный эффект. А что касается «величины и мощи», то прошу не выражаться!! Впрочем, мамочка действительно прелесть.

Возвращайтесь поскорей! Маршак Вас сделает детским писателем! Он занимается омолаживанием и даже такого солидного писателя, как Миша, превратил в воробейчика (см. Мишин рассказ «Марка святой Елены» в журнале «Воробей» на марксистской подкладке). Мне он дал тему: «Байрон и железные дороги» для детей до 6-недельного возраста.

А теперь вот Вам:

**Невероятные происшествия  
в Деткосельской<sup>3</sup> Санатории Дома Ученых  
(«Сандомуче»)**

или:

**Техника комического у Слонимского и Маршака  
(Пустельга с голосами)**

Спит спокойно замок Сандо  
Сандо — Сандо —  
Сандомуч.<sup>4</sup>

В нем подъезды и веранда  
Запираются на ключ.  
Но однако в Сандомуче  
Был такой ужасный случай:  
У Слонимского А. Л.  
Кто-то в комнате храпел...

Он от храпа пробудился,  
Удивился, рассердился,  
Стал искать и здесь и там,  
Но подумав, убедился,  
Что во сне храпел он сам!

Тихо дремлет замок Сандо —  
Сандо — Сандо  
Сандомуч.

В нем подъезды и веранда  
Запираются на ключ.

Но однажды в Сандомуче  
Был такой несчастный случай:  
У Слонимского А. Л.  
Целый день живот болел.

Взяв касторки десять унций —  
По примеру Левы Лунца, —  
Вышел ночью он на двор  
И полез через забор.

Мы, узнав про эту драму,  
Дали в Питер телеграмму:  
«Привезите из Кубу<sup>5</sup>  
Нам клистирную трубу!»

Неприступен замок Сандо —  
Сандо — Сандо —  
Сандомуч.  
В нем подъезды и веранда  
Запираются на ключ.

Но однажды в Сандомуче  
Был такой печальный случай:  
Самуила Маршака  
Долго мучила тоска.

Испытав мученья ада,  
Вызвал он из Петрограда  
В середине января  
Своего секретаря.

Секретарь-то был веселый,  
Только с ним не однополый.  
Вот так штука! А к тому ж  
У нее имелся муж...

Вот что было в замке Сандо —  
Сандо — Сандо —  
Сандомуч,  
Где подъезды и веранда  
Запираются на ключ.

Привезла она в портфеле  
Корректур на две недели  
И тяжелый чемодан —  
М. Слонимского роман,

С фантастическим сюжетом,  
Поучительный при этом,  
Усыпляющий детей  
Сложной фабулой своей —

Чтобы маленький племянник  
Обходиться мог без нянек  
И, прослушав первый том,  
Засыпал спокойным сном...

Это было в замке Сандо —  
Сандо — Сандо —  
Сандомуч,  
Где подъезды и веранда  
Запираются на ключ.

Но Маршак и секретарша  
Были несколько постарше,  
И Слонимский Михаил  
Их отнюдь не усыпил.

Но статейка Жени Шварца  
Усыпить могла бы старца...  
Вдруг при чтении корректур  
В Сандомуч влетел Амур.

Шаловливый и крылатый,  
Облетел он все палаты  
И прицелился тайком  
В секретаршу с Маршаком...

Дни летят, бегут недели,  
А в редакторском портфеле  
В безнадежном забытии  
Спят рассказы и статьи...

Вот что было в замке Сандо —  
Сандо — Сандо —  
Сандомуч,  
Где подъезды и веранда  
Запираются на ключ...

### Post scriptum:

Позабыв каноны формы,  
Написали сущий вздор мы.  
Разыгравшийся Пегас  
Вероломно сбросил нас  
У формального шлагбаума  
Гражданина Эйхенбаума!

Приветствуем и целуем, ждем поэтического ответа с рифмой, мелодикой, кадансом и с пеонами в установленной пропорции.

Ал. Слонимский, С. Маршак.

---

<sup>1</sup> Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964) — известный поэт и детский писатель, был другом некоторых «Серапионов».

<sup>2</sup> Не установлена.

<sup>3</sup> Детское село — быв. Царское село, теперь — город Пушкин.

<sup>4</sup> Пародия на строчку Козьмы Пруtkова.

<sup>5</sup> Кубу — Комитет по улучшению быта ученых.

## 37. ЛУНЦ — СЕРАПИОНОВЫМ БРАТЬЯМ

### 1. Хождения<sup>1</sup>

Я стоял на Полицейском мосту и смотрел на большой, красный, четырехэтажный дом. Люди входили в него, выходили, проходили мимо и — ничего! А я стоял на мосту и сморкался, утирая слезы.

О, Мойка, Диск, субботнее очарование, работа и любовь!<sup>2</sup> 10 лет я не был на родине, не видел Петербурга, не обнимал друзей. Что с ними, где они? О, конечно, это всё те же благородные юноши, быть может поседевшие, но по-прежнему го-

рящие духом романтики, преданные идее, способные пожертвовать ради друга личным счастьем и благополучием, наивные бессеребренники.

Но где они, где они? Где искать их? Прошли годы, выросли дети и переменились квартиры. Того и гляди, найдешь Слонимского в особняке на Каменноостровском с Ефимом в качестве мажордома.<sup>3</sup> Разве не может быть вот здесь, в этом доме, в 30-ой «а» квартире<sup>4</sup> торговец краденными мехами, а этажом ниже, в священной комнате барышня 70 лет. Она показывает гостям на кровать и говорит гордо: «Здесь спал ОН»... Всё переменилось.

Я размечтался, прислонившись к перилам моста. Глаза мои бессмысленно бродили по столбам. И вдруг знакомое имя, как щелчок по носу, ударило меня и — ошеломило. В красном доме, в том самом доме, внизу, на углу Мойки, в подвале, там, где когда-то провели мы не один веселый вечер, там крупными замысловатыми буквами стояло

«Анна Тимофеевна»<sup>5</sup>

Распивочно и на вынос

«Творец небесный!» воскликнул я: «Да, да! Значит, это верно! Значит, лучшие мои надежды оправдались. Они знамениты, они бессмертны. Вот скромный кабачок назван по имени классического произведения Федина. Он — академик. Города и годы полны его славой. Юноши толпами бросают города чтобы возделывать сады, девушки плачут над судьбой несчастной Анны Тимофеевны»...<sup>6</sup>

И я дрожа всем телом направился к кабачку. Здесь несомненно знают его адрес. Здесь звеня стаканами пьют здоровье любимого писателя.

Я вошел. Хорошенький, маленький ресторан. Несколько толстых бездельников за столиками. А за опрятной стойкой высокий, красивый малый средних лет с проседью, с брюшком, упершись ладонями в прилавок, приветливо улыбался мне.

«Что угодно?»

И вдруг лицо малого побледнело, улыбка исчезла. Он протер глаза, схватился за сердце, по ошибке найдя его на правой стороне груди.

«Лунц!» воскликнул он: «Ты ли это?» Здесь пришла моя очередь бледнеть, протирать глаза, хвататься за правое сердце.

«Костя!» воскликнул я: «Что ты делаешь здесь?»

Через минуту мы сидели за столиком и тянули пиво. Он рассказывал, я рассказывал. Да! вот... Жена, дети... Кавказский уголок «Анна Тимофевна». Тяжелая работа, но жить можно.

«Костя!» спросил я дрожащим голосом: «а как же литература?»

Он криво и болезненно улыбнулся и махнул рукой. В ту минуту в кабачок вошел мастеровой и потребовал бутылку пива на вынос. Костя завозился, заворачивая бутылку в бумагу. Бумага была вырвана из книги. И я прочел:

«Мысли собачьи человеку тайна»<sup>7</sup>

Мы посидели еще с полчаса. Разговор не клеился. Наконец, я встал прощаться.

«Федин!» спросил я его нерешительно: «А как другие? Слонимский, например».

«Слонимский? Слонимский?» и Федин горько захохотал, дико вращая безумными глазами. «Слонимский!» — и он залпом осушил большой стакан неразбавленного спирта, точно заливая им душевную рану. Выпив, он бросил стакан об пол и вновь безумно захохотал:

«Слонимский!»

Я схватил шапку и в страхе бросился к дверям.

## 2. «12 мертвецов»

В эту минуту из коридора, где помещались отдельные кабинеты, раздался мощный победоносный крик, звон стаканов, шум торжествующей перебранки. Я невольно остановился. Очнулся и Федин и — бросившись ко мне:

«Да! Я — дурак! Забыл, совершенно забыл! Хочешь видеть старого знакомого?»

Он увлек меня в коридор и подвел к пестрому персидскому коврику, заменявшему дверь. Он отодвинул чуть-чуть ковер, и я увидел странную картину.

За столом сидели 7 или 8 в высокой степени подозрительных личностей. Перед каждым стояли бутылки с пивом, у каждого во рту торчала трубка. Левой рукой подозрительная личность придерживала трубку, правая вытянутая в кулак покоилась кулаком на столе. На председательском месте сидел седой человек наиболее подозрительный из всех, непричесанный и неряшливо одетый. Этот человек был — Николай Тихонов. Один из сидящих за столом рассказывал:



«И тогда медведь подошел ко мне, и положил мне лапу на плечо».

«Я это уже читал в одном абиссинском рассказе», перебил Тихонов, посасывая трубку.<sup>8</sup>

«Ну, и что же», обиделся рассказчик: «а со мной это тоже случилось. И тогда мы прошли к пруду, а медведь стал бросать в нас сзади человеческими головами».

«Сколько?» — спросили хором присутствующие.

«6 голов», — ответил невозмутимо рассказчик.

«Шесть», повторили присутствующие. И каждый записал что-то на грифельную доску, лежащую перед ним. А Тихонов буркнул про себя: «Индо-кит. эпос. Я читал это».

Я почувствовал, что теряю сознание. Костя мягко подхватил меня и отвел назад.

«Костя», простонал я: «что это за люди?»

«А это, видишь ли, о-во 12 мертвецов. Они собираются каждый вечер здесь и рассказывают по очереди невероятные истории с убийствами и грабежами. Единственное условие, чтоб каждый убивал не больше 12 человек в один вечер. В противном случае...»

«Но Федин! Что делает у них Тихонов?». «А он председатель. Самый главный. Целыми днями торчит здесь. Его хлебом не корми... Все деньги ухлопал, ничего не зарабатывает...»

«А стихи?»

«Стихи? Чудак ты. Давно бросил. Всё читает всякие невероятные рассказы, а потом здесь... Приходила ко мне на-днях Марья [Конст[антиновна],<sup>9</sup> плачет — погибает, есть нечего, окажите воздействие, — а что я могу... Постой, постой, куда ты бежишь, заходи к нам обедать, Дорушка будет рада».<sup>11</sup>

### 3. Лицо и маска<sup>12</sup>

На Невском зажгли фонари — оранжевый свет бежал параллельно домам, уныло освещая любимую улицу, уныло отражаясь в моей смущенной душе. Я, спотыкаясь и натываясь на фонари, подымался вверх по Невскому. И вот на углу Садовой, у Гостиного двора увидел: мощный рефлектор освещал гигантский плакат:

«Я моюсь мылом Раллэ»

Перед плакатом стояла толпа. Влекомый черным предчувствием, я присоединился к зевакам. И вот —

— В плакате дверь, вернее окошко. В окошке улыбаю-

щаяся голова, ослепительно розового цвета. Под окошком пояснительный текст:

Натуральный цвет лица!  
Прошу подойти и убедиться!  
Не смывается ни водой, ни слюной,  
Ни бензином, ни сулемой!  
Разрешается пробовать.

Очередь к голове росла и росла. Двинулся и я. Но только что приблизился я и плюнул на руку, чтоб размазать плевков на красной щеке, как вдруг голова подняла грустные глаза и сказала:

«И ты, Лунц?»

О, почему я не плюнул тогда в самого себя, почему не размазал плевка на своем лице? — ибо я узнал Илью Груздева.

«Друг мой», сказал тот мягким и успокаивающим голосом: «Не плачь надо мной, не огорчайся. Ведь я осуществил свое давнишнее желанье и превратился в маску, для публичного обозрения, а лицо, лицо мое...» Здесь тяжелые капли потекли по ослепительным щекам.

«К тому же я зарабатываю деньги. На-днях купил новые подвязки, по случаю, хотел носить их поверх брюк, да жена не дает».<sup>13</sup>

«Жена?», воскликнул я. Чудеса росли с каждой минутой.<sup>14</sup>

«Ты не бойся», перебил меня Илья со слабой улыбкой: «это только так, а ночью я поворачиваюсь к стенке. По правде сказать, я бы давно сбежал от нее, да...»

В это мгновение толпа, напиравшая сзади: «Следующий! следующий!» — отнесла меня в сторону. Место у окошка заняла рыжая курсистка. Она держала в руках баночку с серной кислотой. Толпа замерла: выдержат ли щеки и это испытанье. И я, не дождавшись, бросился прочь.

#### 4. Куда ведут дурные дороги

Ночь Петербургская, темная, сырая, безнадежная. Пусты улицы, молчаливы улицы, только кой-когда раздается рожок автомобиля или милицейский свист. Но кто это темный, растрепанный безумно бежит по улице? Он повернул направо, он повернул налево, нигде он не находит покоя, точно Агасфер, гонимый ветром.<sup>15</sup>

Это я. Ни спать, ни есть, ни предаваться не могу. Образы Федина, Тихонова, Ильи — гонят меня в сырую ночь, меня зно-

бит, бьет... Неужели и остальные пали? Неужели и те прекрасные душой юноши — Никитин, Всев. Иванов — стали жертвой всепожирающего Молоха? Не верю.

Я остановился перед пышно освещенным домом. Ряды извозчиков и автомобилей стояли перед подъездом. Что это? Глубокой ночью? Ба! Да это картежный клуб! Вот где я найду спасенье от kloкочущих дум — за зеленым столом, за бутылкою вина.

«А вот вы, скажем, не свои деньги сцапали, мадам. Так я вас, сук вам в нос, в милицию отправлю».

Голос был нежный и тихий. За столом сидел небольшой, черный крупье и твердой рукой отсчитывал деньги.

«Большой прием на первое, пожалуйста, табло!»

Я, не веря ушам, не веря глазам своим, раздвигал толпу, пытаюсь приблизиться к крупье.

«Игра сделана»

«Миша», сказал я чуть слышно: «Миша, ты ли это?»

Он обернулся ко мне в пол-оборота, скользнул глазами по моему лицу и бросил в бок:

«Проходите, юноша, проходите. Не задерживайте публику».

«Миша!» — взмолился я: «Да ведь это я, Лунц, Миша!»

Он еще раз косо смерил меня взглядом и, возвышая голос, отчеканил: «А вот я обращусь, заметьте себе, к старосте».

Я вновь открыл рот, чтобы напомнить, намекнуть, доказать, как вдруг Зошенко полуподнялся с места и придерживая левой рукой несуществующую шашку, заорал дрожащим голосом:

«Пошел вон, парень!..»

А кругом зашумели: «Дайте играть! Отстаньте!»

Через полчаса другой толстый и изрытый оспой крупье сменил Мишу. Зошенко не спеша и задумчиво двинулся в буфет. Я догнал его.

«Миша!» сказал я: «Нет, без шуток. Неужели ты забыл меня, Лунца?»

«Юноша», сурово ответил Михаил: «Предупреждаю вас, что если вы меня не оставите...»

«Миша! вспомни! Синебрюхов, Аполлон и Тамара, Серапионы, Слонимский...»<sup>16</sup>

Лицо его потемнело, перекошилось, он сунул руку в карман и, сунув мне в руку какую-то мелочь, прошептал:

«Помолитесь за раба Божьего Слонимского».

И он отошел быстрыми шагами. Я застыл на месте.<sup>17</sup>

### **5. О, я всегда был уверен, что сделаю блестящую карьеру**

Я направился к выходу. Внизу в раздевалке было много народу, шум, толкотня, крик. Я лениво, бессознательно натягивал пальто. Рядом со мной, перед зеркалом, уродливая молодящаяся старуха наводила красоту. Тут же вертелся молодой красавец средних лет, намаженный, покрашенный, напудренный...

«Здравствуй», сказал я спокойно. Я уже перестал удивляться: «Здравствуй».

Он взглянул на меня. Потом быстро оглянулся, куда бы улизнуть. Увидев, что отступление отрезано, он расправил на нарумяненном лице улыбку и бросился мне на шею.

«Левушка! Родной! Сколько лет! Как я рад!»

«Моп cher», сказала толстая старуха недовольным голосом: «Я буду ждать вас в автомобиле».

«Ах, mop ange. 5 минут. Понимаешь, товарищ детства...»

Старуха уплыла. Никитин покровительственно положил мне руку на плечо.

«Пора, литература!.. Рассказы теперь пишет Зоинька, я только подписываю. Я нашел занятие получше. О, я всегда был уверен, что сделаю блестящую карьеру. Деньги, женщины, слава!.. Всё у моих ног... А что литература? Что Серапионы... Дрянь, прозябанье... Один Слонимский, о Слонимский, у этого блестящее положение...»

«А где он, Коля, где?»

Но в эту минуту лакей доложил, что «в карете барыня, и гневаться изволит».

«Ах, прости», заторопился Николай: «Мне пора... Ты заходи к нам пообе...» Здесь он запнулся и продолжал «покурить».

— «Зоя будет ждать... Вот адрес».

И сунув мне в руку визитную карточку, он поспешил за лакеем.

На карточке стояло

Ник. Ник. Никитин

Альфонс

### **6. Гомункулус XX-го века<sup>18</sup>**

Ветер дул мощно, ровно, непобедимо. Гнал меня на север,

через Дворц. мост, через Биржевой мост, к большим однообразным домам, к морю, на Петербургскую Сторону.

Я знаю, где я найду спасенье, где снова обрету надежду и веру в будущее. Каверин! Веньямин! Ты, ты, без сомнения, остался верен себе, ты не предал Гофмана, пусть бедный и преследуемый, — ты борешься за правду, ты не сошел с твоей дороги, с нашей дороги!

Башенные часы ударили шесть. Венины окна были освещены. «О, друг мой», воскликнул я: «Чуть свет, а он уже за работой! Что он пишет сейчас — роман, новеллу, драму?». Я позвонил.

Мне отворили не сразу. Долго слышал я беготню за дверью, шопот, испуганные подавленные крики.

«Кто там?», спросил меня голос, его. Венин голос.

«Это я, Веничка. Я — Лунц».

«Знаем мы. Какой Лунц ночью... Проваливай».

«Веня! Не покидай меня... Ради сюжета, Веня, ради сюжета!»

Я услышал за дверью спор, нерешительные поиски, ключи. Дверь открылась —

— я лежал в Вениных объятиях. Он жал меня, тискал, бурно выражая свой восторг. «А мы думали — пропали: милиция». А я жимал в ужасе нос: невыносимый смрад бил мне в голову, оглушал.

Я оглянулся. Всюду: на столах, на комод, на полу стояли колбы, реторты, мензурки. Зловонная жидкость варилась, кипятилась, шипела в сосудах. Всё было темно, таинственно, средневеково. Лидия Николаевна и трое малышей возились у аппаратов.

«Веня!» воскликнул я: «Дорогой, честный друг! Надежды не изменили мне — ты всё тот же. Да, ночью, в холод, во вьюгу, в тьму — ты приготавлишь гомункулуса».

Лидия Николаевна опустила глаза, дети подняли не понимая глаза. Веня покраснел, поник головой, потом пал мне на грудь и зарыдал:

«Гомункулус! Ха-ха! О, друже, друже... Как ты прекрасен и глуп... Да! Ты прав. Вот в этих ретортах варил я гомункулуса три года... Я был близок к победе. Но кругом кричали дети... Лида молчала, но ее молчанье было хуже пытки. И я сдался... Возьми, попробуй этого гомункулуса».

И зачерпнув стакан кипящей жидкости, он подал его мне.

Я шарахнулся назад. Передо мной был — отличный, отменного качества самогон.

«Опасный, но доходный промысел», пояснил он мне, вытирая слезы: «Ведь мы потому так и переполошились, когда ты позвонил, потому думали — милиция. А так превосходно. Сыты, одеты, обуты. Вот мальчики, хорошие мальчики, все обрезаны... Клянусь небом, я бы обрезал и дочь, если б она не была уже обрезана Господом Богом и даже сверх меры... А в уборной рассказы вместо пепифакса».

«А Слонимский?», спросил я дрожащим голосом: «один остался ты, Слонимский?»

В ответ Веня побледнел, побелел, Лидия Николаевна побагровела, детки позеленели. И дружные горькие рыдания огласили комнату.

### 7. Незначащая встреча

Я шел по улице, погруженный в глубокую думу. Я шел к Слон[имскому]. Адрес его я достал, всё-таки, у Каверина.

Что стало с Мишей? Что значат все эти намеки, слезы, тяжёлые вздохи? Что он стал разбойником, баши-бузуком, фальшивомонетчиком?.. Или предался, продал свободу за славу и металл?.. Я трепетал.

А передо мной у пышного подъезда стояла толпа. Над подъездом вывеска:

Всеволод Иванов

Мытарь

Из подъезда вышел, окруженный свитой, толстый человек в собольей шубе и направился к шикарному (неразб.). Должно-быть, я устоял на него уж слишком рьяно, так что юркий черный человек из свиты зашептал что-то на-ухо Всеволоду. Тот обернулся ко мне, нахмутив брови. Узнал, подлец! И обратившись к адъютанту, буркнул:

«Гони в шею».<sup>19</sup>

### 8. Ты всегда был князем между нами, Слонимский<sup>20</sup>

Роскошный двухэтажный особняк на Аптекарском о-ве. Да, особняк! И с колоннами! И с садиком, и с фонтанчиком, и с Аполлоном и с музами. Может-быть, я ошибся адресом? Нет, здесь, именно здесь живет Слонимский.

Чем он служит здесь? Чем объяснить слова и поступки Федина, Зоценко, Вени? Не иначе потомок Рюрика томится здесь в подвале, закованный в цепи. За что? За правду, за честность, за смелые разоблачения в «7-ом Стрелковом».<sup>21</sup>

«Скажите, пожалуйста, здесь живет Мих[аил] Леон[идович] Слонимский?»

Сказал и — жду: Вот накричат на меня. И действительно: пышный швейцар презрительно опустил на меня глаза.

«Вам по какому делу?..» Я назвал себя. Младший швейцар куда-то исчез. Старший погрузился в чтение газеты. Прошло несколько минут. Как вдруг все двери зараз открылись. Из всех дверей выскочили лакеи: «Михаил Леонидович просит к себе».

Я остолбенел, остолбенел и пышный швейцар, выронивший газету. А сверху по лестнице уж раздавались торопливые шаги.

«Где он? Где он? Лунц?»

И навстречу мне бросился большой жирный человек в бухарском халате. Круглое брюхо колыхалось от восторга, толстые покрытые до локтей дорогими браслетами руки тянулись ко мне. Круглые щеки лоснились от жира, в ушах болтались бриллиант. серьги, а черные чудные глаза смотрели ласково и грустно.

«Левка! Левка!», повторял Миша, и обхватив меня, слегка приподнял на воздух, чтоб поцеловать. Ничего не вышло: брюхо мешало.

Лакеи кругом с швейцаром не останавливаясь кланялись до земли.

Я сидел в великолепном кресле в ослепительном черепахе, кожи кабинете.<sup>22</sup> Михаил угощал меня старым бордо. На правом его колене сидела прелестная брюнетка, на левом не менее прелестная блондинка. Он тихонько качал их, а они трепали его по щекам и целовали в длинный нос.

«Вот так живем», пояснил он мне. «Встаю в 4 вечера... Вино, красавицы, почет, слава, кругом поклонение, рабы, деньги... Вот. Только Зошенко нет, не идет ко мне, а как я его звал... Каждый вечер у себя на дому [одно слово неразборчиво], музыка, фокс-трот. А копыта и лопаты к чорту — одно беспокойство».<sup>22</sup>

«Мишенька» спросил я подобострастно: «А кто ты, собственно, будешь? Извини меня, дурака».

И тогда он гордо ответил: «Я — евнух».

И тогда я встал и в восторге воскликнул: — «Ты всегда был князем между нами, Слонимский».

### 9. У тихой пристани

Я вышел от Слон. и твердыми шагами направился на Разъезжую. Здесь была аптека моего дальнего родственника Ефр. Марк.

«А!» сказал Ефраим Маркович: «Явился-таки! Писатель, нечего сказать. Говорил я тебе: Быть тебе в аптеке — все Лунцы аптекари.<sup>23</sup> Ну, становись, иди сюда, научимся».

Так я нашел свое призвание. Каждый день вожусь в аптеке, забыл о литературе. Только иногда приносят мне какой-нибудь рецепт, подписанный д-ром Полонской, так я его не принимаю. «Знаю я эти рецепты», говорю: «Сам штук сто получил. Дутые».<sup>24</sup>

Часто заходит Дуся. Покупает Ether для своих лягушек.<sup>25</sup> Она теперь в очках, при виде меня грустно качает головой. «То-ли я от тебя ожидала».

Раньше заходила и Лида, только теперь Ефр. Марк. запретил ей, потому что слишком бурно плакала мне в жилетку и разбавляла все лекарства. С Лидой несчастье. Она вышла замуж за богатого еврея с тем, чтобы открыть о-во для Серапионов под названием «Песнь души», а Серапионы взяли да и бросили писать. Приходится издавать Садофьева. У Лиды сын. Назвала она его Савел, и не просто Савел, а сразу Савел Семенович, несмотря на протесты родственников: «Что это за имя для еврея: «Савел», и почему Семенович, когда отца зовут Ицек?» На это Лида обижается и плачет. Хорошая женщина.

А сегодня открываю я Известия. На 1-ой стр. портрет Зои, а внизу:

«Наш новый редактор».

Отложил я газету и вздохнул: «Мельчают поколения».

---

<sup>1</sup> В литературе о «Серапионовых братьях» существует только один намек на «Хождения» Льва Лунца. Федин, вспоминая о пятой годовщине группы, писал: «Играл баян... танцевал фокстрот... перечитывал старые лунцевские сатиры на серапионов, приходя в показной ужас от его страшных и смешных пророчеств» («Горький среди нас», ч. 2, 1944). Эти сатиры никогда не были опубликованы. Черновик «Хождений» находится в тетради, к-рую Лунц сохранил в санатории. Он следует за первой версией пьесы «Город Правды», написанной в октябре 1923 г. Как свидетельствуют письма 38 и 39, Лунц послал беловую копию рассказа «Серапионовым братьям» к трех-



летнему юбилею группы и на собрании 1 февраля 1924 г. Федин прочитал его «Серапионам» и их друзьям.

<sup>2</sup> Дом Искусств «Диск», в к-ром «Серапионовы братья» собирались в 1921-1922 гг. по субботам, стоял на Мойке.

<sup>3</sup> Имеется в виду Ефим Григорьевич, старый служащий Дома Искусств.

<sup>4</sup> «30 а» — квартира М. Слонимского в Доме Искусства.

<sup>5</sup> Намек на повесть Федина «Анна Тимофевна» (Лунц неправильно писал «Анна Тимофеевна»). Повесть вошла в «Пустырь», М.-П., «Круг», 1923.

<sup>6</sup> Намеки на «Города и годы», «Сад» и «Анна Тимофевна».

<sup>7</sup> Первая строка рассказа Федина «Песнь души». Рассказ напечатан в альм. «Серапионовы братья», 1922; вошел в сб. «Пустырь», 1923.

<sup>8</sup> Намеки на рассказы Тихонова о медведях после его поездки на Кавказ (см. конец письма 5) и на привычку Тихонова «искать литературную традицию» в произведениях (см. начало письма 44).

<sup>9</sup> М. К. Тихонова.

<sup>10</sup> Дора Сергеевна Федина (1895-1953).

<sup>11</sup> Вероятно, эта часть «Хождений» намекает на группу поэтов «Островитяне», главой к-рой был Тихонов.

<sup>12</sup> Заглавие статьи И. Груздева (Заграничный альм. «Серапионовы братья», Берлин, «Рус. творчество», 1922). В этой статье утверждается, что в своих произведениях настоящие писатели всегда остаются под маской.

<sup>13</sup> М. б. намеки на новые калоши Груздева, про к-рые М. Слонимский писал (см. письмо 27).

<sup>14</sup> В то время Груздев был холостым.

<sup>15</sup> Агасфер — «Вечный жид».

<sup>16</sup> Синебрюхов — персонаж рассказов Зошенко: «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» (1922) и «Рассказы Синебрюхова» (1923). «Аполлон и Тамара» — рассказ Зошенко («Рассказы», 1923).

<sup>17</sup> Перед тем, как стал писателем, Зошенко был временно профессиональным карточным игроком.

<sup>18</sup> Эта часть «Хождений» намекает на рассказ Каверина «Пятый странник», в особенности кн. 1, ч. 5. См. письмо 23, прим. 11.

<sup>19</sup> Следует отметить, что Иванов и Лунц были литературные противники. См. последнюю статью Лунца в «Новом Журнале» № 81, 1965.

<sup>20</sup> Прозвище Слонимского, как Лунц писал Н. Берберовой, «в честь своих именитых предков», — «князь Слюняво-Слонимский». См. журн. «Опыты» № 1, Нью-Йорк, 1953, стр. 170.

<sup>21</sup> Намек на рассказ Слонимского «Шестой стрелковый» (1922).

<sup>22</sup> Вероятно, одна из серапионовских шуток.

<sup>23</sup> Натан Як. Лунц был провизор по профессии.

<sup>24</sup> Е. Полонская была врачом по образованию.

<sup>25</sup> Ида Каплан в то время занималась наукой.

### 38. СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ И ИХ ДРУЗЬЯ — ЛУНЦУ

1/11. 1924. После ужина. [Ленинград].

Лёвушка, милый! Только по подлости, я не написал тебе до сих пор длинно. Твой рассказ<sup>1</sup> произвел впечатление бомбы, начиненной свежей... как бы это сказать? атмосферой, допустим. Короче — частью ржали, частью задумывались. Напишу тебе длинно. Пока — полн почтения к твоей уважаемой голове.

Почтительный Шварц.<sup>2</sup>

Левушка, миленький! Все пьяны и я тоже, поэтому не удивляйся. Шварц коварный соблазнитель, не верь ему. Все по тебе скучаем, пили за твоё здоровье. Рассказ чудесен. Левушка, целую.

Дуся.<sup>3</sup>

Я не пьяна. Очень Вас помню. Без Вас Серапионы потеряли половину колорита (если не весь). Вы давали тон своим вдохновенным взглядом. Хотя и мало Вас знаю, но рада видеть, как все Вас любят и говорят о Вас. Спасибо за хороший рассказ. Кроме Вашего письма и телеграммы, ничего сегодня не читали. Но мы удовлетворены вполне. Слонимский польщен. Нежно целую.

Агути Миклашевская.<sup>4</sup>

Целую милого Лунца, всё жду обещанного отдельного письма.

Василиса Георгиевна.<sup>5</sup>

Милый Лунц. То что Федин читал — Ваше — сегодня — было очень хорошо. Может быть, Вы и лежите, но не стоите на месте. Серапионы сидят — в луже: посадил их Альфонс. Пусть Вам сами расскажут.<sup>6</sup>

Целую Вас. Метресса<sup>7</sup> — тоже.

Е. З.

Левушка, милый, самый хороший человек в моей жизни. Целую тебя нежно и... и на-днях пишу тебе обширное послание. Если не напишу — подлец я и последняя собака.

Последняя собака Зошенко.

Дорогой мой дружок, пишу пьяный вдрызг и не своим почерком, люблю тебя от всего сердца, милый мой, и отдал бы много из моей жизни, чтобы видеть тебя сейчас и расцеловать, как брата, самого, любимого, самого чудесного из нас.

Твой до самого сердца.

Веня.

Милый Левка! Виноват перед тобой Илья, целует тебя и приветствует... Негодай!

Илья.

Ш. Виктор

Левка, я целую тебя, очень хорошо.<sup>8</sup>  
Твой Ш.

Mio caro! Te quiero, te amo.  
Я пьян по-русски.

Давид.<sup>9</sup>

Левочка, милый. Мы Вас все помним и любим. Дай Бог Вам быть снова здоровым и вернуться к нам.

М. Тихонова.

Золото мое! Лева. Если когда-нибудь напишу действительно что-нибудь эпическое — виной будешь ты. Целую тебя во все глаза и уши. Довольно валяться, старина. Меня обижают, Лева, без тебя. I am very well — так ты можешь когда-нибудь — ей-Богу, это так.

Старый бандит Н. Тихонов.

[Два слова неразборчиво] 120 мертвецов.

Левушка. Поздравляю Вас, дорогой, с трехлетием нашим. В будущем году встретим этот день вместе и я напишу Вам медицинское свидетельство о том, что Вы здоровы и пригодны к военной службе, кроме того рецепт на одну бутылку денатурата и оду на Выздоровление Лукулла!

Лиза.<sup>10</sup>

Левушка, родной! Приветствую твою субъективную точку зрения насчет мужей и собственных жен. Я тоже. Яков Самсонович<sup>11</sup> приехал, всё в порядке и по армяно-Моисеевым заповедям. Почерк такой от седьмого градуса. Что Яков Самсонович существует, подпись свидетелей. Целую и крешу.

Твоя тетя (Мариэтта).<sup>12</sup>

Лева, милый, мне дали писать тебе восемьдесят восьмым. Мое мнение о тебе разновсегда сказал, ты — гениальный человек. Я тебе писать могу только с необыкновенным почтением, как Льву Толстому: единственный человек, которого я признаю своим учителем — это ты, ибо ты — не евнух. Передаю дальнейшее Валентине Ходасевич. Левушка, я тебя люблю.  
М. Слонимский.

Левушка, дорогой, Вы, очевидно, знаете, что Ваше имя гремит по всей западной и восточной Европе. Заочно я изменяю своё, — я влюблена в Вас, сознаюсь в этом, хотела бы участвовать в несостоявшейся постановке вместо Юрия Анненкова — «Вне закона» гениальная пьеса.

Валентина Ходасевич.

Левушка, я лишился невинности — очень жалко — чего-то нехватает. Яков Самсонович тоже существует.

Жак.<sup>13</sup>

Дорогой мой,

Я не могу выразить своих чувств: ведь я — человек эмоциональный! Обнимаю и целую тебя, как первую свою любовницу... ты понимаешь, что после того всё — **ложь**. Милый мой, какая жалость, что ты не с нами!!.. Лида говорит, что она любит тебя больше, чем я, но она — женщина. Милый, милый! Агутья врет, что читали только твое. Читали так же и прекрасный гротеск (не театральный) Каверина:<sup>14</sup> этот до сих пор варит Гомункулуса. (Это Лида поправила меня: я написал — гомункулоса, она говорит — люса).

Целую, Лида не дает мне жить!!

[Константин Федин].

Левушка, дорогой, любимый, сегодня Вас нехватает очень. Длинное письмо будет потом, сейчас я пьяна и люблю Вас больше всех на свете.

Лида.

И я Вас часто вспоминаю, милый Левушка, а Вы-то меня совсем забыли.

Д. Федина.

---

<sup>1</sup> Письмо относится к «Хождениям» Лунца.

<sup>2</sup> Евгений Львович Шварц.

<sup>3</sup> В письме к Лунцу от 5 февраля 1924 г. Ида Каплан описывала годовщину «Серapiоновых братьев» следующим образом: «Собирались у Федина, много ели и все были навеселе, хотя и в приличных размерах. Никто, кроме Веньки, ничего не читал и твое послание было гвоздем вечера. Все пришли в неопиcуемый восторг (выпито было много), хохотали страшно, даже аплодировали в особо удачных местах (о Кольке Никитине), а может быть и кричали ура (кричать-то кричали, а по какому поводу и что именно — не помню). Ты — гениален, Левушка. Так здорово, так здорово про Лиду — совершенно изумительно. Все лежали под столом».

<sup>4</sup> Жена актера К. М. Миклашевского.

<sup>5</sup> Жена В. Б. Шкловского.

<sup>6</sup> Этот намек объясняется в письме 43.

<sup>7</sup> См. письмо 25, 1-ый абзац.

<sup>8</sup> Виктор Борисович Шкловский (р. 1893) — в то время главарь «Опояза». Отдельных писем от него в А. Л. нет. Его приписка написана вверх ногами в тексте.

<sup>9</sup> Д. И. Выгодский.

<sup>10</sup> Е. Г. Полонская.

<sup>11</sup> Муж М. С. Шагинян.

<sup>12</sup> Мариэтта Сергеевна Шагинян (р. 1888) — писательница и критик. Она написала две статьи о «Серapiоновых братьях» («Лит. дневник», М.-П., «Круг», 1923).

<sup>13</sup> Жак Израилевич — журналист.

<sup>14</sup> М. б. «Манекен Тутертага» (см. письмо 34, прим. 3).

### 39. ФЕДИН — ЛУНЦУ

Петербург, 2. 11. 1924.

Дорогой, милый Левушка,

Пишу с похмелья, под живым впечатлением вчерашнего вечера. Твои «Хождения» произвели на всех непередаваемое действие. Все говорят, что ты был центром юбилея. Виктор, который приехал так же во-время, как твоя телеграмма, считает, что ты «оправдал» весь вечер. Словом, нет возможности передать тебе всех похвал и восторгов. Мое личное мнение: «Хождение» осмыслило наше братание на трехлети, придало ему нужность, еще раз дало всем понять, что «мы не товарищи, а братья».<sup>1</sup> Отсутствие на вечере Ник[олая] Никитина, с которым я, и со мной все серapiоны, поссорились и... разошлись, нисколько не повлияло на настроение, м. б., даже улучшило его. Всеволод, приехавший из Москвы нарочно к юбилею, по причинам, которых не может понять сам, не явился. Сейчас

был у меня, читал твою рукопись, хохотал до упаду. Плачется, что не пришел и не знает, как взглянуть в глаза серапионам. Чудак! Но он хороший, настоящий человек. Подумай, что продав в Москве собрание сочинений (шесть томов, 60 печ. листов!), он приехал сюда в страшном пессимизме, ходит по салонам, как Чацкий, говорит, что «всё пыль и прах» и скучает. Не нравится ему решительно всё и к нам он сейчас ближе, чем в 21-ом году. Думаю, что со временем это будет новый Слонимский...

Мы поражены твоей осведомленностью. Кто тебя снабжает всеми нашими сплетнями? Уж не Лида ли? Жена моя допытывается, когда и где родился у меня сын и я боюсь, что она обольет Лидочку серной кислотой. Блондинка Ходасевич не дает покоя Мише, изнываю в мрачных предчувствиях: кто же эта брюнетка, сидящая у него на другой коленке? Виктор спросил у Зощенки: «ты разве сильно играешь?», на что Миша потупил глаза. Всё наше губернское болото переволновалось после твоих разоблачений в «Хождениях»... Вчера вечером писалось тебе коллективное письмо, но все были пьяны и я не знаю, какова судьба этого манускрипта. Кажется, его подобрала Лида, в этом случае я могу быть вполне спокоен: он дойдет по назначению...

Для меня «Хождения» радостны еще и тем, что все наши опаски насчет твоего здоровья теперь совсем отпадают. Ты — прежний неотразимый Лунц, ничто не изменилось к худшему, болезнь будет бита. Пора было бы тебе справиться и с температурой и вообще со всем тем, что держит тебя еще в больнице. Напиши подробно, что же именно с тобой, как протекает всё это, что говорят врачи? Непременно.

Да, забыл поздравить и тебя с трехлетием братства. Обнимаю, целую крепко, желаю всего доброго, милый, славный друг.

Не сердись, что редко пишу. «Жена, дети...» Кстати, поручения твои относительно семьи честно исполнил и дочь расцеловал, как ты просил — взапас. Она у меня озорная, веселая, лукавая девчонка и непоседлива больше, чем ты.

Мы с тобой разошлись в оценке Ник[итина] и Всев[олода]. Я уверен, что ты переменял бы свой взгляд, если бы повидал Николая. Отпадение его от нашего лона так же естественно, как отпадение болячки, которая засохла. Никто не сожалеет,

что он не с нами, потому что с нами он не был с тех пор, как bella gloria повела его туда, куда никто, кроме Всеволода, ити не мог, органически не мог.

Пришли обязательно свою пьесу,<sup>2</sup> будем читать ее и, если возможно, напечатаем. Хорошо?

И еще раз дай обнять тебя крепко.

Твой Константин.

---

<sup>1</sup> Лозунг статьи Лунца «Почему мы Серапионовы братья». «Лит. записки» № 3, Пг., 1922.

<sup>2</sup> «Город Правды».

#### 40. ТИХОНОВ — ЛУНЦУ

[Ленинград. 2-II-24].

Милый Лева,

Я большая худая свинья, я не писал тебе столько времени. Но зато сейчас напишу тебе подробно и обстоятельно. Ты знаешь, что было вчера. Вчера было 1 февраля. Сегодня я опохмеляюсь. Твой рассказ<sup>1</sup> восхитителен, твой рассказ — пуля — если бы тут был один человек, про которого ты написал, что он Альфонс, — этот человек был бы убит на месте. Но его не было... Слышишь, Лева — он не пришел на годовщину Серапионов, но он не единственная клякса на нашем пироге. Не было Всеволода. Он тоже не пришел. Лева, ты сделал пророческий поиск в будущее. Но если всё будет так, как ты предсказал — я заряджу ружье осколками чернильницы и выстрелю себе в лоб. Книга<sup>2</sup> Миши (Слонимск[ого]) запрещена цензурой. Цензорша сказала: «У вас, что ни коммунист, — то идиот. Это не полагается».

Жены Опояза обиделись на нас за то, что мы не пригласили их и арестовали мужей. Разве это порядок, Лева. Унизь их, пожалуйста, своим презрением.

Веня написал «Стивен'а Вуд'а».<sup>3</sup> Это рассказ про неудачного сыщика, неудачного шулера, неудачного шарлатана. Радуйся, ты — «На Запад».<sup>4</sup> Это сюжетно до последнего винтика.

В воскресенье мы будем громить натуралистический, педагогический, шовинистический, бытовой роман в кружке при Институте Истории Искусств.

Ты знаешь, Ник[олай] Ник[итин] выбежал из комнаты

на последнем собрании с воплем и с тех пор забарикадировался в «Правде». Зоя выставлена аванпостом.<sup>6</sup>

Всё это очень ни к чему и скверно вместе.

Вот пошел народ нынче: маленький и не простой.

Виктор здесь, он пополнил, округлился, блеснит, как новый автомобиль. Замечательный человек. Ему единственному ты не мог определить ближайшее будущее. Это немножко трудно. Он был редактором сельско-хозяйственной газеты: в июле, и когда гуси начинают метать икру — «град отгоняется продолжительными ударами в сковороду». Я люблю Виктора. Он сентиментален, как собака. Это хорошо. Пробудет он в Питере (который теперь стал Ленинградом) несколько дней. «Am Zoo»<sup>6</sup> — запрещено к печати...

Живем мы все по своим берлогам. Не скучно, не весело — всего понемногу. Толстой здесь облинял и его можно подбирать ложками — так он размяк.

Ждем Эренбурга. «Великий имитатор» прибудет через неделю.

А тебе, старику, как будто и довольно валяться. Что это ты выдумал в самом деле?

Левка, когда мы увидим тебя? Без тебя нет ни веселья, ни соли, ни сахара. Наш стол стал пресен, как подошва, вызваренная трижды — «Прости невольный прозаизм».

Я лично замыслил побег. Я удираю с первыми весенними ласточками, а может, кошками, а может, лучами, черт их разберет — одним словом, я уезжаю на Восток.

Громадная эпическая орясина укладывается в голове. На 4.000 метров. Довольно Питера, довольно желтой бумаги, питерских журналов, скверных лент в кино и «изжеванных» людей. Здесь все писатели стали похожи на рабкоров.

Я писал раньше [что] мне говорили: у вас один сюжет и никакой музыки, теперь говорят: у вас одна музыка и никакого сюжета.

Все скулят и тихо барахтаются. Даже Израилевич захандрил. Одна Мариэтта ходит весело и торгует Джимом Долларом.<sup>7</sup> Дом Искусств — старая пресная галоша. Разве он может жить, когда нет Левы. Во что бы то ни стало, выздоравливай! Во что бы то ни стало — пиши. Только вспомни: ты один полемизировал (я перечитываю все твои статьи), ты один определял — ты и Виктор умели отвечать когда надо горячо и



в точку. Виктор стал москвичем, а ты — ты валяешься и страдаешь. Что же это такое?

Напиши, пожалуйста, что ты слышал о Серапионах у себя. Какие до тебя доходят слухи? Читал ли ты что-нибудь мое за границей? Не слышал ли чего о Колбасеве? Он, кажется, в Берлине.

Это неверно, что я основал о-во инвалидов и покойников.<sup>8</sup> Вчера я дал твою статью «Что такое Серапионы»<sup>9</sup> для информации (выдержками) в Армению. Какие у тебя планы? Что ты думаешь делать?

Дуся бывает у меня. Я очень с ней подружился. Коля Чуковский возрос и философствует. Костя Вагинов никак не может издать книгу своих стихов. Илья преподает на курсах среднего состава милиции историю.

Новый год встречали у меня. Было 40 человек. Пили твое здоровье. Всеволод Иванов приехал на днях сюда. 10-го уезжает в Китай. Держал себя сначала, как Чацкий, собирал кружок вокруг себя и говорил: вы все пресмыкаетесь! Вы все пыль — за 11 журналов можно всех купить и расплатать — потом стал Хлестаковым и укладывает чемоданы. Отрастил баки, потолстел — пишет неровно: написал роман (Северосталь), повесть, 6 рассказов и пьесу — гротеск в 4-х действиях.<sup>10</sup> Как тебе нравится эта производственная программа?

Веня будет завтра у меня. Буду говорить о тебе. Меня многие ругают... Я очень рад — пожалуйста. Пиши, Лева — ничего — ты отлежишься и вскочишь. Вот тогда затрещали черепа наших врагов.

Виктор хочет основать журнал. Это будет не чета «Беседе». Кстати, что Нина Берберова? О ней ни слуху ни духу. Ходасевича стихи печатаются здесь рядом с Ионовым, Эредия, Садофьевым. Ого! Вот букет!

Ну, всего хорошего, мой хороший, милый Лева. Целую тебя всюду.

Н. Тихонов.

2/II 1924 г.

Муська потребовала, чтобы я приписал: она тоже обнимает тебя и целует трижды.

<sup>1</sup> «Хождения».

<sup>2</sup> Вероятно, речь идет о сборнике рассказов «Машина Эмери».

В печатном виде сборник включает рассказы «Актриса», «Сельская идиллия», «Начальник станции» и «Машина Эмери». (Пг., «Атеней», 1924).

<sup>3</sup> См. письмо 34, прим. 4.

<sup>4</sup> Намек на речь Лунца «На Запад!». «Беседа» № 3, Берлин, 1923.

<sup>5</sup> Этот намек объясняется в письме 43.

<sup>6</sup> Имеется в виду книга «Цоо, или письма не о любви» (Берлин, Геликон, 1923). Вошла в сборник «Жили-были» (М., «Советский писатель», 1964).

<sup>7</sup> Речь идет об авантюрном романе «Месс Менд или янки в Петрограде», написанном М. Шагинян под псевдонимом «Джим Доллар». М., Госиздат, 1924.

<sup>8</sup> См. письмо 37, прим. 11.

<sup>9</sup> Статья с таким названием в печати не появилась. Вероятно, имеется в виду «Почему мы Серапионовы братья».

<sup>10</sup> Часть романа «Северосталь» напеч. в журн. «Красная новь» № 5, 1924. С середины 1923 г. до середины 1924 г. Вс. Иванов написал: «Возвращение Будды», «Про двух аргамаков», «Лошина Кара-Сор», «Очередная задача», «Ферганский хлопок», «Заповедник», «Как создаются курганы», «Операция под Бритчино», «Крепкие печати», «Легенда о первом литейщике» и др.

#### 41. М. СЛОНИМСКИЙ — ЛУНЦУ

15/II-24 г. [Ленинград]

Милый Лева, тебе, конечно, писали о годовщине серапионовской и о прочих веселых и грустных вещах. Серапионы, как это ни странно, живут несмотря ни на что. И, как это ни странно, Всеволод лучше Никитина. Я долго этому не верил, но пришлось поверить. Во всяком случае, поминал тебя ежесекундно в первую неделю ссоры с Никитиным,<sup>1</sup> ибо всё-таки ты и я были к нему, пожалуй, ближе всех.

Лева, рассказ твой<sup>2</sup> — гениален. Где твоя новая пьеса?<sup>3</sup> Ты ведь написал ее. Пришли — мы тебе отпечатаем в каком-нибудь органе почтенном и гонорар вышлем.

А рядом — Дуся. И сейчас начнется dancing: фокстрот, шимми и уанстэп. Лучше всего — вальс-бостон.

В Дусиных и Лидочкиных семейных кругах ты одобрен и подписан к печати — единственный из серапионов. Остальные брошены в редакционную корзину.

Левушка, если мне удастся набрать двадцать червонцев,

— я поеду за границу. Проездом в Бразилию заеду в Гамбург. Не могу же я год не видеть тебя!

Правнук Пушкина (мой племянник, сын Сашин)<sup>4</sup> тебе кланяется. Он — мне по щиколотку. Очень странное зрелище. Лева, я тебя люблю и ты меня любишь (заявляю нагло). Пиши! Приезжал Виктор. Толст необыкновенно, но и работает в «Дрезине».<sup>5</sup> А у меня на днях выходит книжка,<sup>6</sup> которую шлю тебе для издевательства. Куда сгиб Ал. Макс?<sup>7</sup> Я ему — три письма, а он мне — ни слова. Рассердился? На что?

Зощенко — дивный

Целую во все места.

М. Слонимский

Пиши Ленинград, а не Петроград на адресе. Срезаю часть Лидинового и своего письма, т. к. они, черти, на толстушей бумаге написали, а у меня денег на вторую марку нет.

---

<sup>1</sup> Этот намек объясняется в письме 43.

<sup>2</sup> «Хождения».

<sup>3</sup> «Город Правды».

<sup>4</sup> См. письмо 36.

<sup>5</sup> См. письмо 21, прим. 5.

<sup>6</sup> «Машина Эмери».

<sup>7</sup> М. Горький.

## 42. ЗАМЯТИН — ЛУНЦУ

СПб. 21-II-1924.

Дорогой, знаменитый, европейский Лунц! Мы, азиаты расцветаем: на-днях Тихонов<sup>1</sup> приехал из Москвы и привез разрешение на журнал — толстый, как Щеголев. Имя ему: «Русский Современник»<sup>2</sup> В редакции: заграничный — Горький, в России — Тихонов, я, А. М. Эфрос и может быть Чуковский? Издание — бесповоротно частное. Четыре дня уже как сижу по уши в рукописях и заседаниях по журналу, забыл, чем пахнет снег. Первый № выйдет в конце марта: «Воспоминания о Ленине» Горького и его же рассказ; может быть — мой роман (если его проволокут через все заставы); рассказы Леона (очень хороший писатель, Серапионам утрет нос), Пастернака, Пильняка; письма Достоевскому, мемуары Станиславского; статьи Шкловского, Эйхенбаума, Тынянова, Радлова, А. Бенуа and... А в конце — «Паноптикум Печальный» («открыт паноптикум печальный» — Блок) — по совести, веселый. Па-

ноптикум будет вести Прутков,<sup>3</sup> Растопырка или еще какая-нибудь одна личность; Вы, Лунц, должны быть — носом, пальцем, фаллосом — чем хотите в этой личности. Я слушал Вашу юбилейную эпопею серапионам — она превосходна. В «Паноптикуме» будут выставляться удачные изречения великих и малых людей (вроде «подковынности на все четыре ноги»), будут литер. пародии, фантастическая литературная хроника и прочее. Подсыпайте, Лунц. Затем: будет и серьезная литературная хроника (после «Паноптикума») — о русской литер. и иск. — давайте материал сюда. Еще: у Вас могут выйти статьи типа «Querschnitt», небольшие, острые — стр. по 2-3; шлите. И наконец: рассказ, пьеса. — Будьте здоровы и не культивируйте гигантских пальцев.<sup>4</sup> Об истории с Ник[олаем] Ник[итин]ым и о том, как сер[апионы] сели в лужу — вероятно, знаете.<sup>5</sup> Пишите. Е. З.

[Приписка]: Привет и любовь от меня, Миши и Растопырки! Мы помним Вас всегда и жалеем, что Вас нет с нами. Поправляйтесь скорее и окончательно и приезжайте в Россию. Жить скучно как-то, нет хороших книг, нет театра, пусто.

Л. З.

<sup>1</sup> А. Н. Тихонов.

<sup>2</sup> «Русский современник» (1924) — последний независимый «толстый» журнал в России. Членами редколлегии были М. Горький, А. М. Эфрос, Е. И. Замятин, А. Н. Тихонов и К. И. Чуковский. Вышло четыре номера в Ленинграде и в Москве.

<sup>3</sup> «Кузьма Прутков» — псевдоним А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых.

<sup>4</sup> У Лунца изредка опухали руки и ноги.

<sup>5</sup> Этот намек объясняется в письме 43.

#### 43. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

24/II.24 [Ленинград].

Левушка, Ваше последнее письмо послано почти месяц назад, и это свинство. Я сознательно на него не отвечала, т. к. наши письма встречаются в пути и происходит путаница. Но видно от Вас не дожидаться ответа. По письму Жени к Лиде Чук[овской]<sup>1</sup> знаю, что Вам лучше, и рада ужасно.

После 1-го Вам писали; Вы, вероятно, знаете всё, и повторять не хочется. Серапионы en masse невероятно скучны. Я регулярно пропускаю вторники — необходимо для восстано-

вления моей нервной системы. Да и вообще пустовато стало: двух-трех почти всегда нет. Зошенко заболел серьезно — процесс в легком, нужно уезжать. Миша фокстротит с Вал[ентиной] Ходасевич и ругает меня — вместо Вас. Жак Израилевич уезжает в Париж с чем-то вроде жены. Илья читает историю милиционерам и рассказывает о них анекдоты. [...] Федин написал «Тишину».<sup>2</sup> Вроде «Сада», только людей больше и написано еще лучше, чище. Миша и Илья разругали, как попытку вернуться к прежнему. Быт, деревня, «дикий» барин, старая любовь... Совсем Тургенев, нет, даже Бунин.

## 2/III.

Левушка, родной, получила Ваше письмо. Господи, когда же это кончится с Вами? Каждое письмо — и радость мне и печаль. Мы считали после Жениного письма, что Вы на верном пути к выздоровлению, а тут опять старое. [...] Левушка, Никитинская история так и осталась не выясненной. Вот факты, как их знаю я: в пятницу у Ник[итин]а была пьянка по поводу приезда Пильняка. Часов в 10 — звонок по телефону. Семенов предлагает присоединиться к резолюции, позже помещенной в газете.<sup>3</sup> Начинаются разговоры. При мне Конст[антин] Ал[ександрович] говорит Зое: «Передайте, что присоединяться не будем, обсудим и завтра сообщим как и что». (Перед тем, кто-то, чуть ли не Николай, предложил немедленно назвать по телефону фамилии всех присутствующих для присоединения их). Через 1/2 часа Семенов явился в гости, и был изруган Всеволодом, после чего смущенно ретировался. На след. день Миша и К[онстантин] Ал[ександрович] составили заявление, кот. и подписали все серапионы (персонально, а не братством) и многие другие. Миша при Коле передал заявление Баскакову, и последний уверил, что оно будет напечатано после космистского.<sup>4</sup> Вечером, часов в 10, К[онстантин] Ал[ександрович] звонил Баск[акову], нельзя ли поддержать резолюцию, т. к. союз хочет выступить организованно. Б[аскаков] ответил, что полоса уже сверстана (это в 10 час. вечера!). Тогда К[онстантин] Ал[ександрович] просил присоединить имя Вяч[еслава] Яковл[евича],<sup>5</sup> и это Б[аскаков] обещал сделать. На след. день появилось Вы знаете что. Я вечером была у Ник[итиных]; при мне Коля страшно волновался. Зоя говорила, что произошла путаница, в кот. виноваты

сами, гл. обр. К[онстантин] А[лександрович]. В тот же день Князев<sup>6</sup> говорил Всеволоду, что слышал разговор Б[аскакова] с кем-то из Никитиных, и что результатом этого ночного разговора и явилась резолюция. Я этому не верю, не хочу верить. До вторника Колю никто не видел. На собрании, во вторник, его спросили, что он знает по этому поводу. И вот тут-то он повел себя глупо. Сначала он ничего не знал. Потом, оказалось, что К[онстантин] А[лександрович] своим звонком спутал Баск[акова], потом, что писатели сами виноваты, вели какую-то торговлю. Словом, он кого-то оправдывал. Тогда Конст[антин] А[лександрович] сказал ему, что он поддержал провокацию, а Коля обозвал его хамом и ушел. Когда Миша в коридоре сказал ему, что нужно просто выяснить дело, Коля провозгласил знаменитую фразу о дрызгах в столь тяжелый момент.<sup>7</sup> И всё. Миша утверждает, что эта история, т. е. присоединение фамилий, была санкционирована Зоей. Через неделю после этого я попыталась поговорить с ней. Она ответила, что у нее свое сложившееся мнение, что нужно говорить всё или молчать, а т. к. 1-ое невозможно, остается второе. У них в доме о серапионах не говорят. Я изредка бываю; Коля меня сторонится. С Зоей говорим, как дамы с визитом друг у друга. Зоя по делу с К[онстантином] А[лександровичем] встречалась. Коля еще ни разу. С остальными отношения мало знакомых людей. Только Елиз[авета] Григ[орьевна] после этой истории переложила гнев на милость и стала к ним лучше относиться. Ей, как и мне, жаль Колю. Всё-таки это его совсем должно было выбить из колеи. Он делается иногда *plus royaliste que le roi*, конечно, не в разговорах за столом Зои Дмитр[иевны]. Просто как-то вдруг прорвалась нелюбовь К[онстантина] А[лександровича] к Коле, и все поддержали его. Им друг с другом — серапионам с Колей — больше не столкнуться.

Мне жаль, что я не читала В[ашего] письма к К[онстантину] А[лександровичу]. Это потому — Левушка, милый, дай-те жилетку! — что на вторники я больше не хожу. [...] Здоровье — швах. Худею, температура, с осени не перестаю кашлять и т. д. Не знаю, где начало — в нервах или в легких. И то и другое не в порядке. Устаю очень. Врачи говорят, что месяца на 2 нужно уехать поправляться. Написала отцу в Ригу, жду ответа, хочу ехать к нему.<sup>8</sup> Это было бы прекрасно во всех

отношениях: мне необходима новая обстановка, новые люди. Только ведь я дура: мне всегда нужно к кому-то привязаться, и тут — крышка. [...] Здесь Эренбург. Сейчас был Миша с ним.

Дуся была в Союзе Драм. Писат. Одесса — на Украине, т. е. вне сферы их действий.<sup>9</sup> Пиотровский<sup>10</sup> собирается в будущем сезоне предлагать Большому Драматическому Театру] «Бертрана».<sup>11</sup>

Лидя

[Приписка]: — Лева, моя судьба — присоединяться к девицам. С Дусяного письма ничего нового не произошло. Книжка у меня в «Атенее» выходит.<sup>12</sup> Пришло. Эренбург приехал. М. С.

<sup>1</sup> Евгения Натановна — сестра Лунца; Лидия Корнеевна — сестра Н. Чуковского.

<sup>2</sup> Рассказ напеч. в журн. «Русский современник» № 4, 1924.

<sup>3</sup> Речь идет о появлении резолюции «Пролетарские писатели памяти тов. Ленина» в «Ленинградской Правде» 27 января 1924 г. Вот ее текст:

«Умер человек, который с неслыханной в мире силой, разматал все преграды на пути к освобождению трудящихся.

Труд стал полноправным хозяином жизни в нашей стране. Свобода и счастье в наших руках.

Клянемся же беречь, как зеницу ока, оставленное им великое наследство и неуклонно идти вперед по его верным и победным путям.

Пусть траур пролетарских знамен еще плотнее сомкнет ряды борцов, а имя гениального вождя будет также бессмертно, как бессмертна его идея коммунизма.

Подписали: Маширов-Самобытник, Илья Садофьев, Н. Катков, Сергей Семенов, П. Арский, Я. Бердников, И. Логинов, О. Давыдов, Н. Тихомиров, И. Груздев.

К настоящему присоединяются члены Объединения ленинградских писателей:

А. Н. Толстой, В. Муйжель, Всев. Иванов и группа Серапионовых братьев: Н. Никитин, К. Федин, М. Зощенко, Н. Тихонов, Е. Полонская, М. Слонимский и В. Каверин».

<sup>4</sup> Космисты — группа пролетарских поэтов.

<sup>5</sup> Установить не удалось.

<sup>6</sup> Вероятно, Василий Васильевич Князев (1887-1937), писатель и сотрудник «Красной Газеты».

<sup>7</sup> В другом письме к Лунцу, часть к-рого находится в А. Л., Л. Харитон сообщала, что Никитин сказал: «Мне гнусны ваши дрязги мелкие, когда такая смерть».

<sup>8</sup> Б. О. Харитон в то время и до 1939 (?) г. был редактором рижской ежедневной газеты «Сегодня вечером». Когда советская армия оккупировала Латвию, он был депортирован в Сибирь, где и умер.

<sup>9</sup> Речь идет о представлении запрещенной в Петрограде пьесы «Вне закона» в Одессе.

<sup>10</sup> Адриан Иванович Пиотровский (р. 1898) — драматург, переводчик и театральный деятель.

<sup>11</sup> Трагедия Лунца «Бертран-де-Борн» была принята в репертуар театра, но постановка не состоялась.

<sup>12</sup> «Машина Эмери».

#### 44. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

7/IV. [1924 г. Ленинград].

Левушка, друг, спасибо, что не забыли. А я попрекнула было Вас, т. к. письмо запоздало. Но пьесу слышали и без Вашей просьбы.<sup>1</sup> Серапионы поручили мне написать Вам о всех разговорах. Слушали внимательно, говорили много и — Вы это знаете — неодобительно.

Веня и Тихонов, как им полагается, сейчас же стали искать литерат. традицию. Веня вспомнил Метерлинка, Тихон[ов] — Царь Голод и кино. Оба указывали, что, несмотря на кажущуюся злободневность темы, она не современна, что Вы **смело** (это Венино) продолжаете традиции 1912 г. Тихон[ов] говорил, что Вы допустили философскую ошибку, Ваш город — патриархальный примитив, неясна работа. Какая работа?

Мишам<sup>2</sup> не понравилось, что слишком откровенно Вы философствуете, действуют обнаженно и схематично идеи. Это — и тут главный и общий упрек — получилось не сценично. Вы взяли не свой (Вашим они считают книжный) материал — к тому же слишком отвлеченный для пьесы, взяли очень большой масштаб, а впечатление получилось оперное. Полонская и Федин говорили, что смешение двух стилей, двух языков — быта и пафоса, — не удалось, режет слух.<sup>3</sup> Зошенко назвал пьесу «пролетарской пьесой для эмигрантов». Форш говорила, что она будет очень интересна, как историческая вытяжка из



настроений, интересная массовая инсценировка. Всем очень понравилось по замыслу начало. Как кто-то сказал, «как люди прут через Гоби». <sup>4</sup> Веня говорил, что это новый Ваш эксперимент, после сюжета, формы — тема, и потому интересно, заслуживает большого внимания. Особых прений не было, соглашались все.

Левушка, кажется всё. Не сердитесь, что отрывочно. Вы знаете, как братья разговаривают, по 3 одновременно. Я честно прислушивалась ко всему и не щадя «бедного, больного калеку» пишу, что слышала. А теперь, можно мне? Из мелочей — Ваша знаменитая пронзенная пара <sup>5</sup> не вышла, она как-то не вошла в пьесу, так и осталась на холмике. А всё — здорово интересно по теме, по сюжету даже, т. е. по тому, что я знала раньше. Но как-то не убедительно. Ни комиссар, ни город правды. Не договоренные они у Вас. Ну, больше на эту тему не хочу, потому что не знаю, как примите. Еще выругаете менторшей. Одно дело разговаривать и смотреть в глаза, другое — писать (еще одна пропись). Пьесу в тот же день передала Евг[ению] Ив[ановичу]. Кстати, поищите другого контрагента, т. к. недели через 2 меня здесь не будет: вылетаю из «Атенея» с 2-месячным окладом ликвидационных и уезжаю на поправку в Крым. Рада ужасно. Такая лихорадка бьет, что еле-еле доскиживаю здесь эти последние дни. По дороге останковка в Харькове. [...] А. Пиотровский просит написать Вам, что Больш[ой] Драм[атический Театр] открывается осенью Бертраном. <sup>6</sup> Хочет списаться с Вами по поводу последнего монолога. Я велела Зое дать ему Ваш адрес.

Еще событие. Я объяснилась с Никитиными, и отношения у меня с ними опять наладились. Всё-таки люблю их. На некоторые вещи, конечно, обращать внимания нельзя. Я теперь твердо знаю, что Ник[итин] в этой истории не при чем. Участию Зои я не верила никогда, но спросить ее прямо не решалась. Как всегда всё стерлось. Коля и К[онстантин] А[лександрович], встречаясь по делу в «Звезде», называют друг друга на вы и по отчеству, остальные с ним говорят, как со знакомым. У меня же отлегло, когда я его выругала, и теперь опять бываю у них.

[...] Слушайте, Вы не находите, что мой хваленый стиль испортился сильно за год нашей переписки?

На свете нет человека скучнее и ненужнее Ильи Груздева.

Когда мы встретимся с Вами, произведем переоценку Серапионов. Особыми симпатиями пользуются Миши. Была на собрании, когда читали Вашу пьесу и чудесную поэму Тихонова. Это было мое рождение. Потом все ушли, а оба Миши, Федин, Дуся и я сидели у Миши до утра. Пили, ели, разговаривали. Теперь опять не пойду к Серапионам долго — до осени.

Левушка, дорогой, не забывайте.

Лида

---

<sup>1</sup> Речь идет о чтении пьесы «Горрд Правды» на собрании «Серапионовых братьев». Это письмо доказательство того, что «Серапионы» судили о произведении по тому, как хорошо написано оно, а не по тому, какая идеология выражается в нем.

<sup>2</sup> М. М. Зощенко и М. Л. Слонимский.

<sup>3</sup> В предисловии к пьесе, Лунц указывал, чтобы «жители Города Равенства» говорили «глухо и резко, монотонно», пока толпа солдат «от грубой мужицкой перебранки переходит к высокопарной речи». «Беседа» № 5, Берлин, «Эпоха», 1924, стр. 63.

<sup>4</sup> Цитата неправильна. В действии I толпа солдат пробирается «через пустыню Гоби», а в действии III солдат, имея в виду бой между солдатами и жителями Города Равенства, говорит: «Прут на нас да прут, хоть бы от выстрелов закрылись!..» (стр. 95).

<sup>5</sup> В «Городе Правды», как и в раннем рассказе «В пустыне», двое любовников пронзаются копьем. Рассказ напеч. в альм. «Серапионовы братья».

<sup>6</sup> См. письмо 43, прим. 11.

#### 45. А. СЛОНИМСКИЙ — ЛУНЦУ

14 апреля [1924 г. Ленинград].

Милый Лева, давно не писал Вам, но это не от бесчувствия, а совсем наоборот. Мы Вас вспоминаем каждый день, беспокоимся о Вашем здоровье. И Вы не сердитесь, а напишите: главное, о здоровье. Право же, скучно без Левы Лунца! Запреснело, заплеснело, Никитин отращивает животик, Каверин тынянится, а Мишка орет Донбассом, вслед за Женей Шварцем. Приезжайте! Выздоровливайте! Маршак сделал из меня детского писателя для «Воробья». Печатается мой рассказ (!!) «Паровой конь» — с фабулой (честное слово!) и с персонажами (мистер Крэн, дядя Джим, Момми, Мэри, тетушка Грэль), из английской жизни (1825 г. — первый поезд) и даже с ку-

плетами (верьте совести!). Есть даже названия глав под Диккенса или Ж. Верна: 1) О чем поспорили мистер Крэн и дядя Джим, 2) Дедушка дилижанс и шалуны каретки, 3) Каретки поют веселую песенку, 4) Жоры виноваты, 5) Дядя Джим празднует победу. Ей-Богу, даже отдельное издание будет — с иллюстрациями! Мишка в панике забился с головой под одеяло и лежит целый день. Кладет на себя метки, чтобы не перепутали. Его мучат кошмары: все газеты и журналы переполнены Слонимскими, пишущими рассказы. Д. Слонимский, У. Слонимский, Р. Слонимский, А. Слонимский, К. Слонимский, Э. Слонимский, и даже V. Слонимский — и еще какая-о непристойная буква. Буквы коверкаются, кривляются, ломаются, прыгают на потолке, по стульям. Он в ужасе вопит: М. Слонимский! М. Слонимский! Одновременно получают грозные иеремиады и нежные увещания из Европы и Америки по поводу его свинповедения. Мариэтта по утрам, став в позу, отчитывает его полчаса и уговаривает не быть альфонсом. Лида Харитон предостерегает от дурной болезни. Мобилизовано целое благотворительное общество на предмет его обращения на путь истины, посылающее два раза в день по увещателю. Миша в попытках сделал нам три визита подряд, исполнял роль заместителя крёстного на крестинах, при чем выпячивал нижнюю губу от старания не уронить младенца. Чтобы показать свою любезность, встретив Лиду<sup>1</sup> на чтении Эренбурга в Инст. Иск. предложил ей два билета на это самое чтение. Вообще всячески старается реабилитироваться.

А маленький — это целая поэма. Улыбочки, утренние улыбочки — я их чувствую непрерывно, при всех деловых и неделовых разговорах, как нечто самое главное. Мне досадно, что дети — это бытовое явление — и вообще, что — чтобы иметь детей кому ума не доставало.

Милый Лева, еще раз: поправляйтесь! И напишите **точно** о своем здоровье! Адр.: Петровский пр. 2 Институт Нар. Образования.

Ваш Ал. Слонимский

Пишу Вам в окривелом состоянии: воспаление радужной оболочки, боль в виске, вообще гадость. Всё мое творчество поэтому одноглазое, и Вы не судите строго!

У Зои Никитиной тоже ожидается детеныш. Я уже имел

собеседование с Никитиным по этому поводу и объяснял, что, в самом банальном — Америки.<sup>2</sup>

Лида кланяется и целует Вас! Маленький посылает улыбочку.

---

<sup>1</sup> Жена А. Слонимского.

<sup>2</sup> Так в тексте.

#### 46. Л. ХАРИТОН — ЛУНЦУ

20.IV.24. [Харьков].<sup>1</sup>

Левушка дорогой, я уже в Харькове — 3-ий день. Устала ужасно от всех встреч, разговоров, новых улиц, старых друзей. Но хорошо мне очень. Ужасно приятно быть с людьми, которые совсем не думают о том, что сказал Садофьев и куда посмотрел Евг[ений] Ив[анович]. Но уже скучаю по Дусе. Проводили меня, кроме своих, Дуся, Андрей и Анатолий Душкин с Мусенькой.<sup>2</sup> Зойка через месяц рождает — большая, тяжелая. Левушка, пишите в Феодосию, Крым, Лютеранский пер., д. 3. Что я Вам писала о пьесе? Вы не сердитесь за откровенность. Здесь яркое солнце, набухшие почки, летние платья. Мне очень хорошо.

Лида

---

<sup>1</sup> Почтовый штампель на карточке.

<sup>2</sup> Андрей Кази — сводный брат З. Д. Гацкевич, Муся Кази — его сестра, Душкин — не удалось установить.

#### 47. ЗАМЯТИН — ЛУНЦУ

[Ленинград, 7-V-24 г.].<sup>1</sup>

Великий Лев Лунц!

Передо мной № 1 «Сибирских Огней» за 1924 год, там — статья Я. Брауна о «труппе Серапионовых братьев» — и о великом Лунце, конечно, о «Вне закона» и «Бертран-де-Борне».<sup>2</sup> Известно ли Вам, гражданин, что Ваш «Бертран» объявлен в репертуаре Большого Драм. Театра на след. сезон? Должен сознаться, что это случилось, несмотря на все мои козни, ибо я усиленно убеждал Болдраму, что «Бертран» никуда не годится по сравнению с «Вне закона» и советовал поставить именно

«Вне закона». На что получил ответ, что «Вне закона» — вне закона и есть, и тут ничего не напишешь.

Раздраженный неудачами своих происков, а также исходящим от Вас запахом лаврового листа, я решил подражать Вам, великий Лунц — и скоро разрешусь двойней: пишу две пьесы, одну для 1-й Студии Моск. Худ. Театра, другую — может, для них же, а может, еще для кого. Одну пьесу<sup>3</sup> меня заставили сделать угрозой, что взломают моих «Островитян» и вытащат из них пьесу; для другой я сам совершил кражу со взломом у Лескова — из этой штуки выйдет, кажется, что-то очень забавное.<sup>4</sup>

А засим — современничаем. Нелегкое это дело. Смотрит на тебя прелестное этакое дитя сернячьими глазами — ну, так бы и расцеловал — а вместо этого возвращаешь ей рукопись. Или это: каково писать излюбленному Лунцу, что с его, зачатой во время путешествия на больничной койке, пьесой<sup>5</sup> — ничего сделать нельзя? А «Путешествие»<sup>6</sup> — пишите и присылайте; думаю, выйдет интересно — и не вне, а в законе.

Ну вот... впрочем, «ну вот» плагиат: это формула Миши — неизменная — когда он отсидит у меня свой срок, собирается уходить, глядит на свои браслетные часы: «Ну вот. Пора двигаться». И знает, что я знаю эту формулу, и всякий раз страдает невыносимо — ибо новой формулы (вот уже год) придумать не может. Несчастный канонист!

Федин занят детоводством и романом. С Ник. Никитиным у братьев coitus, кажется, помаленьку налаживается.

Затем прощайте. Метрша,<sup>7</sup> Миша и Ростислав Вам поклоняются.

Ваш Е. З.

---

<sup>1</sup> Датируется по конверту. Письмо не застало Лунца в живых.

<sup>2</sup> Заглавие статьи «Десять странников в осязаемое ничто». В ней Браун сравнивает «Серапионовых братьев» с труппой актеров.

<sup>3</sup> «Общество почтенных звонарей», трагикомедия в 4 д., по повести «Островитяне». Л., «Мысль», 1926.

<sup>4</sup> «Блоха», игра в 4 д., по повести Лескова «Левша». Л., «Мысль», 1925. Представление пьесы в МХАТ 2-м состоялось 11 фев. 1925 г.

<sup>5</sup> «Город Правды».

<sup>6</sup> «Путешествие на больничной койке» — автобиографический рассказ Лунца, описывающий жизнь в санатории в Кенигштейн-им-Таунус. Рассказ хранится в А. Л.

<sup>7</sup> См. письмо 25, прим. 3.

## 48. ПОЛОНСКАЯ — ЛУНЦУ

[Ленинград. 20-V-24].<sup>1</sup>

Левушка, дорогой. Вы обо мне забыли и поделом, так мне и надо. Но я вас всё время держу в памяти и в сердце. Меня страшно огорчает Ваша болезнь, но я всё-таки думаю, что Вы во многом преувеличиваете ее. Было бы дикой нелепицей думать, что вы не поправитесь, что она не прекратится. Скажу Вам, как врач, что нужно хотеть выздороветь — воля к жизни лучшее средство против инфекции. Вы должны выздороветь, как должны были кончить университет.<sup>2</sup> Помните? Со скрежетом зубовным и во что бы то ни стало. Выздоровливайте и приезжайте сюда — я готова снова выпить с вами на брудершафт.

Знаете ли вы, что я написала пьесу и посвятила ее Вам? Пьесу я уже сожгла, но посвящение осталось — я перенесу его на новую пьесу, и так до 7 раз. Ваш «Город Правды» очень понравился Сергею Радлову,<sup>3</sup> которому я дала его читать, Паригопуло и моему брату.<sup>4</sup> Радлов хочет ставить его в Народном Доме.<sup>5</sup> Отвечайте, согласны ли? У нас здесь вышел камуфлет с Никитиным, но примирение уже состоялось и он возвратился в лоно. Зоя же перенашивает младенца Никитинского — боюсь, что он родится сразу в очках.

Лида Харитон женилась, женился также и Коля Чуковский, за что и был проклят Корней Ивановичем и Марьей Борисовной. У Виктора же Шкловского имеет родиться ребенок согласно всем правилам сюжетосложения. Имя ему будет Опояз если мужского и Формалина если женского окажется полу. Еще родился новый прозаик, по фамилии Бабель, весьма приятный, еврей. Серапионы его ругают, а я одобряю весьма. Ребята наши серапионовские все вышли в большой свет, за исключением Ильи и Веньки. А я стала знаменитой детской писательницей<sup>6</sup> — образец Вам посылаю.

Сын мой растет и развивается весьма. Черпает знания из календарей и жизни. Вчера он объявил мне, что Пушкин очень хороший поэт и прочитал ввиде доказательства:

Насильно Зубову мила  
Старушка дряхлая жила,  
Приятно... по наслышке блудно.<sup>7</sup>

Мама, что такое блудно?! А брат мой таких вопросов не задает, он всё знает сам и даже преподает в И.С.И. А я Вас крепко-крепко целую и надеюсь скоро увидеть. Может быть, поеду за границу. У Вас на-днях будет Шура Векслер<sup>8</sup> (помните ли ее?!).

Ваша Е. Полонская.

---

<sup>1</sup> Датируется по конверту. Письмо не застало Лунца в живых.

<sup>2</sup> Лунц кончил Романо-Германское отделение Петроградского ун-та в 1922 г.

<sup>3</sup> Сергей Радлов — известный режиссер, сын профессора Э. Радлова, брат художника Н. Радлова и муж поэтессы Анны Радловой.

<sup>4</sup> Попаригопуло — не установлен; брат Полонской — А. Г. Мовшенсон.

<sup>5</sup> Постановка не состоялась.

<sup>6</sup> В 1925 г. вышли две книги Полонской для детей: «Про пчел и про Мишку-медведя» и «Часы».

<sup>7</sup> Набросок Пушкина о Екатерине II.

<sup>8</sup> Александра Векслер — член «Вольной философской ассоциации».

#### 49. Л. ХАРИТОН — Н. ЛУНЦУ

Феодосия. 5/VI. [1924 г.].

Многоуважаемый г-н Лунц,

Только вчера, случайно встретив петербуржцев и получив у них петербургский журнал, узнала я о Вашем огромном горе.<sup>1</sup> Простите меня, это может показаться нескромным, но мне хочется написать Вам, сказать, как близко мне Ваше горе, какая большая утрата для меня Ваш Левушка.

Как ни была я подготовлена целым годом его болезни, всё нарастающим волнением в его письмах, наконец, отчаянным криком последнего письма: «пишите, пока не поздно!» — я не верила. И сейчас, когда я знаю, что его нет уже почти месяц, когда я знаю, что мои письма опоздали, что Лева не прочел их — я не могу освоиться с этой мыслью, мне всё время хочется взяться за перо, мне хочется крикнуть ему — Левушка, дорогой, это неправда, Вам просто временно хуже... А передо мной стоят в черной рамке слова статьи Федина: «Лев Лунц умер... Прощай, брат!»<sup>2</sup> И как нарочно всё сложилось так, что из-за своего переезда из Питера я во-время не смогла получить его

письма, я не смогла ему дать того, что было в моих силах — дружеского привета из далекого родного города.

Я здесь одна сейчас, я не знаю даже того, что знают наши друзья в Петербурге. И я решаюсь просить Вас об очень большом: когда Вы сможете, когда Вам это будет не слишком тяжело, напишите мне о его болезни, о его последних днях. Я хочу знать, как умирал Лева. Я ведь знаю, как он жил. Левушка и смерть! Так странно и больно — эти два слова рядом. Левушка живой, бодрый, радостный. Левушка, в котором было столько искры, столько какой-то общей талантливости, столько веры в жизнь, в себя, столько подлинного драматургического таланта. Ведь он был младшим среди своих друзей,<sup>3</sup> но всю последнюю зиму, когда всевозможные напасти и нелады сыпались на серапионовых братьев, имя Лунца всегда приводилось, как веский аргумент: Лунц сказал бы так,... Лунц отнесся бы вот как... И это отношение Лунца считалось правильным, верным, часто давало тон общему решению.

Я вспоминаю сейчас первый серапионовский спор, на котором я присутствовала. Лева с мальчишеской, почти детской горячностью протестовал против какого-то довольно безобидного, но всё же компромисса с совестью.<sup>4</sup> И вот эта удивительная его духовная чистота, такая молодая, такая прекрасная сделала то, что Левушка, юный, житейски неопытный мальчик, стал мне большим, нужным другом. Его отношение было для меня мерилom. Лева одобрил — хорошо, выбранил — я неправa. А сколько радости, сколько жизни он вносил с собой! Без Лунца стали серыми наши вечера. Он зажигал всех окружающих — такая уж у него удивительная натура была.

[...] Он эти дни неотступно со мной — то живой и веселый, как в первое время, то в кровати в Доме Искусств, зимой. Каждый раз, когда он ложился — у меня появлялся Коля Чуковский, и я проводила у Левушкиной постели длинные вечера. Сколько мы переговорили тогда. Он иногда впадал в отчаяние, но потом сейчас же возвращалась бодрость, вера, и Левушка ждал поездки за границу, с нею — здоровья.

Натан Яковлевич, очень прошу Вас, напишите мне о нем! Я очень люблю Левушку, он мой самый большой и верный друг.

С глубоким уважением, Лидия Харитон.



Мой адрес: г. Феодосия, Крым. Лютеранская ул., д. 3.

Как больно, что часть его рукописей так и не удалось получить с Петроградской таможни! [...].

<sup>1</sup> Лев Лунц умер 9 мая 1924 г.

<sup>2</sup> К. Федин, «Лев Лунц», журн. «Жизнь искусства» № 22, Л., 1924.

<sup>3</sup> Из всех «Серапионов» младшие были Познер (р. 1905), Каверин (р. 1902) и Лунц (р. 1901).

<sup>4</sup> Возможно, что это намек на тот же спор, о к-ром Федин писал в кн. «Горький среди нас», ч. 1 (см. «Собр. соч.», т. 9, М., 1962, стр. 196-8).

## 50. М. СЛОНИМСКИЙ — Н. ЛУНЦУ

[Ленинград. Июнь? 1924 г.].<sup>1</sup>

Дорогой Натан Яковлевич, пишет Вам Слонимский, Левин товарищ. Не стану говорить о том, как потрясла меня и серапионов смерть Левы. Вы знаете, чем был для нас Лева, никто из нас никогда не забудет его, для каждого из нас он жив. Но нужно сохранить его живой образ. Поэтому мы решили издать сборник его памяти, куда войдут статьи и воспоминания всех близко знавших Левушку: Замятина, Чуковского, серапионов и пр. Вы писали Дусе Каплан о том, что за границей появился ряд некрологов. Хотелось бы иметь их тут, чтобы включить в сборник наиболее значительные статьи. Федин писал Вам и послал статьи и заметки, появившиеся тут о Левушке. Вы наверное получили уже?<sup>2</sup> Надо бы также иметь сведения о постановке «Вне закона» в Берлине (для библиографии) и о статье Горького к «Вне закона» и в «Беседе».<sup>3</sup> У нас одно стремление — сохранить навсегда живой образ Левушкин, а собрать материалы нужно сейчас. Издание сборника — дело ближайшего года.<sup>4</sup>

Вот по этому поводу — о материалах — я решил обратиться к Вам за советом. Да признаться я хотел еще сказать Вам и Левушкиной маме (сколько мне Лева рассказывал о Вас!), что мы, серапионы, [два слова неразборчивы] Вас всей душой и всем сердцем участвуем в Вашем горе: мы потеряли родного брата. Давно я хотел написать Вам, но всё не решался: ведь мы с Вами почти незнакомы.

С осени в Больш. Драм. Театре идет пьеса Левушкина

«Бертран-де-Борн». Я напишу Вам о первых спектаклях. «Вне закона» шла только пока в Одессе.

Крепко и горячо жму Вашу руку.

Ваш М. Слонимский.

Р. С. Адрес мой: Ленинград. Ул. Герцена (б. Морская), д. 14, кв. 30а. До середины сентября я могу оказаться в отсуствии, но я буду держать связь через Дусю Каплан.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Письма К. Федина к Н. Лунцу в А. Л. нет.

<sup>3</sup> Предисловие Горького к трагедии «Вне закона» не появилось в печати. Некролог «Памяти Л. Лунца», напеч. в «Беседе» № 5, 1924.

<sup>4</sup> Сборник издать не удалось.

## 51. ПОЛОНСКАЯ — Н. ЛУНЦУ

[Ленинград. 20-VI-24].<sup>1</sup>

Дорогой и многоуважаемый Натан Яковлевич.

Благодарю Вас за письмо от своего имени и от имени всех Серапионовых братьев. Мы хотели написать Вам немедленно, как только получили известие о смерти Левы, но не посмели, боясь, что это письмо будет только лишним напоминанием о тяжелом Вашем горе. Вы знаете и без того, чем был для нас всех Левушка — настоящим братом и более, чем братом. В тяжелые годы он поддерживал в нас бодрость духа — он был душой нашего братства.

Мы решили, и я думаю, что Вы ничего не будете иметь против этого, издать осенью две книги, посвященные его памяти.

1 — книгу статей о Леве, в которую войдут статьи: Горького, Замятина, Чуковского, Шкловского и всех серапионовых братьев.

2 — книгу, составленную из всех имеющихся на руках произведений Левы, как напечатанных, так и ненапечатанных.<sup>2</sup>

Если у Вас имеются сведения о том, где находятся те или другие рукописи, не откажите написать об этом мне. Не оставил ли Лева какого-нибудь списка всего написанного им, или не говорил ли об этом устно?

Ваши поручения я срочно выполняю и письмо Ваше покажу братьям завтра же. Сегодня, я хочу отправить Вам этот

ответ, чтобы Вы знали, что Ваше письмо получено и что всё будет сделано в точности.<sup>3</sup>

Передайте Левушкиной маме, что я низко кланяюсь ей и разделяю с ней ее горе. Левушка так часто рассказывал нам о ней, когда жил в Доме Искусств. Видно было, что он горячо ее любил и мы все полюбили ее вместе с ним.

Примите мое искреннее уважение. Е. Полонская.

---

<sup>1</sup> Датируется по конверту.

<sup>2</sup> Сборники издать не удалось.

<sup>3</sup> Н. Лунц просил о книгах и фотографиях своего сына, вместе с некрологами из советской печати.

## 52. Н. ЛУНЦ — СЕРАПИОНОВЫМ БРАТЬЯМ<sup>1</sup>

Вы знаете, как бесконечно наше горе, и Вы поймете, что много я Вам на этот раз писать не сумею. Может быть, со временем удастся больше написать. Левушка почти 9 месяцев лежал в постели и хотя очень терпеливо переносил болезнь, почти всегда веселил всех окружающих, но часто впадал в отчаянье. В последний день, утром 9 мая, он еще много говорил со мной о литературе, политике, играл в шахматы и был очень счастлив, так как я в тот день собирался взять его домой. В 1 ч. дня он хорошо пообедал, но вслед за тем опять получил эмболию мозга, сейчас же впал в беспамятство и, не приходя в сознание, скончался на рассвете 10 мая... Для нас с матерью свет погас...

Прошу передать всем его друзьям, Серапионовцам и друзьям, что он до последнего часа бесконечно их любил и стремился к ним. День 1 февраля, их праздник, он нервничал весь день и ночью не спал.<sup>2</sup>

Хоронили его 12 мая, было много народу, говорили речи, но никого из его друзей, кроме нас несчастных, разве только А. Векслер, незадолго перед тем приехавшая из России. И ходим мы к нему на могилку и вспоминаем, вспоминаем...<sup>3</sup>

Что касается манускриптов, то кое-что осталось, но пока у меня нет сил подойти к ним и разобраться. Мы с женой совершенно разбиты и никак не можем начать нормально существовать. Завтра уезжаем на пару недель в Швейцарию, авось это хоть немного восстановит наше душевное равновесие. По приезде немедленно разберусь и пришлю Вам всё существенное.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Н. Лунц продолжал переписку с друзьями своего сына несколь-

ко месяцев после его смерти. Здесь публикуются три отрывка из писем Н. Лунца по его копиям.

<sup>2</sup> Отрывок из письма к Е. Полонской от 10 июня 1924 г.

<sup>3</sup> Отрывок из письма к Л. Харитон от 14 июня 1924 г.

<sup>4</sup> Отрывок из письма к Е. Полонской от 5 июля 1924 г. Бумаги Льва Лунца не были посланы в Россию, а остались у его сестры. То, что напечатано здесь, — часть этого архива, который теперь находится в русской коллекции Йельского У-та.

*Публикация и комментарии Гари Керна*

# Б. ПАСТЕРНАК И СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

СТЕНОГРАММА  
ОБЩЕМОСКОВСКОГО СОБРАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ\*

31 октября 1958 года.  
Председательствует С. С. Смирнов.

**С. С. Смирнов:**

Товарищи, общее собрание писателей Москвы, посвященное обсуждению решения объединенного заседания Президиума Правления СП СССР, Бюро Оргкомитета СП РСФСР и Президиума МО СП РСФСР о поведении Б. Пастернака, объявляю открытым.

Если не будет возражений, есть предложение, чтобы Президиум сегодняшнего собрания избрать в составе членов Президиума Правления МО, членов бюро Оргкомитета и членов Секретариата СП СССР. Нет возражений против этого? (Принимается). Тогда прошу членов Президиума занять места.

В нескольких словах хочу коснуться истории вопроса. Дело в том, что группа московских писателей, возмущенная поведением Б. Пастернака составила письмо, которое предполагалось опубликовать в газете и которое подписало большое число московских писателей. Я оглашу фамилии, которые стоят под этим письмом. (Оглашает список).

Как видите, здесь не только московские писатели, но и те, которые в этот период находились в Москве. Это письмо должно быть опубликовано в печати, но возникла мысль: почему письмо подписано только группой московских литераторов,

---

\* Эта стенограмма получена нами с оказией из СССР. Мы печатаем ее полностью, без сокращений, без всякого исправления текста речей, а также и без комментариев, которые в данном случае совершенно излишни. Отметим только, что В. Солоухин в своей речи цитирует стихи Б. Пастернака неправильно. РЕД.

разве московская организация в целом не хочет выразить свое мнение по поводу того, что произошло в нашей среде? И было решено создать это совещание, чтобы прозвучал голос всего коллектива московских писателей.

Нам, московской организации, нельзя пройти спокойно мимо этого тяжелого факта предательства, которое произошло в нашей среде.

Теперь несколько слов по существу дела.

Мы все знаем Б. Пастернака, — некоторые лично, некоторые по наслышке. И я был бы неправ, если бы сказал, что Б. Пастернак — это тот поэт, которого знал и знает наш советский народ. Нет поэта более далекого от народа, чем Б. Пастернак, поэт более эстетствующего, в творчестве которого так звучало бы сохранившееся в первозданной чистоте дореволюционное декадентство. Всё поэтическое творчество Б. Пастернака лежало вне настоящих традиций русской поэзии, которая всегда горячо откликалась на все события в жизни своего народа.

Узкий круг читателей был уделом поэта и узкий круг друзей и почитателей, окружавший его в нашей литературе. И этот узкий круг друзей — почитателей Пастернака постепенно создавал ему какой-то ореол, и приобрела весьма широкое хождение в нашей среде легенда о Пастернаке.

Легенда о поэте, который является совершенно аполитичным, таким ребенком в политике ничего не понимающим, запершимся в своем замке «чистого искусства» и создающим там свои талантливые произведения. Говорили, что это человек глубоко аполитичный, но вполне лояльный с советской властью, даже пытавшийся что-то отразить в своем творчестве из борьбы своего народа, хотя эти попытки — это ничтожная часть его творчества. Наконец, они говорили, что это глубоко порядочный человек, это старый интеллигент с его особой, исключительной порядочностью.

Это была среда, узкий круг, окружавший Пастернака, с оханиями и аханиями по поводу его таланта и величия в литературе. Нечего греха таить, что были такие люди из друзей Пастернака, которые заявляли на заседаниях, что когда произносят имя Пастернака — надо вставать.

И вот эта легенда получила распространение не только в кругу друзей Пастернака. Эта легенда сейчас разоблачена и

похоронена произведением и поведением Пастернака. Я имею в виду историю с романом «Доктор Живаго». Этот роман, над которым много лет работал Пастернак, и который как он сам заявляет, является главным трудом его жизни, был им написан и сдан в редакцию «Нового мира». Как мне известно, товарищи, ознакомившись с этой рукописью, были поражены. Они наверняка были поражены тем, что аполитичный, ребенок в политике — Пастернак, создал произведение остро политическое, всё насквозь пронизанное политическим мотивом. Они не были удивлены художественной стороной этого произведения — это была весьма средняя проза, это произведение не было отнюдь каким-то значительным с точки зрения художественной, но вся идея, вся система философии этой вещи глубоко поразила товарищей из «Нового мира», которые считали Пастернака своим товарищем, советским писателем, советским гражданином.

Философия, вся система поведения людей не имела ничего общего с нашим советским образом мышления.

Я не буду пересказывать письма Редколлегии «Нового мира», которое было опубликовано в «Литературной газете» и которое в очень (я бы даже сказал) смягченной, исключительно вежливой и даже бережной форме говорило о недостатках всего замысла, всей философии романа.

Мне хочется только кое-что добавить от себя. Я прочитал роман «Доктор Живаго» от первой до последней страницы, и мне хочется поделиться эмоционально со своим собственным восприятием этого романа.

Читателю вообще не трудно обнаружить, кто является любимым героем автора, через каких героев писатель высказывает свои сокровенные, главные мысли, но особенно трудно обмануть нас — читателей искушенных. И мы сразу видим — где люди, служащие рупором автора. Я смело могу утверждать, что именно в образе доктора Живаго Пастернак сконцентрировал свою собственную философию. Я осмелюсь утверждать, что между доктором Живаго и Пастернаком можно поставить знак равенства. Об этом говорит вся философия Живаго, как она подносится, и говорит образ жизни существования Пастернака в нашей стране и в нашей литературе.

Какова же философия этого романа, как я воспринял этот роман?

Здесь сидят многие из вас, кто пережил, кто участвовал в Великой Октябрьской социалистической революции, в гражданской войне, в последующем строительстве, которое развернулось у нас. Здесь сидят люди моего поколения, мои товарищи по Отечественной войне, солдаты Отечественной войны. Все мы — участники 40-летней истории нашего государства, истории величественной, которой мы по праву гордимся, истории, рамки которой когда-то в 1917 г. были ограничены; можно сказать, ячейка нашего будущего общества была тогда ограничена стенами Смольного. Но мы увидели, как за 40 лет эти рамки, эти стены раздвинулись на восток и на запад. И мы знаем, что вся эта история была бы невозможна без Великой Октябрьской революции. И вы поймете чувство оскорбления, чувство настоящего гнева, с каким мне пришлось закрыть эту книгу на последней странице!

Эта книга, где любимые герои автора называют революцию и гражданскую войну, все великие события, которые происходят в их время — мировыми дрязгами, которые марксизм, идеями которого мы живем, они пытаются опровергнуть как науку, когда основной принцип нашей жизни — коллективизм назван презрительным словом — стадность. По мнению автора эта стадность делает человека ординарным, принижает его.

Мы не раз слышали эту философию от наших врагов, и это словечко «стадность» нам повторяют самые ненавистные наши враги.

Роман, где вся система образов подобрана так, что всё мало-мальски светлое, освещенное интеллектом гибнет, задавленное, растоптанное силами революции, и остаются только люди тупые, низкие, алчные, жестокие. Вся система образов этого романа подобрана именно так. Роман, где вся борьба народа в годы революции и гражданской войны за светлые идеи Октябрьской революции представлена как цепь жестокостей, казней, интриг вождей. Цепь несправедливостей — вот как всё это изображено. Я был оскорблен не только как советский человек, я был оскорблен и как русский человек, потому что ни одного светлого образа из среды русского народа не преподнес Пастернак в своем романе. Все эти образы страшные, жестокие, и у читателя остается чувство оскорбления национального достоинства.

Я был оскорблен и как интеллигент и как человек, потому



что вся философия этого романа, прикрытая маской христовлюбия и гуманизма насквозь антигуманистична. Всё в жизни людей, их исторические судьбы, всё это, по мнению доктора Живаго, который, повторяю, я глубоко убежден, в очень большой степени, если не целиком, исповедует идеи Пастернака, — всё это ничто перед интеллектом талантливого одиночки. Только этот интеллект создает ценности, только он смотрит сверху на всю эту борьбу, не участвуя в ней, уходя от нее. Только он судит с высоты своего интеллекта всё, что происходит.

Вы очевидно помните, — это было приведено в «Литературной газете» — когда доктор Живаго говорит о своих друзьях, что все вы имеете ценность только потому, что вы жили в одно время со мной, только потому, что вы меня знали.

Я, наконец, был оскорблен этим романом как солдат Отечественной войны, как человек, которому приходилось на войне плакать над могилами погибших товарищей, как человек которому приходится сейчас писать о героях войны, о героях Брестской крепости, о других замечательных героях войны, которые раскрыли героизм нашего народа с удивительной силой.

Я был оскорблен потому, что и главные и любые герои этого романа прямо и беззастенчиво проповедуют философию предательства. Черным по белому проходит в романе мысль о том, что предательство вполне естественно, что талантливый интеллигент-одиночка может перейти в любой лагерь.

Вероятно всех нас, бывших на войне, прошедших весь наш путь оскорбила сцена, когда доктор Живаго находится у партизан и когда он волей обстоятельств начинает стрелять в приближающихся белых, которым он сочувствует. Это страшная сцена, сцена оскорбляющая.

Но этой сценой не ограничивается в романе эта философия предательства. Например, одна из главных героинь этого романа прямо говорит, что когда приходили белые, то о ней заботился командующий белыми войсками, и она заявляет, что быть в одном лагере с красными могут только обычные люди, только обычные люди могут быть по одну сторону баррикад, исповедовать что-то определенное.

Таким образом, товарищи, роман «Доктор Живаго», по моему глубокому убеждению, является апологией предательства.

Я помню, когда мы говорили об этом на Президиуме, у одного товарища прозвучало сравнение доктора Живаго с Климом Самгиным. Кошунственным звучит это сравнение с Горьким. Но уж если говорить об этом то надо сказать, что Горький разоблачает Клим Самгина, разоблачает предательство, а здесь предатель возведен в сан героя и предательство воспевается как человеческая доблесть.

Естественно, что так же, как роман является актом предательства всех наших людей, всего светлого, под знаменем чего Пастернак прожил 40 лет в нашей стране, также естественно, что и всё последующее поведение Пастернака было цепью предательств.

Товарищи из редакции «Нового мира», встревоженные романом, не понимающие, желающие считать, что Пастернак был введен самым собой в чудовищное заблуждение, что это какое-то наваждение, говорили прямо о той пропасти, которую открывает этот роман. Они, наконец, передали ему письмо, которое вы читали в «Литературной газете». И вот, товарищи, вместо того, чтобы прислушаться к этим настойчивым, серьезным, дружелюбным и даже излишне бережным, как я убедился в этом после того, как прочитал роман, предупреждениям, вместо того, чтобы сделать это, Борис Пастернак продает свою рукопись за рубеж. Уже этот поступок ставит по существу Бориса Пастернака вне наших рядов, вне рядов советских писателей. Он передал эту рукопись итальянскому издателю Фельтринели, который является ренегатом, перебежчиком из лагеря прогресса в лагерь врага, а вы знаете, что нет врага хуже ренегата и что ренегат особенно сильно ненавидит то, чему он изменил.

Вы можете критиковать нас, руководство Московского отделения, вы можете высказать нам свою претензию, почему сразу после того, как Пастернак отправил эту рукопись за рубеж, совершил антипатриотический поступок, недостойный чести и совести советского писателя, — почему Пастернак не был исключен из наших рядов. Вы будете правы, поскольку наши надежды на порядочность, на честь и совесть советского писателя, которые должны были быть у Пастернака, — эти надежды наши оказались исчерпанными. Но вместе с тем мы не можем не говорить о том, что это показатель, может быть, излишней бережности к товарищу, который ошибается. Мы

тоже до некоторой степени разделяли легенду о порядочности Пастернака, и мы считали, что он одумается, что он увидит наконец всё, что он написал, в том свете, как это предстает перед читателем, что он ужаснется этому и сделает из этого вывод — заберет свою рукопись, спрячет этот роман. До последнего момента мы думали, что Пастернак одумается. Ему дали слишком много времени и возможности для того, чтобы одуматься.

Но всё это время Б. Пастернак вел нечистую игру, которая затеяна врагами. Он ждал выхода романа за рубежом. И, наконец, роман вышел за рубежом. Вы знаете, какая это была находка для зарубежной реакции, для наших врагов. Вокруг этого романа началась бешенная свистопляска. Пастернака начали объявлять самым талантливым писателем и поэтом, а до этого времени его стихи, по существу не знали. Но даже буржуазная критика сейчас уже начала говорить о художественной слабости романа, которую невозможно было не видеть. И буржуазная критика прямо писала, что этот роман не является явлением русской прозы, что в нем очень много художественных слабостей, и говорила прямо, что весь шум, поднятый вокруг этого романа — этот шум имеет политическую основу, потому что наши враги для себя в это время делали соответствующие выводы. Первое время не было еще речи о Нобелевской премии, пока не последовало давления из-за океана, только после этого вопрос о Нобелевской премии Пастернаку встал на очередь.

И Пастернак в силу своих личных особенностей оказался абсолютно неспособным понять положение, в котором он оказался. Но среди нас была легенда о поэте Пастернаке, потому и терпели и думали, что в последний момент найдутся у Пастернака остатки чести и совести писателя и советского гражданина, которые заставят его действовать правильно.

Я хочу несколько слов сказать о мужестве..... которое проявил во всем этом деле глава нашей писательской организации, председатель ее К. А. Федин, он, которого все сидящие в зале глубоко уважают, сделал всё для того, чтобы спасти Пастернака, для того, чтобы разъяснить ему всю опасность его положения.

К. А. Федин при присуждении премии Пастернаку, пошел к нему и в дружеском разговоре и во имя дружеских отношений он сказал, что, — пойми, идет речь не о литературе, тут

чистая политика. Ты оказался пешкой в игре политических интриганов и что ты стоишь перед последним рубежом, переступив который ты порвешь связи с русской литературой и русским народом.

Это была долгая беседа, в которой Пастернак начал спорить, но в конце концов он сказал, что подумает и посоветуется. И если он что-нибудь надумает, то придет к нему. Он не пришел к Федину. Премия ему была присуждена и вслед за тем в адрес Нобелевского комитета, как мы знаем из иностранных источников, была послана Пастернаком следующая телеграмма (в адрес Шведской Академии): «Бесконечно признателен. Тронут. Удивлен. Сконфужен. Пастернак». (Шум в зале, движение. Возглас: «Позор!»)

Одновременно Пастернак принял западных корреспондентов и сказал, что счастлив и что хотел бы поехать в Стокгольм получить премию.

После этого этот человек, который был всегда внутренним эмигрантом, окончательно разоблачил себя как врага своего народа и литературы. Этот акт поставил окончательно точку политического и морального падения Пастернака. Этот акт завершил круто его предательские действия.

Нельзя не упомянуть, что в отличие от других, Нобелевские премии по литературе всё чаще идут из политических соображений, ничего не имеющих общего с литературой.

Я вам напомним, что они ухитрились не заметить Толстого, Горького, Маяковского, Шолохова, но зато заметили Бунина. И только тогда, когда он стал эмигрантом и только потому, что он стал эмигрантом и врагом советского народа.

Премия по литературе была присуждена такому врагу советского народа, как В. Черчилль. Премия Нобеля была присуждена фашиствующему французскому писателю Камю, который во Франции очень мало известен, а морально представляет личность, рядом с которой никогда не сядет ни один порядочный писатель. Это Камю прислал дружескую телеграмму Б. Пастернаку. Конечно, этот факт окончательно расценен в глазах народа и показал, что все наши надежды на то, что у Пастернака осталось хоть сколько-нибудь чести и совести, оказались тщетными.

Естественно, вся советская литературная общественность реагировала на действия Пастернака, а он унижительно принял

премию, данную ему как политическому врагу нашего государства. Были опубликованы материалы, поступили многочисленные письма и идут они от возмущенной советской общественности действиями Пастернака.

В субботу приходили к нам в Союз писателей студенты и приклеили к воротам здания плакаты. На объединенном президиуме Правления Союза писателей, Оргкомитета и Московского отделения были обсуждены поступки Пастернака. Писатели из разных городов и республик с большим единодушием выражали свое гневное отношение к поведению Пастернака.

На этом объединенном заседании Пастернака не было. Пастернака приглашали на это заседание, послали повестку, но он не пришел и вместо этого прислал в адрес собрания письмо, которое я оглашу. (Зачитывает письмо. В зале шум).

Но, товарищи, я думаю, всем вам ясно, что это письмо показывает, что Борис Пастернак ничего не понял и ничему не научился. Мне хочется, просто потому, что товарищи наспех слушали это письмо, — прокомментировать некоторые места этого письма.

Может быть, оставим на совести Пастернака, что ему стало плохо и поэтому он не смог приехать, хотя прием иностранных корреспондентов оказался вполне допустимым и полезным для его здоровья!

Он считает, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные «Доктору Живаго»! Он хочет применить этот чисто территориальный признак, но я думаю, товарищи, совершенно ясно, что советского писателя мы не определяем только по территориальному признаку. Вы понимаете, что порою под советского человека маскируются враги, засылаемые к нам из других государств!

Он пишет, что: «я не ожидаю, чтобы правда восторжествовала, и чтобы была соблюдена справедливость». Я невольно подумал о том, как он пишет о стадности и, конечно, он считает нас с вами стадом, неспособным подняться до высоты его интеллекта.

Что же касается того, что он ждал (я не вникаю в сущность событий) — ждал цензурного издания, чтобы оно послужило основой для иностранного перевода. Но товарищи, это просто фокус! Он, конечно, понимал, что ренегат Фельтринелли никогда это издание не выпустит и напечатает с особым

удовлетворением эти антисоветские места, и только это даст возможность за рубежом говорить, что вот — Пастернака заставили эти места вырезать! Это, конечно, была провокационная идея. И когда он, «делая голубые глаза», говорил, что почему нельзя было выпустить некоторые неприемлемые места и три года тому назад этот роман напечатать, — то, товарищи, — вы понимаете хорошо, что это сделать было невозможно, это потребовало бы очень большой работы и большого времени, потому что вся система романа была такая. Я оставляю на его совести вопрос о самомнении. Его телеграмма подтверждает только старую русскую пословицу, что «уничуждение паче гордости».

Мне хочется остановиться на п. 7 его письма, где он говорит по поводу того, что Нобелевскую премию он может перевести в Комитет Защиты Мира. Но, товарищи, я думаю, что каждый почувствовал этот страшный торгашеский тон. Он пытается откупиться от грозящих ему неприятностей суммой денег. Он не понимает, что только предатель может мерить цену предательства в золоте, а для порядочных людей цена предательства измеряется только моральной категорией.

Этот человек, который отказывался подписать Стокгольмское воззвание (спросите у Андронникова, сколько часов он потратил, чтобы убедить Пастернака подписать воззвание), — этот человек предлагает сейчас передать в Комитет Защиты Мира деньги, получаемые ценой предательства. Это — цинизм, это — оскорбление!

Он пытается здесь намекнуть, что мы уже реабилитировали некоторых, реабилитируете и меня! Я думаю, что по этому поводу нечего говорить, что это недостойное совершенно сопоставление и не может ни у кого быть такого сопоставления, которое делает Пастернак! Одним словом, это письмо, товарищи, еще раз показало нам, что из себя представляет Пастернак, окончательно помогло всем нам выяснить его лицо.

Решение Президиума объединенного заседания было единодушным и, как вы знаете, Пастернак был лишен звания советского литератора и исключен из Союза писателей. Зная мнение многих моих товарищей по Московскому отделению, слыша многие возмущенные разговоры людей, которых до глубины души возмутил этот поступок Пастернака, вероятно, будет единодушным. Мне кажется, что наряду с осуждением это-

го поведения, этого позорного поступка, мы должны говорить о чем-то другом. Мне кажется, что этот тяжелый урок многому нас учит. Во-первых, он разбивает вдребезги какие-либо разговоры о возможности аполитичной литературы. Когда решаются судьбы народов мира и происходят огромные политические события, когда подытоживается жизнь человечества и решаются вопросы, по какому пути идти, в наше время не может быть литературы отгороженной от политики, никаких разговоров о чистом искусстве не может быть.

Есть только две стороны у баррикады, как правильно сказал на нашем заседании П. Нилин, — никакой третьей стороны быть не может. И всякая попытка сесть между двух стульев неизбежно приводит к тому, что можно сесть на стул врага и часто частичка «а» в слове «аполитичный» переходит в частичку «анти». Об этом стоит подумать кое-кому из друзей Пастернака, защитников в той или иной степени позиции чистого искусства.

И, во-вторых, мы должны прямо в лицо себе сказать, что мы допускали сами, чтобы вокруг Пастернака курили фимиам, делали из него божка, допускали положения, что при имени Пастернака надо вставать. И вот к чему это привело! Мы должны уяснить себе весь вред такого рода восхвалений, совершенно безудержных. Эти люди, которые курили фимиам вокруг Пастернака всё больше кружили ему голову.

(с места: Кто курил фимиам? Зачем скрывать здесь имена?)

Мы говорим об этом не для расправы, не для того, чтобы наказывать этих людей. Здесь большие принципиальные выводы надо сделать и здесь должен произойти какой-то очистительный разговор, а тем, кто курил этот фимиам надо собрать свое мужество и совесть чтобы выйти на эту трибуну и сказать, что всё это послужит тяжелым уроком для нас, и сегодня нам надо провести очистительный разговор по этому поводу.

Об этом надо говорить еще и потому, что этот урок должен сплотить нас. Эта подлость в наших рядах должна показать нам, как ничтожна мелкая групповая борьба, которая имеет место еще у нас, борьба мелких честолюбий литературного тщеславия, которая во многом портит нашу литературную атмосферу перед лицом больших задач, которые стоят перед литературой. Об этом мы также должны говорить сегодня.



Меня не очень сильно волнует во всем этом деле судьба самого Пастернака. Я, когда закрыл эту книгу, как-то невольно согласился со словами товарища Семичастного, сказанными им на Пленуме ЦК комсомола. Может быть это были несколько грубоватые слова и сравнения со свинством, но по существу это действительно так. Ведь 40 лет среди нас жил и кормился человек, который являлся нашим замаскированным врагом, носившим в себе ненависть и злобу. Так же как доктор Живаго, он боялся открыто перебежать на сторону врага.

Мне особенно понравилась та вторая часть выступления т. Семичастного в его выступлении на Пленуме, когда он говорил о том, что надо превратить из эмигранта внутреннего в эмигранта полноценного. Мне кажется что пусть он и фактически будет находиться в антисоветском лагере, пусть продолжает получать премии. Достаточно у нас было перебежчиков, достаточно пустолаек, лающих на нас, но как говорит одна восточная пословица: «собака лает, а караван будет идти...»

Я вспоминаю, как норвежский народ казнил писателя Кнута Гамсуна, который перешел на сторону немцев в годы немецкой оккупации, когда в отгороженный забором его дом, летели его сочинения! Народ показывал ему, что не желает держать в руках его книги.

Мне кажется, что достоин такой гражданской казни и Б. Пастернак и кажется, что нам следует обратиться к правительству с просьбой лишить Пастернака советского гражданства! (аплодисменты). И открыть ему дорогу в тот лагерь, в который он давно перебежал! Хочу остановиться еще на одном слухе, циркулирующем в последнее время и здесь, в литературной среде, и в зарубежной печати. Усиленно муссируются слухи, что якобы Б. Пастернак отказался от Нобелевской премии. Должен сказать, что ни в одной советской инстанции такого заявления нет и мы ничего об этом официально не знаем. Должен сказать, что в иностранной печати, нигде не появилась, а только комментируется телеграмма, якобы присланная в адрес Шведской Академии Пастернаком. Комментаторы пишут, что телеграмма эта такого содержания: «В связи с реакцией советского общества, я вынужден отказаться от оказанной мне чести...»

Судите сами! Это еще более подлая провокация, которая продолжает ту же самую линию предательства. Думаю, что



комментарии здесь излишни — вы сами понимаете, что каждый акт в этом направлении является новым предательством со стороны Пастернака, новой подлостью.

Вот то, что я хотел сообщить в своем докладе.

Разрешите перейти к обсуждению вопроса и первое слово предоставить Л. Ошанину.

**Л. Ошанин:**

Товарищи! Нам нужно трезво и спокойно понять то, что произошло. В той общей очень острой холодной войне, которая ведется сейчас против нас — это долго подготавливавшийся и очень тонко рассчитанный удар. Пастернак был всё время под наблюдением наших соседей, Пастернак был всё время окружен огромным количеством иностранцев, и то, что думал и делал Пастернак было очень хорошо известно за рубежом. Могли ли мы, когда узнали об этом, сказать, что это единственное, случайное, нехарактерное для всего его пути, что он другой! Каждый из нас вероятно имеет свои впечатления, каждый из нас имел свои встречи с Пастернаком. Я хочу рассказать только один маленький штрих, который меня совершенно потряс.

Это было в 1945 г. когда первый раз в Союзе писателей вручались медали «За доблестный труд в Отечественной войне». Вы все помните обстановку в стране, обстановку необычайного единства, вы помните то ощущение праздника, когда наконец прозвучал салют Победы.

Тогда, встретив в клубе Пастернака, я ему говорю: Б. Л., завтра будут вручать медаль, и в списке я видел Вашу фамилию, так что Вам надо быть здесь, в клубе, на что он ответил: «я, может быть, пришлю сына».

Это было такое пренебрежение не только к правительственной награде, но и к той огромной радости, к тому духу единства, которым был полон народ!

Я не могу забыть, как мы сидели и ожидали здесь в клубе Андронникова, который ездил в Переделкино, чтобы поставить свои подписи под Стокгольмским воззванием. Мы помним, как он много ходил перед Пастернаком, чтобы он поставил свою подпись; мы помним его реакцию на Венгерские события.

В докладе, который мне довелось делать на Московском Пленуме по вопросу поэзии, я помню, что тогда, внимательно изучив последние стихи Пастернака, я центром доклада сделал

разбор двух стихотворений — Твардовского и Пастернака, об отношении к искусству. Товарищи, которые были на Пленуме помнят этот разговор. Это было стихотворение, в котором всё было сказано, в котором было презрение к народу, ощущение себя сверхчеловеком, это было ощущение чужого человека, и я сказал тогда об этом в докладе. Я в докладе сказал, что перед нами внутренний эмигрант, после чего мне говорили: зачем же так резко?

Мы давно знаем, что рядом с нами живет человек, которого трудно назвать по настоящему советским человеком. Но за талант и необычайное возвеличение этого таланта и поднятие его на какой-то невиданный пьедестал мы возились с ним непростительно долго.

Когда мы разбирали на Президиуме этот вопрос, то мы поняли, что в этом была необычайная бережность, излишняя, как мы теперь видим, и желание сохранить человека и поверить ему.

Вы помните, что Пастернак вдруг, сочиняя разные вещи, написал несколько строчек о Ленине, и настоящих.

(Голос с места: А вы сразу умилились...)

Видимо товарищ, подавший голос, в ту пору умилялся... Он иногда выдавал советского толка стихотворения. Он жил так всё время, очень хитро пряча сущность того, что он думает, и это привело к тому, что мы непрерывно возились с ним. Это серьезный наш недостаток.

Теперь, когда мы говорим, как жить дальше, то мне кажется, что прав Сергей Сергеевич, который говорит, что это должно быть для нас хорошим уроком, что это должно привести к тому, за что мы непрерывно боремся — и очень большому чувству локтя. А вот мелкое честолюбие, о котором говорил С. Смирнов, мешает нам иногда существовать и решать очень большие вопросы.

Мне хочется призвать вас всех к очень большой и дружной работе, потому что сейчас, как никогда, мир на нас смотрит, сейчас наше с вами слово здесь на трибуне и слово за письменным столом имеет непосредственное грандиозное значение в той борьбе, которая происходит в мире. Мы все думали — что же миндальничать? Что скажут т. н. друзья за рубежом? Мы должны думать о них, но мы не должны бояться, мы не должны оглядываться как оглядывались с Пастернаком. Мы

должны нести свою правду и когда нашему народу нанесено такое совершенно необычайное оскорбление у нас не может быть никакого другого решения.

Пастернак по существу является ярчайшим примером космополита в нашей среде. У нас было много разговоров. Это настоящий законченный образец космополита. Вы, Сергей Сергеевич, сравнивали Самгина с Живаго, но Горький разоблачил Самгина, а здесь Самгин выступает в роли автора романа. Тут можно спорить точно это или не точно, но разоблаченный Горьким самгинизм здесь присутствует.

Мне кажется, что если действительно Пастернак, который всю свою жизнь по существу прожил внутренним эмигрантом, во время, когда всё больше и больше самых лучших людей мира обращают к нам свои дела, сердца, взоры — ухитрился не понять того, где он живет, если Пастернак в своем письме, которое он к нам прислал, за каждой строчкой которого стоит настоящий иезуит, где он пишет, что он нас прощает, пишет: «я знаю, что под давлением обстоятельств это сделаете, но я вас прощаю», вы слабые люди, а я сильный человек, то мы очень хорошо знаем Пастернака в других проявлениях. Мы знаем его разговор о Мандельштаме. Если этот человек не желает жить с нашим народом, если он не хочет работать на коммунизм, не понимая того, что это единственное, что есть в мире, что может спасти человечество от того пути, на который его толкает империализм, если человек последние годы находил время возиться с боженькой, если этот человек держит всё время нож, который всё-таки всадил нам в спину, то не надо нам такого человека, такого члена ССП, не надо нам такого советского гражданина!

**Н. В. Чертова:**

Есть следующее предложение по поводу состава комиссии по выработке решения собрания: — Лесючевский Н. В., Чертова Н. В., Гус М. С., Зелинский К. Л., Антонов С. П.

**С. С. Смирнов:**

Нет возражения против этого состава?

**Голоса:** Нет.

**С. С. Смирнов:** Разрешите не голосовать?

**Голоса:** Не надо.

**С. С. Смирнов:**

Позвольте состав комиссии считать принятым. Слово предоставляется К. Л. Зелинскому.

**К. Л. Зелинский:**

В прошлом году я имел возможность внимательно и, как говорится, с карандашом в руках прочитать роман «Доктор Живаго». У меня не получилось разговора с автором и не могло получиться. У меня осталось очень тяжелое чувство от чтения этого романа. Я почувствовал себя буквально оплеванным. Вся моя жизнь казалась мне оплеванной в этом романе. Всё, во что я вкладывал силы на протяжении 40 лет, творческая энергия, упования, надежды — всё это было оплевано.

И действительно, здесь дело не в отдельных поправках, которые могли быть внесены автором в роман. Для человека моего поколения, который еще помнил Пастернака где-то в окружении Маяковского, не так просто было придти к сознанию, что передо мной внутренний эмигрант, враг, совершенно враждебный идейно, человечески, во всех смыслах чужой человек.

Этот роман с точки зрения художественной представляет собой яркий образец декадентской литературы — и фрагментарность формы, и всевозможные отступления, растянута, лишние диалоги, огромное количество цитат из евангелия, из псалмов (я просто удивился, откуда такая начитанность узко церковной литературой). Он действительно наполнен пошлыми, мещанскими обывательскими анекдотами, вроде того, что марксизм — самая далекая от жизни наука и т. п. Я не хочу перечислять всю эту мерзость, дурно пахнущую, оставляющую очень скверное впечатление. Для меня это было очень странно, потому что я видел в Пастернаке поэта, художника, который опустился до такого уровня. Но дальнейшее, что мы узнали, раскрыло как-то весь подтекст и такую страшную вещь, о которой здесь правильно сказал Смирнов, — предательскую психологию, предательский комплекс во всем.

Вы должны знать, товарищи, имя Пастернака сейчас на Западе, откуда я приехал, это синоним войны. Пастернак — это знамя холодной войны. Не случайно за это имя ухватились самые реакционные, самые монархические, самые разнузданные круги. Портреты Пастернака печатают на первых страницах газет рядом с другим предателем Чан-Кай-Ши.

Вот в моих руках газетка, которая издается в Риме,

которую я только что привез, — «Дейли Америкен», издающаяся на английском языке. Видите, на первой странице портрет Пастернака и комментарии по поводу присуждения ему премии. Здесь говорится о том, что присуждение Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго» является литературной атомной бомбой против коммунистического режима. Далее говорится о том, что якобы какой-то критик назвал присуждение этой премии ударом в лицо советскому правительству. Вот как враги восприняли присуждение Пастернаку Нобелевской премии. Повторяю: Пастернак — это война, это знамя холодной войны.

Но я хочу разоблачить, рассеять ту легенду, которая создается вокруг Пастернака, о том, что якобы у нас, в советской стране не оценили этого большого художника, а что вот на Западе лучшие круги интеллигенции его высоко ценят. Это абсолютная неправда.

Я был в числе товарищей в составе советской делегации, которая участвовала на Международном конгрессе писателей в Неаполе. Там присутствовало около 400 делегатов от разных стран. Над зданием, где происходил конгресс, развевались флаги 22 государств. Там были голландцы, западные немцы, англичане, бельгийцы, французы, представители самых различных стран. Но этот конгресс проходил под знаком поисков солидарности, дружбы, создания какого-то единства. И очень интересный факт: на этом конгрессе упоминались имена не только замечательных русских классиков Толстого, Горького, Достоевского, но упоминались имена Маяковского наряду с другими писателями мира. Там были разные писатели, в том числе и вовсе не относившиеся к нам дружественно (например, в числе писателей присутствовал известный писатель академик Андрэ Шансон), но никто на этом конгрессе не произнес имя Пастернака. Почему? Да потому, что это было бы бестактно, потому что каждый понимал, что это то же самое, что неприличный звук в обществе, потому что люди, желающие найти какие-то контакты друг с другом, не могли произнести это имя. Это очень характерно. Это показывает серьезность сдвига, который происходит сейчас в мире. Я уже не говорю о нашем замечательном Ташкентском конгрессе, где тоже имя Пастернака просто не могло фигурировать. Это легенда думать о том, что якобы мы недооцениваем Пастернака, а кто-то на Западе

— лучшие ценители, рафинированные эстеты и вообще знатоки искусства высоко ценят Пастернака.

Еще несколько примеров, которые говорят о том, что Пастернак — это война, и все честные, порядочные люди и за рубежом это понимают, и те, которые не хотят раздувать пламя холодной войны, те, которые не на стороне поджигателей войны, они стремятся выразить это всеми возможными средствами. В субботу, 25 октября, в Риме Общество «Италия — СССР» — устроило в честь нашей делегации прием — встречу с римской интеллигенцией. После доклада товарища Щегловского, который дал очень выразительную картину наших контактов, международных связей, которые существуют у советских писателей с зарубежными литераторами, который убедительно показал, как широко знакомят у нас читателя с итальянской литературой, поднимается в аудитории некий критик Пауль Милан, который специализировался на том, что он был занят пропагандой Пастернака и его творчества, и задает нам такой вопрос: «Я хочу, чтобы все члены делегации (а нас было четверо), чтобы все они высказали свое отношение к Пастернаку», — надеясь, что мы, делегация, не получили инструкции из Красной Москвы и как-нибудь спутаемся. И еще задал несколько провокационных вопросов. Но мы единодушно сказали: «Нет» и «Нет» сказала аудитория, которая нам устроила овации. Тут Милану не удалось вбить клин между нами и римской интеллигенцией. Нас поздравляли и приходили пожимать нам руки.

Ко мне пришел русский священник, который присутствовал на собрании. Почему? За что? За то, что я сказал, что у Пастернака, который якобы возглавляет идеи христианского гуманизма, но что у нас в нашей стране церковь не противопоставляет себя правительству. Это показывает, что Пастернак одинок, это самый жалкий реакционный отщепенец. Американские газетенки — вот кто его поддерживает. Это невозможный анахронизм, это то, что пахнет таким нафталином, что это выпадает из всего круга умственной жизни не только нашей страны, но и на Западе.

Наша делегация стала объектом нападок со стороны буржуазных газет, в связи с этой премией, которая брошена, как атомная бомба. Писатели, не только прогрессивные, наперекор выражали нам сочувствие. К....., который устраивал прием в

честь делегации, приходил в гостиницу, чтобы подчеркнуть, что «мы с вами, друзья, не думайте, что мы в том лагере».

Я не называю имени одного итальянского писателя, не желая навлечь на него неприятности, но это видный итальянский ученый и писатель, который сделал перевод книг Пастернака на итальянский язык. Он говорил, что в эти дни, в дни после присуждения Нобелевской премии, его квартира превратилась в осажденный лагерь для буржуазных журналистов. Яркая антисоветская сенсация была организована. Но этот человек не является ни коммунистом, он запер свою квартиру и пришел к нам и сказал: я не буду участвовать. Пастернак — это война. Я не буду в ней участвовать.

Так что мы должны понять, что Пастернак, который казался нам человеком сделанным из слоновой кости, эстетом, неземным существом — оказался одним из самых ярых, самых резких выразителей именно политической борьбы. И это есть очень серьезный теоретический урок, который нам надо сделать, о том, как искусство на практике... Казалось бы, что из себя это представляет.

В заключение мне хочется сказать вот по какому вопросу, о котором здесь уже говорил тов. Смирнов — относительно окружения Пастернака, относительно некоторых из нас, которые в известной мере повинны в том, что создавали ему микроклимат, культ личности, обожания, восхваления.

Я так же, как и тов. Смирнов, считаю, что те, которые в этом повинны должны себя узнать и сказать. Это слишком серьезный урок для всех нас. Я думаю, что мы должны задуматься над вопросом о характере даже нашей воспитательной работы, потому что действительно наша иногда бережливость, дружеское отношение, они часто теряют свою принципиальную грань и начинают превращаться в ту форму либерализма, которая становится поддержкой врага. Я помню, что я сам, прочитав телеграмму Пастернака, поверил, что он будет роман переделывать.

Для нашего старшего поколения не так легко придти к сознанию, что перед тобой твой сосед — твой враг, причем очень опасный, очень извилистый, очень тонкий враг, который может под прикрытием обладания эстетическими ценностями нанести тебе удар в спину. Это человек, который держит нож за пазухой.

Об одном случае я всё-таки расскажу, о том, что окружение Пастернака прибегало к такой мере, чтобы терроризировать всех тех, кто становился на путь критики Пастернака. Так, например, когда появилась моя статья «Поэзия и чувства современности», в Президиуме Академии Наук меня встретил заместитель редактора журнала «Вопросы языкознания» В. Б. Иванов. Он демонстративно не подал мне руки за то, что я покритиковал стихотворение Пастернака. Это была политическая демонстрация с его стороны. И я хочу, чтобы эти слова достигли до его ушей, и чтобы он нашел в себе мужество выступить в печати и высказать свое отношение к Пастернаку.

Да, должна быть проведена очистительная работа и все мы должны понять на какую грань нас может завести это сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие и поддержка идет за счет зачеркивания марксистского подхода. Этот лже-академик должен быть развешен.

Товарищи, наша страна идет к великому подъему. Мы все идем навстречу XXI съезду партии, на котором будут названы цифры, о которых мечтал Ленин, цифры о том, как мы уже будем побеждать капиталистический мир.

Все люди во всем мире, на всех континентах — в Европе, Азии, Африке, все взоры лучших людей обращены к нам. И вот в этой обстановке этот мерзостный, отвратительный случай, он нас сегодня лихорадит и идет вразрез тому что происходит в мире.

Я совершенно согласен с тем, что мы должны сказать этому человеку, который перестал быть советским гражданином: «Иди, получай там свои 30 серебрянников! Ты нам сегодня здесь не нужен, а мы будем строить тот мир которому мы посвятили свою жизнь!»

(аплодисменты).

**С. С. Смирнов:**

Дорогие товарищи! Когда обсуждается такой вопрос, то не хочется торопить ораторов, но я прошу выступающих товарищей учесть, что записавшихся много, а собрание наше всё-таки не может тянуться до бесконечности.

Слово предоставляется Валерии Герасимовой.

**Валерия Герасимова:**

Товарищи! Вся эта история с Пастернаком каким-то обра-



зом совпала во времени с таким для меня важнейшим моментом всей моей жизни, как сороколетие комсомола. И вот, я хочу выступить здесь под давлением того, что я называю моим собственным убеждением. Дело в том, что в хорошем письме редколлегии «Нового Мира» (я не знаю с опозданием оно появилось или без опоздания) — книга Пастернака проанализирована довольно умно и тонко, с большими подробностями, и те моменты, которые в ней развернуты, заставили особенно остро и очень отчетливо почувствовать тот безграничный контраст между тем, что пишет Пастернак и чем жило наше поколение, которое когда-то чрезвычайно смело вошло в строительство нашей жизни, вошло в партию, вошло в строительство нашей советской литературы.

Дело в том, что на этих вечерах, посвященных 40-летию комсомола, приходилось вспоминать как раз о тех моментах, которые извращенно даны в книге Пастернака. Когда я читала страницы его «Доктор Живаго» (когда доктор вместо того, чтобы стрелять в наступающих белогвардейцев, притаившись стреляет в дерево) и лишь случайно попадает в одного — Сережу, добровольного белогвардейца, и что Сережа спасен потому, что пуля попадает в ладанку, повешенную на грудь Сережи его мамой, меня, человека, который помнит это всё и пережил — меня не могли оставить равнодушной все эти прилагательные к тем которых я помню в моей юности. Эти «выразительные и привлекательные» лица белогвардейской молодежи — я помню совершенно другими. Приходилось и слышать и говорить на вечерах комсомола о том, как эти молодые люди, выходцы из привилегированных семей, расстреливали и запарывали тех парней и девушек, которые стремились отстаивать правду нашей жизни, правду социализма, дело коммунизма.

И — интересная деталь. Когда я выходила из одного из собраний, я увидела — просто стоят люди и читают «Литературную газету». Я не могу вам сказать сейчас, кто были эти люди: были ли они рабочие и интеллигенты, — потому что у нас облик сливается одной категории людей с людьми других профессий и с интеллигенцией. И вот, я услышала, по моему, очень хорошее меткое замечание.

Один товарищ, читая как раз письмо редколлегии «Нового Мира», говорит: «Господи (или другой термин он употребил,

не помню) — и он еще сомневается, что нужна была Октябрьская революция, — так что ли выходит?!

— Да, сомневается. И по вопросу о белогвардейцах — как будто пересматривает этот вопрос.

А следующий говорит: — Да это не Доктор Живаго, а давным-давно Мертваго!» (Смех).

И, действительно, товарищи, это так. Невероятной архаичностью (я подчеркиваю это слово) поваяло на меня со страниц, которые развернуты в письме редколлегии «Нового Мира».

Или этот вопрос о массе, которую Пастернак изображает как быдло, как темную силу.

Совершенно иначе, и очень любовно решают наши советские авторы эту проблему. Разве — не так же проблемы личности и массы поставлены в «Разгроме» Фадеева? Вы помните это жалкое отребье и убогого индивидуалиста Мечика, — как он проигрывает на фоне этих «темных» и диких людей, как Морозко и его товарищи по партизанскому отряду! Ведь эта масса, пусть темная и задавленная наследием царского строя, — это великая масса, и ее величие понял даже Блок в своих «Двенадцати», когда он пишет в завуалированной форме, о своем восхищении этими матросами, которые боролись и отдали жизнь за дело революции! Вопрос этот разработан талантливо в нашей советской литературе и позорно возвращаться к старым позициям, как это пробовал сделать Пастернак.

Или вопрос о нашей интеллигенции. Нечего фальсифицировать историю и утверждать, что вся интеллигенция приняла Октябрь сразу. Конечно, это было не так, и, конечно, какая-то часть ударилась в лагерь «докторов Живаго». Всё это было; и были, наконец, и прямые враги. Но шли годы и интеллигенция морально перевоспитывалась. Некоторая часть откололась в стан наших прямых врагов, но великие идеи коммунизма сделали свое дело. Интеллигенция стала органической частью всего великого трудового народа. И когда я читала строки о том, что Пастернак видит в докторе Живаго «цвет нации», цвет духовной жизни, цвет интеллигенции, «то совсем другие образы встали передо мной».

Вспомните «Депутата Балтики», вспомните профессора Полежаева, прообразом которого был замечательный ученый

Темерязев! Вспомните, товарищи, человека, о котором я никогда не могу забыть, и мы вправе гордиться, что он в нашей среде, и мы с ним вместе сидели в зале заседаний — это великий педагог Антон Макаренко. Вот такая интеллигенция была, действительно, цветом нации. Вот та интеллигенция, к которой мы, каждый по-своему (в меру своего взлета) — вправе себя причислить.

Я скажу одно: что мне было радостно слышать, когда К. Зелинский, который бывал за границей, сказал нам, что очевидно, эта провокация не удалась. Народ и интеллигенция всего мира почуяли запах этой провокации. Но оставим мертвое — мертвым, а мы строим наше вечноживое дело в нашей советской литературе, на благо нашему живому и сильному социалистическому обществу.

(Аплодисменты)

**С. С. Смирнов:**

Сейчас объявляется перерыв. После перерыва первым выступает В. Перцов, а затем Александр Безыменский.

Председательствующий С. С. Смирнов:

Продолжим нашу работу. Слово предоставляется В. О. Перцову.

**В. О. Перцов:**

Вот уже прошло пожалуй больше недели с тех пор, как факты, которые послужили причиной созыва нашего сегодняшнего собрания, стали известны нам. Появились статьи и в «Правде» и в «Литературной газете», и то непосредственное ощущение негодования, которое было в первый момент, казалось бы должно было улечься. Но вот сегодня, когда С. С. Смирнов огласил те документы, которые не всем были известны, — лично я впервые слышу например эту омерзительную эпистолярную часть о творчестве Пастернака, адресованную туда, — я должен сказать, что чувство негодования не может улечься.

Одна вещь поразила меня, между прочим, в тех тезисах, которые были здесь оглашены. Это тот факт, что автор «Доктора Живаго» считал для себя смягчающим обстоятельством то, что он свой роман передал в иностранное издательство тогда, когда появился роман Дудинцева. Но я думаю, что это совершенно различные вещи. При всех серьезных идеологических

ошибках Дудинцева, это всё же разные вещи, над которыми следует задуматься.

Хочется отдать отчет в том, что представляет собой этот человек, который оказался предателем. Тут говорили по преимуществу люди старшего поколения, к числу которых относусь и я. Я был связан с литературной группой, к которой имел отношение и Б. Пастернак. Я встречал его в обществе В. Маяковского. Вопрос действительно не так прост, если тут предлагали выйти на трибуну тем товарищам, которые были очарованы творчеством Пастернака, — для этого были какие-то основания.

Б. Пастернак является мастером стиха. Здесь предлагали выйти товарищам, которые курили ему фимиам. Я не могу быть в этом ряду образцом того, что человек думал так, а потом стал думать иначе, я не курил ему фимиам, но никогда не думал о возможности той низости, свидетелями которой мы являемся. Я должен сказать в условиях этой чрезвычайно острой моральной атмосферы, в которой мы обсуждаем действия этой фигуры, — я должен сказать, что представления о роли Б. Пастернака в советской поэзии, как мастера, были, конечно, преувеличены. Дело в том, что если в решении нашей писательской организации говорилось о том, что Союз писателей стремился бережно охранять и помочь ему, я должен признаться, что мы всегда понимали ту сложную игру, которую вел и давал своей литературной продукции Б. Пастернак.

Здесь приводились факты о том, что Пастернака знают мало в нашей стране, знает узкий круг литературных ценителей. За пределами особо футуристически настроенных молодых людей стихи его мало известны и их не понимают. Это объясняется тем, что его стихи при том, что там всегда есть ряд эффектных строк и необычных метафор, они в целом распадаются, — в них нет того единства формы, которая делается большой идеей. У него нет великой идеи, нет чувства, которое давало бы основания для выработки цельной художественной формы.

И конечно, товарищи, разобраться нам во всем этом необходимо. Пастернак — индивидуалист. Он занят разработкой только маленьких вещей вокруг себя. Это поэзия, которую можно было бы характеризовать, как «восемьдесят тысяч верст вокруг своего собственного пупа». И эта задача, как поэтическая задача, не может рождать большого художника. Поэтому

формулировка, которую дала Шведская Академия по поводу продолжения Б. Пастернаком традиций русской поэзии и прозы — эта формулировка является просто невежественной формулировкой.

Мы не можем сказать, что то, что написано на русском языке, продолжает русские традиции, не можем считать продолжением русских традиций такой роман, как роман «Навыи чары» Сологуба, хотя он написан на русском языке и имеет известную эстетическую ценность. Или такой роман, как позорный роман «Санин» Арцыбашева, или признать русской традицией такую вещь, как эпопею А. Белого «Я...», — это бешенное исступление индивидуализма!

И потому, товарищи, мы должны отвергнуть эту формулировку и внутренне понять, что к развитию русских традиций в литературе это индивидуалистическое, антикоммунистическое творчество отношения не имеет.

Здесь тов. Смирнов говорил в своем выступлении относительно порядочности Пастернака. Я, не будучи в числе поклонников и не куривших фимиам, в молодые годы опубликовал одну статью о Пастернаке, которая мне дорого стоила, потому что мои товарищи на меня напали за эту статью. Статья эта называлась «Вымышленная фигура». Эта статья была о художественном значении Пастернака и о тех его идейных сторонах, о которых я сейчас говорю. Тогда на меня напали мои товарищи Асеев и Шкловский. Они тогда верили, что из Пастернака еще можно сделать человека.

Я думаю, что это не только вымышленная, преувеличенная в некотором отношении фигура, но это и подлая фигура. Тут вам не объявляли, и это совершенно не нужно, а в «Литературной газете» была только одна фраза из т. н. «Автобиографии» Пастернака, которая теперь, как мне известно, опубликована в Париже. Я читал эту автобиографию, он ее предлагал в качестве вступления к сборнику «Избранного» в Гослитиздат. Ничего более гнусного чем там написанное о Маяковском я не читал, а ведь Маяковский сыграл большую роль в жизни Пастернака, и если были у него когда-то человеческие вещи, те, которые были написаны в 1925 году по воспоминаниям революции 1905 года, то сам Пастернак говорил, что Маяковский сыграл большую роль в том, что эти вещи были написаны, и что там были чувства, которые там, правда, мелькнули маленьким эпизодом.

Что же он написал о Маяковском? Он в своих тезисах ссылается на какое-то письмо тов. Сталина. Повидимому это то письмо он имеет в виду, о котором он пишет в своей автобиографии. Когда я услышал эту фразу (а вы помните, что тов. Сталин назвал Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи), то я послал автору этого определения письмо с выражением благодарности за то, что он вывел меня из того ложного положения, в котором я очутился, получая признание в том, что он, Пастернак, лучший, талантливейший поэт советской эпохи. И он говорит, что у него нет сомнений! Это такое непонимание себя в литературе и в мире, которое является результатом полного разрыва с людьми, сказавшемся и в поэзии его и в поведении. Затем теперь, когда он представил свой роман, а не письмо на имя руководителя нашего правительства, в Шведскую Академию, то там его соискание увенчалось успехом, там его признали.

Я читал роман. Я должен сказать, что написанное и опубликованное в «Литературной газете» письмо редакции «Нового мира» очень точно. Там нет никаких натяжек. Тон надежды и желания что-то сделать, помочь этому человеку, только тон может сейчас вызвать возражение.

По существу это совершенно верно и потому нужно еще добавить, что это довольно нудное и насквозь обнажающее пружины идеологической схемы повествование. Самые темные, самые реакционные стороны этого позорного десятилетия, о котором говорил Горький, самые ничтожные стороны того, что называется достоевщиной, и что ни в какой мере не охватывает величия этого русского писателя, — всё это нашло отражение в этом романе. Я прочту эту цитату: «Пусть мир погибнет, лишь бы мне чай пить». Вот эта философия, она двигала пером автора на протяжении его чрезвычайно пухлого, длинного и тяжело читаемого произведения. Вот место, о котором упоминал С. С. Смирнов: «Загадка жизни — загадка смерти. Прелесть обнажения — это пожалуйста, это мы понимаем, а мелкие мировые дразги, вроде перестройки земного шара, это увольте, это не по нашей части».

Сергей Сергеевич совершенно прав, как читатель. И поверьте мне, если вы хоть сколько-нибудь признаете тот опыт, который есть в нашей критике для анализа советской литературы и литературы вообще, то могу сказать, что «Доктор Жи-

ваго» — это..... за то, что Живаго говорит, за это отвечает автор.

Что же делать с этим автором, с этим «сверхчеловеком», с господином Пастернаком! Вы знаете, что Ленин говорил: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Пастернак же держит себя так, как будто он свободен от общества, и он действительно от нашего общества свободен. Он от того общества, вот там он действительно будет слугой и там служить ему будет легко. Если это так, то нужно действительно сделать выводы, облегчить его положение — пусть переселится туда, где ему будет легко писать, где у него не будет немислимых и ужасных для нас фраз, которыми он должен был оправдывать в своем письме свое поведение.

Мне кажется, что тов. Семичастный прав. Мне и многим нашим товарищам просто даже трудно себе представить (я являюсь его соседом), что живут люди в писательском поселке, и не могу себе представить, что у меня останется такое соседство. Пусть он туда уезжает, и нужно дать ему эту возможность и надо просить об этом, что бы он не попал в предстоящую перепись населения. (Аплодисменты).

Вся эта отвратительная история с Пастернаком, конечно, не должна будет жить в нашей памяти в смысле переживаний. У нас есть хорошие задачи и думаю, что каждый из вас сейчас работает с особым подъемом, с желанием сделать как можно лучше, но уроки извлечь из этого дела всё-таки нужно.

Я скажу только об одном уроке (вообще уроков может быть больше), о том, о чем в перерыве мы говорили с товарищами, эта мысль приходила многим: мы поздно опубликовали письмо редакционной коллегии «Нового мира». Когда стало известно, что он передал рукопись буржуазному издательству, я считаю, что это уже стало общественным фактом, и тем более, когда книга вышла, тогда нужно было это письмо опубликовать, и мы вступили бы тогда в разговор с буржуазным миром в более выгодной позиции для нас. Это упущение нам нужно запомнить, и, постаравшись извлечь уроки, которыми эта история богата, давайте, товарищи, по настоящему хорошо работать.

**С. С. Смирнов:**

Слово предоставляется А. И. Безыменскому.

**А. И. Безыменский:**



Мне не понадобится много времени, чтобы сформулировать свое мнение по вопросу, стоящему сегодня в повестке дня.

В сегодняшний день длительные споры, которые велись в течение громадного количества времени вокруг фигуры и творчества Пастернака, должны быть кончены одним коротким разговором. Когда пролетарские писатели группы «Октябрь» давали в 20-х и 30-х годах жестокую характеристику социальной и эстетической сути произведений Пастернака, мы всё-таки вели с ним спор так, как будто Пастернак был внутри литературы. Когда в 1934 году на I-м съезде писателей группа пролетарских писателей, в том числе Сурков, Первомайский, я и другие, давали жесточайший бой Бухарину, объявившему Пастернака таким писателем, на творчество которого должны ориентироваться все советские писатели, когда мы тогда с трибуны I съезда продолжали давать жестокую характеристику социальной и эстетической сути произведений Пастернака, мы всё-таки разговаривали с ним так, как будто он внутри советской литературы. Сегодняшний день Пастернак своим поганым романом и своим поведением поставил себя вне советской литературы и вне советского общества. (Аплодисменты).

Дорогие товарищи! Весь этот месяц я непрерывно выступал на собраниях комсомольцев, посвященных 40-летию комсомола. Позавчера этот вечер закончился изумительным праздником во Дворце Спорта. Там было 12 тысяч человек. Это был комсомол. Это был Центральный Комитет комсомола, это были представители сегодняшнего 18-миллионного комсомола, это были представители всех поколений комсомола, всех 67 миллионов человек, которые прошли через комсомол, как сказал сам докладчик. И, товарищи, когда говорил т. Семичастный о Пастернаке и когда была бурная овация, это был голос многомиллионного сегодняшнего и всего комсомола. Что же сказал Семичастный? Давайте это прочтем:

«Пастернак настолько обрадовал наших врагов, что они ему присудили Нобелевскую премию, не считаясь с художественными достоинствами его книжонки. Этот человек жил в нашей среде, а теперь взял и плюнул в лицо народу. Пастернак — это внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом, отправился бы в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность и правительство никаких препятствий ему не чинили бы, а, наоборот, считали бы, что этот его уход от нашей среды освежил бы воздух».



Вот тут-то и была настоящая овация нашей молодости, нашей страны высокой, сушей и лучшей. В этом духе, я считаю надо принять резолюцию. Решение, которое принято об исключении из Союза, правильно, но это решение должно быть дополнено. Русский народ правильно говорит: «Дурную траву — вон с поля!» (Аплодисменты).

**С. С. Смирнов:**

Слово предоставляется А. В. Софронову.

**А. В. Софронов:**

Товарищи! Мнение единодушно и надо сказать, что мнение советских писателей единодушно не только между собой, но и с многими нашими друзьями за рубежом, даже там, где мы меньше всего предполагаем.

В июне этого года мне с группой журналистов пришлось быть в Чили, стране, с которой у нас с 1947 года нет никаких дипломатических отношений. Мне довелось провести вечер и ночь за разговором с одним очень интересным человеком — перуанским писателем, эмигрантом из Перу в Чили, очень видным перуанским писателем, который просидел 10 лет в тюрьме, а затем был выслан из страны. Этот человек не коммунист, не социалист, человек, стоящий на перепутье. В машине, когда мы с ним ехали по Вальпорайсо он сказал, что после того как появились ваши спутники и многое, что сопутствовало им в Советском Союзе, если меня спросят по какую сторону баррикад я буду, я буду с вами. Конечно мы разговаривали много и о литературе.

Нам иногда кажется, что за пределами Москвы и за пределами Советского Союза мало интересуются подробностями нашей литературы. Оказывается это не так. Даже там, в этом небольшом чилийском городе Вальпорайсо писатель Дельмаг был очень подробно информирован о некоторых событиях нашей литературы. Так, он сказал мне: — «Странно вы себя ведете с Б. Пастернаком, он ваш враг». Я книгу не читал тогда и сейчас не читал. Я говорю: — «Знаете, это очень странный человек, заблуждающийся, с ложной философией, у нас его считают несколько юродивым». Он говорит: — «Бросьте, какой он юродивый! Он совсем не юродивый. Он всю свою политическую программу — программу отрицания Октябрьской революции — изложил очень ясно, очень подробно и очень зловредно для вас, потому что эта книжка (а она распространялась до получения Нобелевской премии уже в течение полуто-

ра лет главным образом на английском и даже на русском языке) приносит здесь вред и является знаменем антисоветской пропаганды».

И мы в этом убедились не один раз — и в Сант-Яго и в Буэнос-Айресе, где задавали нам соответствующие вопросы на пресс-конференциях и т. д. Это для нас большой и тяжелый урок, он тяжелый еще и потому что мы в какой-то степени с запозданием решаем этот вопрос. Вчера я выступал в авиационной Академии, меня окружили после выступления военные и спрашивали: — Что же вы, писатели, проморгали, когда всё это было давным-давно известно... (Голоса: Правильно спросили!)

Я тоже думаю, что правильно спросили. И если бы мы все достаточно принципиальны были в этих оценках всяческих явлений вплоть до этих явлений, то мы могли бы своевременно дать правильную оценку Пастернаку.

Тут правильно говорил т. Смирнов относительно вот этого «чистого искусства».

Каждый из нас прошел жизненный путь — один пришел с завода, другой с учебной скамьи и т. д., всегда в этих случаях невольно сопоставляешь свой жизненный путь. И вот я вспомнил — откуда появилось мое понимание Пастернака. Я знал Безыменского, Жарова, Маяковского и других поэтов. И вдруг, когда я попал на курсы молодых поэтов в 1934 году (писал свои стихи, но не читал Пастернака), нам привезли Пастернака в сопровождении секретаря партийной организации, видно, как нам объяснили, на случай того, что если он не так скажет, секретарь партийной организации поправит его. (Смех в зале).

Но он ничего определенного не говорил, он говорил только и давал отрицательные оценки писателям и поэтам, в том числе и Бедному, и проявил всякого рода юродничество. Потом я был на съезде писателей в 1934 году, представлял литературную группу «Россельмаша». И для меня было непонятным всё, это не первая дискуссия, которая шла вокруг имени Пастернака. И та апологетическая оценка, которую дал его творчеству Бухарин и его все друзья, а мы все были на стороне таких товарищей, как Сурков и другие, которые выступали с отповедью Бухарину.

Мы сами иногда, честное слово, не потому что мы бываем подозрительны друг к другу и чистосердечные замечания и

советы воспринимаем не так как надо. Вот я помню обсуждение стихов Пастернака в 1944-1945 г.г. Шла война, было всё страшно, такие были сложности, а в зале Союза писателей воспевалась такая апологетика на оды Пастернака, это в тот момент, когда шла война, миллионы людей отдавали жизнь... и такая апологетика стихов Пастернака... Некоторые выступая, говорили, правда, очень мягко, что Борис Леонидович, вам надо было бы жизнь поближе узнать, вам надо быть ближе к жизни. Потом он подошел ко мне и сказал, что да, это очень интересно. И он потом ездил куда-то. Но такое богослужение, которое устраивалось вокруг имени Пастернака, нам не к лицу. И я думаю, что сейчас, когда всё это совершилось, когда очень точно названная легенда о Пастернаке пришла к логическому завершению, для нас это решение идейной, идеологической жизни.

Больше принципиальности, больше доверия в этом смысле друг к другу. Нам надо ликвидировать мелкие разногласия. Мы же, товарищи, советские писатели, стоящие на позициях нашей Коммунистической партии, Советской власти, мы прошли сорок один год, за это время каждый свое вложил в жизнь нашего народа и государства. Мелочи, как говорят, надо убить. И надо в этом смысле больше ценить друг друга.

Мы должны больше внимания обращать на нашу молодежь. Ко мне пришли два юноши — одному 20, другому 23 года. Они сказали — вы нас не пугайтесь, мы из салона Пастернака. Я сказал им, что я не пугаюсь. И они дали стихи. У каждого по 20-30 стихотворений. Среди них по одному стихотворению о целине, а остальное пастернаковский сплав. Кто эти юноши? Один с завода, другой из колхоза... Так где же встретили вы этот логический индивидуализм, антисоветчину, какой ветер вас туда занес? Я спросил — как на вас повлиял Пастернак? Они сказали, что нет, он говорит, что писатель должен служить поэзии. Я тогда понял откуда у этих неустойчивых ребятишек такое настроение. Мне потом сказали, что они ревизионисты. Но я всё-таки напечатал одно стихотворение. Это наши советские ребята.

И надо иметь в виду, что у Пастернака были знакомства, дружба, и Пастернак несомненно влиял на какую-то часть творческой молодежи. (Голоса: Правильно!) И нам нужно всем вместе и в СП развенчать эту легенду о Пастернаке, о чистом искусстве и развенчать эту легенду в сознании многих о Па-

стернаке, как о замечательном поэте. Эту легенду мы должны с вами развеять. Я тоже сидел в спортзале в Лужниках и слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака не может быть. Не хотел быть советским человеком, советским писателем — вон из нашей страны! (Аплодисменты).

**Сергей Антонов:**

Товарищи! Шведские академики словесности, в отличие от Шведской Академии, которая присуждает научные премии, с каждым годом всё больше и больше заняты делом оценки художественных произведений, которые должны войти в мировую сокровищницу искусства, это большое и светлое дело они всё чаще и чаще заменяют грязным политиканством, направленным на разжигание вражды между народами, на разжигание вражды к коммунизму и на разжигание вражды к нашей стране.

Пять мудрецов, которые заседают в Шведской Академии словесности и которые решают эти вопросы, — они уже не первый раз присуждают Нобелевские премии за литературу людям, которые на это имеют не очень много права. Для того, чтобы вести эту недостойную игру, этим пяти мудрецам из Шведской Академии словесности приходится каждый год выискивать в разных концах земного шара подходящие фигуры, — я бы сказал, с одной стороны популярные, и с другой стороны фигуры, которые были бы марионетками, петрушками для того, чтобы вести такую низкую политиканскую работу.

Чем дальше идет время, тем труднее найти такие фигуры, потому что силы мира растут, и фигуры, которым присуждаются нобелевские премии по литературе в последние годы, всё снижаются. Примером этого может служить фигура Камю — коллаборациониста французского, о котором сами французы со стыдом вспоминают сейчас.

И очень жалко, что в 1958 году такой петрушкой для того, чтобы вести грязную, антисоветскую работу — была выбрана фигура человека, который существовал в нашей советской писательской организации. Нашли фигуру Пастернака! Те 40 или 50 тысяч американских долларов, которые получил Пастернак это не премия, это благо за соучастие в преступлении против мира и покоя на планете, против социализма, против коммунизма. Вот что это такое!

И мне кажется, что Нобель перевернулся бы в своем гро-

бу, если бы ему стало известно, куда тратится сейчас его наследство (в зале шум), потому что у него было сказано в завещании о том, что, в частности, он ассигнует эти деньги за труды, способствующие торжеству дела мира.

Что же, в сущности, произошло? Что принесет это? Можно сказать попросту, чтобы было понятно: человек поставил пушку и собрался стрелять по своим, когда написал этот роман. Его предупредили, ему написали письмо — дельное и вразумительное. В этом письме было сказано, что ты, братец, собрался стрелять по своим; причем сказано было очень вежливо. Тогда Пастернак, как он пишет в сегодня опубликованном письме, — «считая шире возможности советского писателя, чем они есть», — переставил эту пушку за границу и стал оттуда палить!

Может быть, предположим, он недопонял, что он делает, но ему во французских газетах написали, и портрет его там поместили, и написали, что человек бьет по коммунизму. Тогда он после этого написал телеграмму в ответ на эту премию, что «бесконечно счастлив и горд!»

Всё это выглядит чрезвычайно тяжело. Когда говорят о «чистом искусстве» то, действительно, это чистое искусство, которое может прельстить в первое время, — это чистое искусство превращается в грязное искусство, антисоветскую клевету. В конце концов, к этому дело приходит. И вот, мне кажется, что то решение, которое мы приняли об исключении Пастернака из Союза Писателей — его приняли слишком поздно, как мне кажется. Можно было бы принять это решение год тому назад. Надо дополнить это решение — решением о том, что бы Пастернак не был не только членом Союза писателей, но не был бы советским гражданином.

(Аплодисменты).

**С. С. Смирнов:**

Слово имеет Борис Слуцкий.

**Борис Слуцкий:**

Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа Шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература?! В год

смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора «Анны Карениной». Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого он ищет поддержки!

Всё, что делаем мы, писатели самых разных направлений, прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле. (Аплодисменты).

**Галина Николаева:**

История Пастернака — это история предательства. В этой истории для меня, например, как для писателя и как для человека, является интересным один момент: является интересным то, что в ней есть своя закономерность. Это в какой-то степени доведенный до своей последней точки индивидуалист.

В этой истории как бы выявилась сущность, которая была прикрыта, не отчетливо выражена еще года два тому назад. В частности, она выглядит очень отчетливо, со всей очевидностью в какой-то закономерности сейчас.

Многие из выступавших здесь товарищей не любили и не воспринимали поэзии Пастернака. Я принадлежу к людям, которые многие его стихи любили и воспринимали. Я люблю его стихи, посвященные чувству любви к природе, посвященные Ленину, Шмидту и т. д., но несмотря на то, что отдельные строки этих стихов доходили до меня, у меня было всегда досадное чувство: почему этот человек, с таким незаурядным поэтическим даром так ограничен и замкнут в своем маленьком мире? И всегда, когда читала его, я откладывала книгу с чувством невольного огорчения и надежды...

Мне кажется и казалось, что этот одаренный человек не видит того, что делается, не выходит за пределы того мирка, где он живет, не видит людей, о которых мы пишем, людей, которые достойны высокого поэтического накала. Казалось, что Пастернак найдет какой-то другой путь, казалось что рано или поздно он придет к нему.

Письмо товарищей из «Нового Мира» слишком мягко и продиктовано, очевидно, той же надеждой, что рано или позд-

но этот индивидуалист, живущий в нашей стране, осознает необходимость другого пути.

Мы читаем роман о докторе Живаго и можем с твердостью сказать, что это такой плевок в наш народ, в то большое дело, которое делается у нас, которого трудно было ожидать даже от Пастернака.

Но всё же и у меня, когда писали об этом романе, о том, что ему присуждена Нобелевская премия и т. д., всё же теплилась еще какая-то надежда, что может быть человек придет сюда и скажет: я не хочу этой презренной премии, признаю, товарищи, что я попался в лапы реакции, — такая надежда у меня была. Но вместо этого мы получили трусливое письмо и эту телеграмму, которая ничего не меняет, — о том, что он вынужден отказаться от премии под напором общественности (а не под напором своего собственного внутреннего понимания того, что произошло!)

Этот человек ни разу не пришел ни на одно наше собрание, на которых мы взволнованно говорили о нем. Всё это вместе взятое заставляет нас быть единодушными, — т. е. не только исключить его из Союза, но просить правительство сделать так чтобы человек этот не носил высокого звания советского гражданина. Некоторые товарищи говорят, что опасно пустить его, как щуку в воду. Но мы не боимся его, не считаем его опасным, а делаем это потому, что он нам противен, мы знаем что за рубежом много у нас врагов, — пусть будет еще одним больше — дело коммунизма от этого не пострадает и мы будем продолжать строить наше коммунистическое общество. И я присоединяюсь к тому, что не место этому человеку на Советской земле (Аплодисменты).

И еще один урок для каждого из нас: всегда соблюдать глубочайший интерес к общественному мнению, к народному суждению, преданность делу социализма — это должно стать основой творчества каждого советского писателя (Аплодисменты).

### **В. Солоухин:**

Товарищи, говорят иногда, что Б. Пастернак в каких-то определенных датах своей жизни то был лойялен по отношению к нашему обществу и советской власти, то постепенно уходил от этого, проходя постепенно эволюцию отщепенца. Но мне кажется, что это неверно, так как его поэтическое дарова-

ние комнатное, камерное — само говорит за себя. Время от времени сквозь его непонятные народу строки, проскальзывали совершенно определенные вещи.

Возьмите хотя бы такие строки:

Кашне от ветра заслонясь,  
Я крикну в фортку детворе,  
Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе!

И это в то время, когда наша страна переживала какие-то трудности! Находишь у него еще другие, более конкретно выраженные вещи:

Я слежу за разворотом действий  
И играю в них во всех пяти  
Я один. Повсюду фарисейство.  
Жизнь прожить, не поле перейти.

Здесь всё очень ярко, всё выражено, и очень прямо! Это его изоляция.

Напрасно в дни великого совета,  
Где высшей страсти отданы места,  
Оставлена вакансия поэта  
Она опасна, если не пуста...

Если разобраться в этих строках, то ясно, что настоящий поэт должен находиться в оппозиции к обществу, в котором живет! Вот почему «Доктор Живаго» не является исключением в его творческой биографии. Здесь всё закономерно. Говорят, что он не понял гражданской войны, не понял революции. Но мы знаем замечательные примеры обратного, знаем, что А. Толстой, замечательный русский писатель, интеллигент и к тому же граф, — представитель класса, который не принял Октябрьской революции, — написал ярчайшие страницы о гражданской войне, сумел разобраться во всем этом. Знаем, как реагировал на это В. Брюсов, М. Горький, — культурнейший человек нашего времени. Это говорит о том, что всё это — сознательная проповедь индивидуализма, достойная внутреннего эмигранта.

Об этом же свидетельствует и то, что он не понял, что присуждение ему Нобелевской премии не является фактом со-



действия развитию культуры и искусства, а лишь политическим актом борьбы с коммунизмом. Разве этого можно не понять? Б. Пастернак совсем не так наивен, как многие из нас думают.

Некоторые товарищи высказывали мысль, что для западного читателя «Доктор Живаго» не так уж интересен, эмигрантская печать публиковала о нашей стране и о нашем народе вещи еще похлеще. Кроме того «Доктор Живаго» это вещь о двадцатых годах, по существу весьма мало интересных, — но эта книга в целом является орудием холодной войны против коммунизма... Разве не мог он это не понять, считая себя таким высоким интеллектом, этой простой элементарной вещи?

Сейчас идет разговор — поскольку он является внутренним эмигрантом, то не следует ли ему стать на самом деле эмигрантом? В связи с этим мне вспомнилась такая аналогия. Когда наша партия критиковала ревизионистскую политику Югославии, то были разговоры — а вдруг она окончательно отшатнется и уйдет в тот лагерь. И мудрый Мао-Дзе Дун в устном выступлении сказал, что этого никогда не будет потому, что американцам нужно, чтобы она была в нашем лагере.

И вот Пастернак, когда станет настоящим эмигрантом — он там не будет нужен. И нам он не нужен, и о нем скоро забудут. Когда какая-нибудь миллионерша попадет в автомобильную катастрофу, то будут о ней шуметь, а Пастернака совершенно забудут. Вот тут и будет для него настоящая казнь. Он там ничего не сможет рассказать интересного, и через месяц его выбросят как съеденное яйцо, как выжатый лимон. И тогда это будет настоящая казнь за то предательство, которое он совершил.

### **С. Баруздин:**

Товарищи, завтра исполняется неделя, как наш народ узнал о деле Пастернака, и вот об этом стоит сказать, потому что народ в том понятии, в каком мы понимаем советского человека, не знал Пастернака как писателя. Он узнал его как предателя. И нет ничего более страшного для человека, для писателя быть узанным своим народом на 41-ом году жизни Советской власти только как предатель. Вот самое позорное, что есть в Пастернаке.

Два слова о письме Пастернака. Товарищи, что можно говорить о человеке, который черным по белому в суровый час

своей жизни пишет: «честь оказанную мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому...»

Вот всё, что есть советского в Пастернаке, только, то что он живет в России, где есть Советская власть. Пастернак об этом сам сказал и наверняка это письмо будет известно за пределами нашего собрания. Что можно после этого требовать? Есть хорошая русская пословица: «Собачьего нрава не изменишь!». Мне кажется, что самое правильное — убратись Пастернаку из нашей страны поскорее. (Аплодисменты).

**Л. Мартынов:**

Товарищи, ввиду того, что у нас здесь присутствующих не расходятся мнения в оценке поведения Пастернака. Все мы хотели помочь Пастернаку выбраться из этой так называемой башни из слоновой кости, но он сам не захотел из этой башни на свежий воздух настоящей действительности, а захотел в клоаку.

Вопрос ясен. Что тут я могу добавить? Несколько дней назад мы были в Италии, в той стране, где впервые был опубликован роман и где люди, таким образом, имели время с ним ознакомиться, о нем подумать, в нем разобраться. И действительно, когда во Флоренции один научный работник в беседе со мной резко высказался против романа, сказал, что Пастернак ничего не понял в том, что произошло в мире, не захотел понять Октябрьской революции — можно было подумать, что это личное мнение одного итальянца. Но когда в Риме в многолюдном зале большинство присутствующих встретило аплодисментами нашу советскую оценку всего этого дела, и когда многие повставали с мест и пошли, не желая слушать запутанных возражений нашего оппонента (кстати, единственного), когда люди разных возрастов и профессий окружили нас, выражая одобрение, то не было никакого сомнения в этой оценке. Я уверен, что так дело обстоит и будет обстоять повсюду. Живые, стремящиеся к лучшему будущему люди, не за автора «Доктора Живаго». Если Пастернаку и кружит голову сенсационная трескотня известных органов заграничной печати, то большинство человечества эта шумиха не обманет, и как правильно заметил Солоухин, интерес к этой сегодняшней, вернее, уже вчерашней сенсации вытеснится иной сенсацией, но интересы, симпатии к нашей борьбе за лучшее будущее,

за благополучие человечества не остынут, а будут расти с каждым днем.

Так пусть Пастернак остается со злопыхателями, которые льстят ему премией, а передовое человечество есть и будет с нами.

### **Б. Полевой:**

Товарищи, мне нет надобности повторяться потому, что все товарищи, которые прошли через эту трибуну в выводах своих сказали то, что я наметил для того чтобы сказать здесь. Мне только хочется сказать вам, как человеку, которому по роду своих писательских обязанностей приходится слушать и читать записи зарубежных передач, о том, как в стане самых оголтелых врагов оценивается роман Пастернака и его награждение.

Вот заметка «Голоса Америки» — «Антикоммунист в коммунистическом лагере». Вот заглавие из западно-германского журнала «Дер Штерн» — «Самый большой удар по коммунизму». Вот заглавие из приложения к «Нью-Йорк Таймс» — «Крупнейший удар по советской культуре».

Но что же они, люди, которые всё это инсценировали, инспирировали, которые подняли пустую книгу, они знают, что они замыслили и радуются этому делу. Горячая война, которая отшумела знала своих предателей. Был такой генерал Власов, который вместе со своими приближенными людьми перешел в стан наших врагов, воевал против нас и как предатель закончил свою отвратительную жизнь. Холодная война тоже знает своих предателей, и Пастернак, по существу, на мой взгляд, это литературный Власов, это человек, который живя с нами, питаясь нашим советским хлебом, получая на жизнь в наших советских издательствах, пользуясь всеми благами советского гражданина, изменил нам, перешел в тот лагерь и воюет в том лагере. Генерала Власова советский суд расстрелял (с места: — повесил), и весь народ одобрил это дело, потому что, как тут правильно говорилось, — худую траву из поля вон. Я думаю, что изменника в холодной войне тоже должна постигнуть соответствующая и самая большая из всех возможных кар. Мы должны от имени советской общественности сказать ему: «Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом». (Аплодисменты).

### **С. С. Смирнов:**

Дорогие товарищи! Поступили настойчивые предложения

прекратить прения. Я должен сообщить собранию, что выступило 14 человек. У нас еще много записавшихся. Записались Евгений Долматовский, Сергей Васильев, Михаил Луконин, Галина Серебрякова, Павел Богданов, Павел Арский, П. Лукницкий, Семен Сорин, В. Инбер, Нина Амегова, Владимир Дудинцев, Раиса Азарх, Кугультинов (от имени слушателей высших литературных курсов).

**Голоса:** Дать слово Дудинцеву.

**С. С. Смирнов:**

Я, как председатель собрания считаю недемократичным, почему мы дадим слово Дудинцеву и не дадим слово ораторам, которые записались в прениях до него. Это явное нарушение демократии.

**Голоса:** Его задевали здесь.

**С места:** Пастернак в своем письме поставил знак равенства между своим романом и романом Дудинцева.

**С. С. Смирнов:**

Никто из выступавших здесь безусловно не пытался делать такое сопоставление, и это сопоставление пусть остается на совести Пастернака. Но я считаю, что элементарный демократизм требует: или прекратить прения или продолжать.

Есть предложения прекратить прения. Голосую.

Кто за то, что бы продолжать прения? (Меньшинство).

Кто за то, что бы прекратить прения? (Очевидное большинство).

Кто за то, что бы дать Дудинцеву слово? (Меньшинство).

Очевидное большинство за прекращение прений.

Я должен сообщить вам, что в Президиум поступили многочисленные записки, в которых товарищи сочли нужным присоединиться к протесту по поводу действий Пастернака и выразили свои патриотические чувства. Такие записки прислали Ирина Левченко, Василий Кулемин и др. (Зачитывает список). Все они горячо поддерживают тон нашего собрания и всё, что на нем говорится. Руководство Союза писателей и Оргкомитет поручил мне довести до вашего сведения, что в Союз писателей и в редакцию газет и журналов непрерывно поступают телеграммы от писательских организаций областей, краев, республик, в которых выражается возмущение действиями Пастернака и поддерживается решение Объединенного Президиума об его исключении.

Разрешите для оглашения проекта резолюции предоставить слово Н. В. Лесючевскому.

(Лесючевский зачитывает проект резолюции). (Аплодисменты).

**С. С. Смирнов:**

Видимо, ваши аплодисменты надо считать принятием резолюции за основу. Возражений нет? (Нет). Какие будут поправки к резолюции?

**Тов. Болотин:**

Отличается ли эта резолюция от того письма, о котором вы говорили в начале собрания?

**С. С. Смирнов:**

Отличается. Это самостоятельная резолюция.

**Тов. Болотин:**

Вы же предлагали, чтобы к этому письму присоединились товарищи.

**С. С. Смирнов:**

Я считаю, что эта резолюция, которая будет помещена в печати, представляет собой мнение Московской организации, и это будет более правильным и более весомым. Письмо написано до исключения Пастернака из членов Союза.

**С места:** — Мне кажется, что в резолюции слово «космополит» надо заменить словом «предатель».

**Н. В. Лесючевский:**

В этом проекте резолюции слово «предатель» присутствует и слово «предательство» тоже присутствует, но человек, предающий свою Родину и идущий на службу к международной реакции, является антипатриотом, космополитом.

**Голоса:** Правильно.

**С. С. Смирнов:**

Таким образом, если я правильно понял, то поправку собрание не приняло.

**Р. Азарх:**

В резолюции нужно сказать: «Творческое собрание писателей просит Советское Правительство лишить Пастернака советского гражданства».

**С. С. Смирнов:**

Я думаю, здесь явно выражено наше отношение и дело Советского правительства принять окончательное решение.

**Н. В. Лесючевский:**

В резолюции написано так: (зачитывает соотв. пункты резолюции).

**А. П. Казанцев:**

По-моему это недостаточно сказано. Тут в форме вопроса стоит: «Кому он нужен?» Мне кажется, что надо сказать, что он нам не нужен, и мы должны просить правительство, чтобы был сделан вывод.

**Тов. Лесючевский:**

Действительно начинается с вопроса, а потом кончается ответом — «пусть он станет космополитом...»

**Тов. Трифонова:**

Мне кажется, что слово «изгнанник» звучит тут каким-то сочувствием. Есть предложение — заменить словом «эмигрантом».

**С. С. Смирнов:**

Вы слышали поправку А. П. Казанцева. Я считаю, что принято в той форме как нужно. Есть ли присоединившиеся к поправке Казанцева? (голоса с мест: есть).

**С места:** Вы сказали в своем сообщении об этом же и Ваши слова были встречены овацией. Голосуйте два предложения.

**С места:** Почему Советское Правительство должно решать само, без нас. Мы должны просить Советское Правительство. И надо так и записать: «Просить Советское Правительство...»

**С. С. Смирнов:**

Есть два предложения.

«Просить Советское Правительство о лишении Пастернака Советского гражданства». (Аплодисменты).

Голосую: Кто за то, чтобы вставить в резолюцию эту фразу, с таким обращением к Советскому Правительству, прошу поднять руку. Кто против? (1). Поправка принимается. Есть ли еще поправки?

**С места:** В резолюции есть такое место, что Пастернак давно оторван от нашей действительности, от народа. Фраза эта неправильная, так как он не был никогда связан с народом и действительностью.

**С. С. Смирнов:**

Товарищ говорит, что Пастернак никогда не был связан

с нашей действительностью. Мы попросим зачитать тов. Лесючевского как записано в резолюции.

**Тов. Лесючевский:**

«...Давно оторвавшийся от жизни и народа, самовлюбленный эстет и декадент...»

(Голоса: Правильно сказано).

**С. Смирнов:**

Может быть указать: всегда оторванный... Какие будут предложения? Есть ли необходимость вносить изменения в этот пункт? Есть предложения согласиться с редакцией, которая была зачитана. Нет возражений? Принимается. Еще какие будут замечания, поправки?

**В. Инбер:**

Эстет и декадент — это чисто литературные определения. Это не включает в себе будущего предателя. Это слабо сказано.

**С. Смирнов:**

По-моему это сказано очень определенно. Есть ли другие поправки? Нет? Какие будут предложения? (Голоса: — В целом!). Кто за принятие этой резолюции в целом, прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Резолюция принимается единогласно.

(Аплодисменты)

Товарищи, разрешите объявить наше собрание закрытым.

## ДЕЛО КРАВЧЕНКО\*

Когда Виктор Кравченко в июле 1943 г. приехал из России в Вашингтон в составе советской Закупочной Комиссии, у него уже было твердое решение порвать с советской службой. Решение это созревало постепенно в течение шести лет, прошедших после его ареста органами НКВД и после всего пережитого за это время. Он сознавал, конечно, какие трудности и лишения встретит он на этом пути. У него не было друзей, а знакомства его ограничивались несколькими сотрудниками по комиссии и членами коммунистической ячейки в Вашингтоне. Всё это были партийные карьеристы, люди, жившие под вечным страхом и вполне советские.

Но члены Закупочной Комиссии соприкасались и с несколькими беспартийными, работавшими в качестве переводчиков, техников, бухгалтеров. Этих людей из другого мира члены комиссии явно чуждались. Кравченко прислушивался к их разговорам, наблюдал за их поведением. И постепенно пришел к мысли, что при помощи этих людей ему удастся найти путь в несоветский мир. С большой осторожностью он выработал план сближения с одной из переводчиц его отдела — Ритой Холидэй. Кравченко слышал в своей коммунистической ячейке, что с Ритой Холидэй надо быть очень настороже.

По воскресеньям Кравченко стал заходить в библиотеку Конгресса. Там он стал просматривать писания русских эмигрантов. Его поразило, что во многих книгах и журналах он находил точное и ясное изложение собственных мыслей и критику сталинской системы.

Однажды в понедельник мисс Холидэй случайно спросила его, как он провел воскресенье. Кравченко решил рискнуть и рассказал ей о своих посещениях библиотеки, о книгах, попав-

---

\* Эти воспоминания Д. Ю. Далина были напечатаны по-английски в журнале «Modern Age» (т. 6 № 3) летом 1962 г. По-русски они публикуются впервые. Мы печатаем их с любезного разрешения вдовы Д. Ю. — Л. Я. Далиной и редакции «Modern Age». РЕД.



шихся ему там и о высказанных в этих книгах мыслях. Он хотел узнать, выдаст ли она его, как полагалось каждому советскому служащему. Но прошло довольно много времени и ничего не случилось. Когда позднее, встречи Кравченко с мисс Холлидэй участились, его доверие к ней возросло. И наконец Кравченко попросил ее помочь ему встретиться с политическими эмигрантами, говорящими по-русски. Рита устроила ему встречу со мной.

Однажды вечером в конце января 1944 г. в моем доме появился человек лет 35-40, высокого роста, с темными волосами. Он назвал себя Владимиром Сергеевичем Грозовым. Под этим именем мы знали его до тех пор, пока он не открыл нам свое настоящее имя. Я ожидал посещений Громова с противоречивыми чувствами. К тому времени у меня уже была вполне установившаяся репутация анти-коммунистического писателя. Казалось более чем странным, чтобы советский служащий решился приходить ко мне в мой дом, если он, конечно, не секретный агент НКВД. А если это было так, то какова же настоящая цель его посещений? Эта мысль долго не давала мне покоя. Во время своего первого визита, Кравченко не задавал мне никаких вопросов. Большую часть времени он говорил сам, рассказывая о своей жизни в России, о коммунистической партии, о коллективных хозяйствах, о промышленном предприятии, директором которого он был до войны, и о своих переживаниях в связи с арестом в 1937 г. Он сказал мне, что его работа в Закупочной Комиссии требует частых поездок в Нью Йорк, где он должен следить за погрузкой пароходов, отправляющихся в СССР. Только в самом конце разговора он открыл нам свое намерение порвать с Советским Союзом и остаться в США. «Годами», — сказал он, — «я готовился к этому. Я давно хотел уехать за границу, чтобы там рассказать правду о настоящем положении в России».

На следующий вечер он опять пришел и оставался до поздней ночи. Чем больше он говорил о себе, тем более интересным становился он для меня. Но всё же мои подозрения не были окончательно рассеяны. Он сказал мне, что его жена, против своего желания, связана с НКВД. Он хотел, чтобы она уехала вместе с ним, и они могли бы бежать вместе. Как-то раз он упомянул, что не исключена возможность, что наступающим летом его могут отозвать в Россию. Понемногу его

биография и окружение становились для меня ясны. Сын железнодорожного рабочего, он не мог получить хорошего образования. В то время, когда он изучал инженерное дело, Технический Институт служил одним из объектов хаотических советских экспериментов в области учебного дела. Поэтому Кравченко не получил тех знаний, опыта и широкого кругозора, которые были у молодых русских инженеров дореволюционного времени. По его собственному признанию он был верным и преданным членом партии. Когда он говорил со мной, я убедился, что многое из воспринятого им в молодости всё еще оставалось для него живым. Несмотря на личный горький опыт и несмотря на ненависть к Сталину, к НКВД, к колхозной системе, он не мог, например, представить себе хозяйственный строй будущей России, основанный на частной собственности. Также не допускал он возможности и старого политического порядка.

Кравченко очень ценил жизненный комфорт и культуру в обращении между людьми. Не без гордости сказал он нам, что его жалование в Москве доходило до 3.000 руб. в месяц. Но в то же время он очень сочувствовал низшим слоям общества и верил, что в один прекрасный день социальные и политические реформы в Сов. Союзе уничтожат бедность и притеснения. Он был мне интересен, я видел в нем одного из тысяч представителей новой русской интеллигенции, совмещавшей в себе стремление к свободной и спокойной жизни с внушенными им общественными идеями, которые (верные или неверные) но будут руководить ими дальше, после исчезновения всех следов сталинщины.

Через неделю-две Громов вернулся в Нью Йорк и опять провел несколько вечеров у меня. Теперь он был занят планом бегства, в котором должны были быть разработаны все подробности. Один важный вопрос особенно его беспокоил. Въехав в Америку как советский служащий, не подвергнется ли он депортации, если оставит эту службу? Лично я не сомневался в том, что ему разрешат остаться в качестве политического эмигранта. Но ему моей уверенности было мало и потому мне пришлось найти для него более авторитетных покровителей.

Взяв на себя эту задачу, я всё же не мог вполне разгадать этого человека. Советский работник, думал я, проживший всю жизнь в России, член партии в течение 15 лет, а может быть и

сейчас находящийся под покровительством Вашингтонского НКВД, регулярно посещает «реакционера» и с ним обсуждает план своего бегства? Не является ли он агентом-provokатором, подосланным советским посольством с тем чтобы «разоблачить» меня и некоторых других лиц, которые будут ему помогать.

В конце февраля Громов сказал мне, что у него некоторое время не будет дел в Нью Йорке, и потому он не может встречаться со мной. Для разработки же плана бегства он просил меня встретиться с ним в небольшом городке в Пенсильвании, где он проведет два дня. Он обещал позвонить мне из Вашингтона и сообщить о подробностях предстоящей встречи. После телефонного разговора с ним я выехал поездом в Ланкастер, Пенсильвания. Идя в его отель, я решил, что нам лучше вести наши переговоры в вестибюле, не поднимаясь в его комнату. Я всё еще не был уверен, что эта встреча не последний этап: подстроенной им для меня ловушки. Но вестибюль оказался полон людьми, которые пили, курили, громко разговаривали, так что там вести наши переговоры было нельзя, и волей-неволей я должен был согласиться подняться на четвертый этаж в его комнату. Мой страх оказался напрасным: Громов действительно был занят исключительно подготовкой плана бегства. В течение нескольких часов мы обсуждали различные вопросы. Громов откровенно высказывал свои опасения относительно легализации своего будущего положения и материальной возможности жить. Я спросил его, когда он думает осуществить свой план бегства. Он ответил, — приблизительно в течение ближайшего месяца, дальше откладывать рискованно, из-за возможности его вызова в Россию.

Когда мы расстались, я стал обдумывать свою роль в дальнейшем проведении дела Громова. Я решил повидать Вильяма Буллита, бывшего американского посла в СССР, который был одним из немногих знакомых мне видных американцев. Буллит можно было вполне довериться. Атмосфера войны не вскружила ему голову, и я был вполне уверен, что он не «выдаст нас нашему великому союзнику». Выслушав мой рассказ, Буллит оказался не расположен высказать свое мнение. Он долго говорил с кем-то по телефону и, вернувшись, спросил меня, где он мог бы встретить меня на следующее утро. «Некоторые организации должны будут заняться Громовским делом», сказал он загадочно. Это было всё.

На следующее утро у меня была беседа с темноволосым человеком лет 35, довольно неприятным в обращении. Он назвал свое имя — Уатсон и сказал, что пришел по поручению г-на Буллита. Дж. Эдгара Хувера он назвал своим начальником. Я повторил ему вопросы, ответы на которые интересовали Громова. Слушая меня некоторое время, Уатсон вдруг внезапно и резко прервал меня, заявив, что никакого Владимира Громова нет ни в Закупочной Комиссии, ни в каком-нибудь другом советском учреждении в Америке.

Как и Буллит, Уатсон отказался от всяких комментариев. Я объяснил себе его сдержанность тем, что он тоже подозревал Громова в шпионской игре. Уатсон сказал только, что по всей вероятности некоторые лица пожелают меня увидеть. Таковы были скудные результаты моей поездки в Вашингтон.

В середине марта «Громов» снова появился. Он был недоволен моими переговорами с Эф-Би-Ай и спросил у меня имя и адрес Уатсона. Теперь он сообщил мне, что его настоящее имя Виктор Кравченко.

Новый вопрос беспокоил теперь Кравченко: надо ли ему опубликовать о своем бегстве, поместив политическое заявление в печати или же лучше незаметно скрыться, без всяких объяснений, отослав свои документы советским властям по почте. В первом случае обоснованное политическое заявление привлекло бы внимание советской власти, а это могло бы угрожать его жизни. Во втором, — его исчезновение не потребовало бы усиленных розысков его и не дало бы никаких указаний, в каком направлении розыски могут быть направлены. Он всё еще не был уверен, что правительство США окажет ему достаточное покровительство, если он выступит с публичным заявлением. А с другой стороны возможность простого исчезновения была малореальна. Советское посольство постарается, конечно, очернить его в глазах американцев, приписав ему либо растрату либо какие-нибудь другие преступления, вроде взятки от американских клиентов закупочной комиссии и этим объяснит его бегство. Тогда Кравченко пришлось бы представлять опровержения, но будут ли они достаточно убедительны? Если бы после всего этого он получил разрешение остаться в стране, всё же имя его было бы уже запятнано. НКВД — большой знаток таких дел, и единственный способ спастись от него — это взять инициативу в свои руки. Я убеж-

дал его поставить себя под покровительство американского общественного мнения. Не окончательно убежденный и в нерешимости Кравченко уехал обратно в Вашингтон.

Со своей стороны агентство Эф-Би-Ай тоже не решалось принять какое-нибудь окончательное решение в отношении Кравченко, не вполне ему доверяя. Он мог оказаться советским шпионом и сообщить советским властям, какие «методы» применяются Эф-Би-Ай для завлечения советских служащих в «американские сети». Но Кравченко не мог понять этих опасений Эф-Би-Ай и объяснял их нерешительность как отказ в его просьбе. Поэтому, чтобы выяснить положение, он избрал опасный путь. Не говоря мне ни слова он позвонил Уатсону, назвал себя и просил назначить свидание в тот же вечер. Он сознавал рискованность своего шага, но, тем не менее вошел в помещение Эф-Би-Ай на Пенсильвенском авеню и пробыл там от 7 до 11 час. вечера. Это было между 15 и 20 марта 1944 г. Разговор велся в дружеском тоне, но всё же Кравченко не получил от Эф-Би-Ай ясного и безоговорочного ответа и тем не менее он теперь твердо решил бросить свою службу (1-го апреля. Эта дата была удобна потому, что приходилась на субботу, и Кравченко мог использовать для своих дел два свободных дня.

Моей следующей задачей было найти путь в печать. Я связался с Джоозефом Чаплиным из «Нью Йорк Таймс», и, не называя имени и даты, рассказал ему о предстоящем бегстве. Я спросил, согласится ли «Таймс», не взирая на дружбу военного времени, напечатать такое анти-коммунистическое заявление советского служащего? Чаплин высказал уверенность, что «Таймс» это сделает, особенно если это будет напечатано только в «Таймс».

Следующие дни были небогаты событиями. В субботу 1-го апреля Кравченко пошел к бухгалтеру Закупочной Комиссии (контора была открыта по субботам полдня), получил свое жалованье, при чем тщательно рассчитался в каждом пенни, так, чтобы его не могли обвинить в каких-нибудь присвоениях. В этот день он жаловался своим коллегам на головную боль и лихорадку. Они посоветовали ему (на что он и рассчитывал) остаться несколько дней в постели. Он согласился с этим, прибавив, что из-за этого нездоровья он, возможно, не придет в понедельник на работу. После обеда Кравченко уложил свои

два чемодана, дождался наступления темноты и пошел на вокзал. Около входа на вокзал он увидел советского полковника, который расхаживал взад и вперед. На секунду окаменев, Кравченко быстро проскользнул мимо него, вошел в вагон поезда на Нью Йорк и просидел там в течение 4-х часов поездки, которая вводила его из советского рабства к свободе.

Я встретил Кравченко на Пенсильвенском вокзале, и мы поехали на такси в гостиницу, где я заказал для него небольшую комнату. Когда мы вошли в нее, Кравченко включил свет маленькой лампы и вскрикнул: «Но ведь это же гроб... это комната только для самоубийц!» Я пытался убедить его, что нужна экономия, и что это только временное место, но он всё повторял: «Так вот как начинается моя новая жизнь!»

На следующий день Кравченко и Чаплин встретились у меня, чтобы составить политическое заявление. Виктор писал текст, а Чаплин переводил. Этот процесс сопровождался многими стычками между ними и взаимными уступками. Кравченко часто раздражался, становился агрессивен. С своей стороны, Чаплин, который привык к быстрой газетной работе, тоже становился раздражительным. Всё это меня очень волновало.

До этого времени я знал Кравченко только по его собственным захватывающим рассказам, но не представлял себе, что жизнь в СССР сделала его таким вспыльчивым и даже озлобленным. Теперь, когда я видел его спорящим об отдельных словах, резко отвергающим вносимые поправки, настаивающим на мелочах, я невольно задавал себе вопрос: как же этот крайне нервный человек, без знания английского языка, без денег и фактически без друзей сможет устроить свою жизнь в Америке? Я чувствовал на себе огромную ответственность за него, за самое его существование.

В тот вечер, когда Чаплин и Кравченко продолжали свои дискуссии, я позвонил Юджину Лайонсу и просил его о немедленном свидании. Выслушав мой рассказ, Лайонс заметил, что условия военного времени требуют особой осторожности по отношению к советским властям и может случиться, что жизнь Виктора действительно не будет достаточно безопасна. Поэтому Лайонс советовал ему вернуться к своим соотечественникам, если это еще не поздно.

Я вернулся домой в тяжелом настроении. Мнение Лайонса в точности отражало и мое чувство и утверждало меня в моих

опасениях. Я решился откровенно передать Виктору наши соображения и открыть ему глаза на истинное положение вещей. Но как это ни странно, в глубине души у меня была и какая-то надежда на то, что он не даст убедить себя и не откажется от своего намерения.

Когда я пришел домой, Чаплин уже ушел, забрав с собой написанное заявление Кравченко. Застав Кравченко одного, я начал говорить: я обрисовал ему непрочность его будущего положения, все предстоящие затруднения и рискованность всего этого предприятия. Наконец я предложил отвезти его на вокзал, и проводить обратно в Вашингтон, пока никто еще не заметил его отсутствия. Но он ответил категорически: «нет, ни за что!» Это «нет» поставило точку нашим разногласиям, не допуская больше никаких разговоров на эту тему. Кравченко бесповоротно отверг мои указания. Как я уже сказал, его решение дало мне какое-то облегчение, я был почти счастлив за него и за себя. В этот же вечер, по его настоянию, я взял его к себе на квартиру, где он и остался жить пока мы не нашли для него другое более удобное и безопасное пристанище.

Следующий день был понедельник. В этот день Кравченко должен был не явиться на работу по болезни, а потому его отсутствие и не было замечено начальством. Его заявление в печати еще не появилось. Этот день прошел без всяких происшествий, а после наступления темноты мы пошли погулять, не сознавая, что это была в сущности последняя ночь, когда Кравченко оставался обыкновенным заурядным человеком и в то же время последняя ночь, когда он мог себя чувствовать в безопасности. Поздним вечером мы остановились у киоска, чтобы купить очередной номер «Нью Йорк Таймс» от вторника 4-го апреля. На первой странице, на видном месте было помещено заявление Кравченко. Приведу часть из него:

«В течение многих лет я честно работал для народа моей страны на службе у советского правительства и мог наблюдать различные стадии развития его политики. Ради интересов Советского Союза и его народа я старался обходить молчанием многие отталкивающие и тревожащие меня факты. Но дальше я не могу молчать. Интересы войны, а также интересы моего страдающего измученного народа заставляют меня умалчивать о некоторых вещах, но в тех же интересах я должен выска-



заться по поводу основ политики, проводимой теперь советским правительством и его вождями, поскольку она вредит делу войны и разрушает надежды всех народов на новый международный порядок всеобщего мира.

Я не могу больше переносить двусмысленные политические шаги, направленные якобы к сотрудничеству с США и Англией, а в то же время другими способами исключаяющие возможность такого сотрудничества.

Действительные планы и цели советского правительства совершенно отличны от официально заявляемых и находятся в противоречии с интересами и нуждами русского народа и с теми целями за которые борются Объединенные Нации. Настаивая на необходимости введения демократического строя в странах, освобожденных от фашизма, советское правительство в своей стране не сделало ничего для гарантии элементарных свобод для русского народа.

Русский народ, как и раньше, находится в состоянии крайнего угнетения и подвергается всевозможным жестокостям, в то время как НКВД (советская секретная полиция) действуя посредством тысяч шпионов пользуется неограниченной властью над народами России. В странах, освобожденных от нацистских вторженцев, советское правительство устанавливает свой политический режим беззакония и насилия; тюрьмы и концлагеря продолжают действовать, как раньше. Надежды русского народа на политические и социальные реформы, возникшие в начале войны, оказались пустой иллюзией.

Я утверждаю, что русский народ, больше чем какой-либо другой, нуждается в получении элементарных политических свобод, подлинной свободы печати и слова, свободы от нужды и страха. То, что русские люди получили от своего правительства было только фальшивой подделкой этих свобод. Годами русский народ жил в постоянном страхе и нужде. Русские люди заслужили новый строй принесенными неизмеримыми жертвами, которые спасли страну и существующий строй причем нанесли фашизму решительные удары, определившие исход войны.

Будучи знаком с методами употребляемыми советским правительством в борьбе с политическими противниками, я не сомневаюсь, что эти методы будут применены теперь против меня — методы клеветы, провокации, а возможно и хуже. Я заявляю, что никогда не совершил никакого поступка, могу-



щего нанести вред моему народу, правящей партии или советскому правительству, и всегда старался выполнить свой долг перед моей страной, моей партией и моим народом честно и добросовестно.

Я надеюсь иметь возможность продолжать служить моим опытом и энергией делу войны. Потому я отдаю себя под потрясительное американское общественное мнение».

Во время одного интервью Кравченко добавил: «Насколько я не могу вообразить Черчиля членом коммунистической партии, настолько же нельзя представить себе Сталина без Коминтерна или его сущности. Коминтерн продолжает действовать другими методами и в другом виде».

Заявление Кравченко вызвало сенсацию. Оно произвело потрясающее впечатление в советских кругах в Вашингтоне. Мы скоро узнали, что в отделе Закупочной Комиссии, где работал Кравченко, начиная со вторника вся работа прекратилась: люди выбегали из здания, снова вбегали; происходили небольшие конференции; непрерывно шли телефонные вызовы по поводу «предателя»; все были возбуждены и, как и предполагалось, возмущены. Многие из его сослуживцев и старших работников не без основания испугались за свою судьбу, т. к. по советской традиции кого-то нужно было сделать за это ответственным. Точная мера наказания «козлам отпущения» осталась неизвестной. Известно только, что несколько человек из начальства Кравченко и партийных руководителей были отправлены в Москву и никогда не вернулись.

Как только заявление Кравченко появилось в «Таймз», г. Уатсон позвонил мне из Эф-Би-Ай с настойчивой просьбой, немедленно указать им местопребывание Кравченко. Группа людей из нью-йоркского отдела Эф-Би-Ай хотела посетить его. Я был поражен переменой отношения «Бюро». Вначале такое холодное и уклончивое отношение, теперь сделалось твердым и настойчивым. Казалось просто невероятным, чтобы только публичное заявление Кравченко могло убедить Эдгара Хувера в искренности побуждений Кравченко.

Беседы Эф-Би-Ай с Кравченко участились, хотя последний и не был расположен раскрыть всё, что он знал. «Я мог бы сказать вам массу вещей об НКВД», сказал Кравченко откровенно, «но я не намерен открывать вам какие-нибудь военные секреты, даже если бы я знал их». Кравченко продолжал счи-

тать себя русским анти-сталинцем, а не американским патриотом. Ему было нужно от Эф-Би-Ай одно — покровительство. Недавние трагические случаи с другими коммунистическими перебежчиками были ему хорошо известны. Эф-Би-Ай предложило ему службу агента в своем заграничном отделе с предоставлением квартиры, автомобиля и одного или двух телохранителей. Но Кравченко отказался. Он не для того порвал с советами, чтобы взять службу в полиции, хотя и в демократической стране. Незаметно для него Эф-Би-Ай наблюдало за ним, следуя по пятам на улице, в лифтах, в поездах. Цель у них была при этом вероятная двоякая: с одной стороны они хотели узнать, имеет ли он еще какой-нибудь контакт с советскими учреждениями, а с другой узнать, не следят ли за ним агенты НКВД. Эф-Би-Ай вероятно подслушивали его телефонные разговоры, а также и мои. Действительно, советские власти в Америке следили за Кравченко и собирали о нем информацию. Они всеми мерами — личным воздействием на него и дипломатическими путями пытались заставить его подчиниться им и вернуться. Сам Виктор замечал, что за ним следят, но часто не мог отличить агентов Эф-Би-Ай от НКВД.

Вскоре Кравченко поместил серию статей в журнале «Космополитэн». После этого он получил письмо на русском языке от некоей г-жи Штейнер из Детройта, в котором она высказывала большую симпатию к Кравченко, и к его смелому поступку. Виктор ответил на письмо, и между ними завязалась переписка. Г-жа Штейнер и ее муж — оба беженцы из Германии — пригласили Кравченко посетить их в Детройте. Я всячески старался отговорить Кравченко от этого безумного шага — ехать к незнакомым людям, а также повидать этих преданных друзей.

Кравченко выехал в Детройт ночным поездом. На следующий день утром он позвонил мне оттуда и рассказал следующую странную историю. На вокзале в Детройте он был встречен супругами Штейнер, но кроме них, трое незнакомых мужчин явно поджидали его и поехали за ними, когда Кравченко и Штейнеры отъехали от вокзала. Не желая выдавать свой адрес незнакомцам, Штейнер стал бесцельно кружить по городу, но ему не удавалось отделаться от следовавших за ним трех мужчин пока он не остановился около полицейского уча-

стка. Только тогда второй автомобиль исчез. Было очевидно, что НКВД узнало о поездке Виктора в Детройт и поручило своим агентам разыскать и м. б. даже при удобном случае арестовать его. Во всё время пребывания в Детройте за Кравченко шла слежка, что совершенно расстроило его надежды на временный «спокойный отдых».

Между тем я сделал ошибку, которую не сразу понял и в которой, собственно, не был виноват. Стараясь подыскать друзей для Кравченко, я встречался с несколькими говорящими по-русски людьми, интересовавшимися современной Россией. Это были эмигранты. Я соблюдал большую осторожность в выборе этих людей, называвших себя «антисталинистами», но среди них оказался Марк Зборовский, с которым я встречался еще во Франции в конце 30-х годов. Он выдавал себя за троцкиста, ненавистника Сталина. Только в 1955 г. мы узнали, что Зборовский был секретным агентом НКВД. В США он приехал в 1941 г. и вот этого человека я познакомил с Кравченко, как его возможного защитника от НКВД. То, что это знакомство не повредило Кравченко, можно объяснить только нежеланием советских агентов заниматься своими неблагоприятными делами на территории США в то время как шла война с Германией, и когда помощь США была очень важна для СССР.

Советское правительство несколько раз пыталось добиться от американских властей высылки «дезертира» за пределы страны. По временам Москва повидимому питала надежду, что Кравченко будет выдан советам для расправы. Им понадобилось две недели, чтобы решить, как повести переговоры с Государственным Департаментом по этому вопросу. Наконец, в ноте от 18 апреля 1944, подчеркивая, что Кравченко был в США только с временным поручением, советское посольство уведомяло Государственный Департамент, что Кравченко больше не связан с Закупочной Комиссией. Так как, находясь на службе в Вашингтоне, он продолжал числиться в Красной Армии, то его уход, якобы, является дезертирством из армии. Короткая нота не содержала просьбы о высылке и не предъявляла никаких требований. На это сообщение не ожидалось и не было получено никакого ответа. Только 6 мая 1944 г. посольство представило новую дипломатическую ноту. В ней говорилось, что Виктор Кравченко, инспектор Закупочной Комиссии СССР, будучи на службе в действующей армии и

временно посланный по делам в США, нарушил военные законы СССР и является военным преступником. «Дезертир Кравченко, говорилось в ноте, прикрыл свое преступление клеветническим заявлением, пытаясь придать ему политическую окраску и надеясь избежать высылки». Нота заканчивалась прямой просьбой передать Кравченко советскому правительству «для судебного преследования за дезертирство».

Государственный Департамент не намеревался уступать советскому требованию: только Гарри Хопкинс, имевший регулярно дела с советским посольством по вопросам ленд-лиза, однажды спросил Чарльза Болен: «Почему собственно мы держим здесь советского дезертира?» Болен объяснил ему в чем дело, и Хопкинс замолчал. Не следует забывать, что это происходило во время войны, в которой СССР был союзником США, и в ближайшие недели должен был, наконец, открыться второй фронт. В такой момент Государственный Департамент предпочитал избегать столкновений, маневрировать, а не отвечать резким отказом. Никакого письменного ответа на советскую ноту не последовало, несмотря на повторные настойчивые требования со стороны советского посла Андрея Громыко. Прошло полгода, ответа всё не было. 24-го ноября советское посольство подало новый «мемуар». Ссылаясь на ноту от 6-го мая, оно заявляло, что правительство СССР не сомневалось в том, что встретит полное понимание со стороны правительства США, поскольку дезертирство в военное время является совершенно «недопустимым». Документ подтверждал просьбу от 6 мая и подчеркивал надежду на быстрый и благоприятный ответ.

Государственный секретарь Эдуард Штеттиниус повидимому почувствовал, что какой-то ответ необходим. В дружеском письме к советскому послу (датированном 18 декабря) он заявлял, что сам лично совместно с Департаментом Юстиции, занимается делом Кравченко. Предварительное расследование, проведенное Департаментом Юстиции, — писал Штеттиниус, — показало, что за отсутствием договора о выдаче или другого советско-американского соглашения, касающегося такого рода случаев, вопрос о депортации остается делом законов по внутренним делам США. Исполнительные органы, писал Штеттиниус, могут действовать только на основании соответствующего законодательства США. Отсрочивая определенный ответ,

Штеттиниус снова заверял посольство, что он прилагает все старания получить от Департамента Юстиции его окончательное решение по этому делу и что надеется быть в состоянии дать дальнейшую информацию в близком будущем.

26-го декабря, недовольный отсрочкой, Громыко отправился повидать Штеттиниуса. Громыко напомнил, что он поднимал вопрос о Кравченко уже раньше несколько раз, и что его правительство с нетерпением ждет ответа. Штеттиниус в свою очередь напомнил о своей ноте, посланной на прошлой неделе, но Громыко возразил, что в ноте вообще «ничего не было сказано». Еще раз Государственный Секретарь заверил Громыко, что он сам уделяет внимание этому делу, и что как только он получит какой-нибудь результат, он немедленно снесется с советским посольством.

5 января 1945 г. Государственный Департамент предложил советскому посольству представить доказательства того, что Кравченко принадлежал к Красной Армии в момент своего бегства. 13 января 1945 г. посольство ответило новой нотой. В ней было суммировано всё, что посольство уже сообщало раньше о Кравченко; повидимому советы понимали, что их аргумент о принадлежности Кравченко к советским военным силам не безупречен. Когда из Москвы в 1943 г. испрашивалась виза для въезда Кравченко в Соед. Штаты, то он был просто назван инженером народного комиссариата местной промышленности. В своей новой ноте посольство дало подробный отчет о службе Кравченко в государственных учреждениях и в Красной Армии. Кроме того было добавлено, что когда Кравченко въезжал в Соед. Штаты он, как и многие другие военные оставался служащим советских вооруженных сил.

Вскоре после этой ноты состоялась ялтинская конференция. Среди других вопросов обсуждался и вопрос о репатриации советских граждан, главным образом из областей Европы, занятых немцами. Советские военно-служащие, оказавшиеся на Западе, должны были быть переданы советским властям. Это соглашение могло оказать значительное влияние на положение Кравченко. Было вполне возможно, что в связи с укреплявшейся американо-советской дружбой, правительство США пойдет навстречу советским требованиям.

Однажды ранней весной 1945 г. во время одной из своих встреч с агентами Эф-Би-Ай, Кравченко услышал взволновав-

шие его слова от одного из видных агентов Эф-Би-Ай: «Мы не можем предвидеть, как будет реагировать президент, если Москва будет продолжать настаивать на вашей выдаче. Не осуждайте нас, если мы должны будем отвезти вас на Эллис Айланд, пока не будет решена ваша участь. Мы вам советуем скрыться в подполье так, чтобы мы не могли вас найти и арестовать. Если вы будете арестованы вы должны будете бороться против приказа о выдаче. В этой стране ни одно из учреждений не имеет права, без должного судебного процесса, выдать вас России и таким образом обречь вас на смерть. Вы должны найти адвоката; ваши друзья должны поднять тревогу в печати и вы сами должны протестовать и бороться».

Этот дружеский, хоть и обескураживающий, совет оказался потом излишним, т. к. через короткое время дела приняли другой оборот. 12 апреля 1945 г. в день смерти президента Рузвельта и больше чем через год после бегства Кравченко, Государственный Департамент наконец дал определенный ответ советскому посольству. Правительство Соед. Штатов, — было сказано в ноте, — сделало всё могущее привести к решению, удовлетворяющему СССР и в то же время согласное с законами США. Департамент Юстиции пришел к заключению что, хотя по советским законам Кравченко и рассматривался как военный служащий, однако, виза ему была выдана, как инженеру, а не как военному; поэтому, по американским законам, с ним следует поступать как со штатским человеком. Как штатский он мог быть депортирован только в результате регулярного, установленного законом судопроизводства, причем он имел бы право выехать в любую страну по своему выбору. В заключении в ноте отрицалось наличие какого-либо законного основания для выдачи Кравченко советским властям с целью предания его суду.

Так закончилась продолжительная дипломатическая переписка по делу Кравченко. Советский инженер Кравченко получил право политического убежища в стране, чем ему обеспечивалась навсегда его личная безопасность. Осталась однако одна загадка. В течение нескольких лет Эф-Би-Ай старалось установить личность и местопребывание советского шпиона, который информировал НКВД о планах и действиях Кравченко. Эф-Би-Ай имело в своем распоряжении ясные и точные данные о том, что НКВД в Соед. Штатах действительно полу-

чало такую информацию. Только в 1955 г. Александр Орлов, бывший энкаведист высокого роста, проживавший в Соед. Штатах больше 10 лет, назвал некоего «Этьена» как такого информатора. Более тщательное расследование выяснило что «Этьен» был никем другим, как советским шпионом, Марком Зборовским, тем самым, которому я поручил в свое время «защиту» Кравченко от преследований НКВД. В 1944 г. Зборовский получил от НКВД задание постоянного наблюдения за Кравченко и осведомления о нем.

С течением времени вокруг дела Кравченко наступило успокоение. Возможность его выдачи была исключена, а похищение его советскими агентами было связано с большими затруднениями благодаря принятым мерам охраны и большой осторожности Кравченко. Несколько его статей, помещенных в журнале «Космополитэн» дали ему средства к существованию, а потом в 1947 г., когда вышла его книга «Я выбрал свободу», переведенная на многие языки и разошедшаяся с огромным успехом, звезда Кравченко поднялась высоко.

*Д. Далин*

# БОЛЬШЕВИКИ И МЕНЬШЕВИКИ

(К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
ИДЕЙ В РОССИИ)

Процесс идейного и политического самоопределения российской социалдемократии развивался медленно, зигзагообразно, с перебоями. Сейчас принято говорить об историческом расколе на 2-ом съезде РСДРП осенью 1903 г. Но в действительности на этом съезде не произошло раскола, а было только зарождение еще не вполне оформившихся фракций — большевиков и меньшевиков. Хотя наличие фракций и подрывало единство партии, порой создавая отравленную атмосферу, тем не менее большевизм и особенно меньшевизм в течение ряда лет делали лихорадочные усилия, чтобы остаться в рядах одной партии.

С революцией 1905 года объединительные тенденции естественно окрепли. В 1906 году был созван общепартийный съезд в Стокгольме, в 1907 г. — в Лондоне, фактически первый и единственный всероссийский съезд РСДРП, при участии обширного представительства национальных с. д. партий: поляков, евреев (Бунда), латышей и (неорганизованных в отдельную партию) грузин. Но вражда фракций продолжалась и разногласия расширялись. Казалось, что рамки партии окончательно разваливаются в результате острейшей фракционной борьбы. Но несмотря на это в 1908 и 1910 г.г. состоялись так называемые пленумы центральных учреждений партии: меньшевики и большевики то входили, то выходили и в общепартийный Ц.К., и в редакцию Центрального Органа, пока, наконец, не наступил решающий 1912 год.

Меньшевики тогда единым фронтом размежевались с большевизмом и объединились, как «августовский блок», куда вошли разные течения меньшевистской мысли, представленной



Мартовым, Аксельродом и Потресовым, внефракционным Троцким, Абрамовичем и Либером от Бунда, Гарви, как представителем ликвидаторов. Таким образом в блок вошло почти всё меньшевистское крыло российской социалдемократии. Большевики же еще раньше в том же 1912 году объявили себя самостоятельной партией. Это был уже формальный раскол РСДРП: обе фракции стали партиями. С тех пор не было ни общих съездов, ни общих Ц.К., ни общих редакций Ц.О. Перед русскими рабочими оказались официально две конкурирующие рабочие с. д. партии. Как известно, в 1913 г. Ленин через Малиновского (вскоре разоблаченного провокатора, действовавшего в Государственной Думе по указке и Ленина и Департамента полиции) расколол даже с. д. фракцию 4-й Государственной Думы; следовательно, и во вне раскол стал совершившимся фактом.

Нужно сказать, однако, что формальный момент раскола еще не развязал узла сложных и запутанных внутренних отношений в РСДРП. Еще в течение первой мировой войны наблюдалась диффузия между меньшевизмом и большевизмом, когда многие видные деятели большевиков стали тянуться к Мартову, будучи не в силах переносить тяжелую диктатуру Ленина и всё больше разочаровываясь в политике большевизма. И наоборот, перелеты от меньшевиков к большевикам стали довольно часты в первые годы после 1917 г. — диктатура большевиков, как магнитом, притягивала ряд видных деятелей меньшевизма, соблазненных открывающимися перспективами и политической активности, и личной карьеры. Раньше, в период февральской революции, Троцкий, Ларин, Чичерин, Антонов-Овсеенко, Урицкий, а затем, после захвата большевиками власти, — Горев, Майский, Семковский, Мартынов и другие откололись, — кто раньше, кто позже, — от меньшевизма.

Не открывает ли эта экскурсия в прошлое некоторую возможность прийти к парадоксальному выводу, что окончательный раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков произошел не в 1903 году, и даже не в 1912 году, а, примерно, в начале 1920-х годов, когда ряд скрытых, «латентных» большевиков, сидевших среди меньшевиков, познали себя, обрели свое подлинное лицо и навсегда перерезали пуповину, соединявшую их с меньшевизмом? Этот вывод приобретает еще большую убедительность, если внимательно присмотреться к тому, с

каким трудом освобождался меньшевизм в своей идеологии и в своей политике и тактике от того, что связывало его с большевизмом! А связывало его очень и очень многое!

## 2

Для понимания природы тех кругов социалдемократии в России, которые создали направление «Искры», сыгравшее особенно большую роль в истории РСДРП — если вспомнить, с каким триумфом «Искра» вступала в XX век, как совершали «искровцы» свои первые политические шаги, с какой резкостью отмежевывались от народничества, ревизионизма и экономизма, какую великодержавность и высокомерие проявляли в борьбе с еврейским Бундом, как тщательно срывали всякую возможность контакта даже с легальными марксистами, и как подавали себя в виде последовательно-ортодоксального крыла в международном движении, — почти как самую крайнюю радикальную левую социализма, — для понимания всего этого необходимо учесть некоторые исходные пункты или, точнее, психологическую сторону вопроса.

Ярко выраженную и характерную крайность воззрений «Искры» и ее сторонников, эту жестокость направления, подозрительность ко всему, что, по их мнению, отдавало оппортунизмом, можно объяснить, как своего рода реакцию на эволюцию в эти годы большинства выдающихся деятелей эпохи легального марксизма, — в сторону буржуазного либерализма. А ведь какие были имена, какие люди — высокого интеллектуального и культурного калибра, и какой престиж, они несли учению Маркса в России! П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Н. Прокопович, В. Я. Богучарский, Е. Д. Кускова и многие другие. Их эволюция «от марксизма к идеализму» не только сорвала в 1900-1901 г.г. возможность сговора вокруг «Искры», но несомненно вызвала глубокую реакцию у всех участников переговоров, — у Плеханова, Ленина, Мартова, даже у Потресова и Засулич (у этой «Струве-фрейндлихе партей», как оба последних назывались в хронике переговоров). Если цвет легального марксизма изменил, сменил вехи, перешел на позиции оппортунизма, примкнул к бернштейнианству, включился в число «критиков» Маркса, — ответим же на это усиленной

ортодоксией, решительным отмежеванием, ответим воинствующим мировоззрением, истинно-марксистским наступлением и сплотим теснее ряды в атаке! Вот какова была реакция.

Разумеется, в с. д. организации тех лет взгляд на политическую деятельность теснейшим образом переплетался с мировоззренческим подходом. Еще много лет спустя, уже воспринимая себя как политическую партию, не только большевизм, но и меньшевизм клал в основу своей деятельности — этот мировоззренческий принцип. Если в социалистическом движении издавна доминировала проблематика историко-философского характера над политической практикой (и это можно понять, потому что социализм стремился не к реформированию, а к преобразованию мира), — то в русском социализме без оглядки на мировоззрение, на философию ни одного серьезного шага сделать было нельзя. Эту его особенность надо считать осложняющим и даже вредным препятствием в практической жизни, — ведь и Маркс порой говорил, что один действительный шаг в практической жизни стоит целой дюжины программ. Но для понимания того духовного климата, в котором складывалась русская социал-демократия (и меньшевизм и большевизм) — нужно учитывать этот мировоззренческий, чисто идеократический характер движения в эпоху «Искры».

Оставляя в стороне мировоззренческие мотивы, пронизывавшие всю сущность «Искры» и РСДРП до второго съезда (то есть за время 1900-1903 г.г.), мы выделим и подчеркнем, быть может, самую характерную черту именно для политической направленности искровской линии: искровцы прежде всего были якобинцами. Великие образцы французской революции доминировали в их подходе к революции. Правда, с ортодоксально-марксистской точки зрения, вслед за Марксом и Каутским, они критиковали социальную ограниченность Робеспьера и мелкобуржуазную сущность якобинской политики. И тем не менее их тайные симпатии были на стороне эбертистов и бабёвистов, — восстаний в рабочих предместьях в жерминале и прериале (1795), — хотя они и отдавали себе отчет в утопизме этих рабочих выступлений (ведь и для будущих судеб России они считали утопической попытку захвата власти и социалистической революции!). Но якобинские методы в грядущей революции были их духовной сущностью.

Ведь неспроста Ленин в своей книжке «Что делать», вышед-

шей в 1902 г., т. е. еще до Второго съезда партии, замахнулся гораздо дальше, чем полагалось тогда ортодоксальному социал-демократу, договорившись до того, что в русской революции «якобинец, связанный с пролетарскими массами, это и есть социалдемократ». По своим взглядам на характер революции искровцы до Второго съезда, на самом съезде и довольно долго после съезда, оставались якобинцами. Совершенно неслучайно Потресов, прочитав «Что делать?», писал от себя и от имени других членов редакции Ленину, от 20 марта 1902 г. восторженное письмо: «Два раза сплошь и подряд прочел книжку и могу только поздравить ее автора. Общее впечатление... превосходное... Не сомневаюсь, что книжка будет иметь большой успех и сыграет роль организатора». («Ленинский Сборник», книга III, стр. 286). А Дан рассказывает, что когда в качестве представителя «Искры» он в том же марте 1902 г. поехал на партийную конференцию (съезд) в Белосток, то в «двойном дне чемоданов», которые он вез с собой, «были доставлены в Россию несколько десятков новой книги Ленина «Что делать?». Идеи, развитые в этой книге, оказались динамитом... взорвавшим единство победителей» (то есть «Искры», одолевшей другие течения с. д. мысли). В недалеком будущем взрывчатый характер ленинских идей из «Что делать?» получил еще более важные последствия которые Дан тогда и предвидеть не мог.

## 3

Единство воззрений в рядах «Искры» шло очень далеко. Достаточно отметить, что включение в проект программы РСДРП пункта о диктатуре пролетариата<sup>1</sup> прошло при полном согласии; возражения Плеханова при выработке проекта программы имели технический характер. Между тем этот пункт отсутствовал во всех программах других социалистических партий, даже в Эрфуртской программе, где речь шла об обладании пролетариатом политической властью. Единственный, кто оказался еретиком до конца в этом вопросе на 2-ом съезде был

---

<sup>1</sup> Текстуально: «Необходимое условие... социальной революции составляет диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров».

«экономист» и реформист Акимов, который в своей брошюре «К вопросу о работах 2-го съезда РСДРП» справедливо и едко заметил: «многие смешивают диктатуру пролетариата с диктатурой **над** пролетариатом». Акимов как бы предчувствовал то, что произошло после захвата власти большевиками в 1917 году, когда пассив о «диктатуре пролетариата» получил силу закона.

Это единство воззрений, — теперь можно добавить не без основания: максимализм воззрений, — получил свое выражение еще раньше в заявлении от редакции «Искры» по поводу предстоящего выхода в свет газеты, где борьба со всякими разновидностями оппортунизма выдвигалась в первую голову и где инициаторы «Искры» провозглашали: мы «отвергаем те половинчатые, расплывчатые и оппортунистические поправки, которые вошли теперь в такую моду с легкой руки Эд. Бернштейна». В том же заявлении от редакции нашла свое выражение излюбленная, навязчивая организационная идея Ленина: «Прежде чем объединяться и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться».

Эти навязчивые организационные идеи на втором съезде и вызвали в конце концов возмущение в среде самих искровцев, — хотя тогда политический смысл этих разногласий еще далеко был неясен самим противникам Ленина, поднявшим против него бунт. И это вполне понятно, ибо стоит присмотреться к настроению большинства съезда и к решениям, принятым на нем, чтобы стало ясно, что и у Плеханова, и у Мартова, у этих политиков будущего меньшевизма, было тогда по основным политическим вопросам полное единодушие воззрений с Лениным и его сторонниками. Идея политического размежевания со всяким оппортунизмом, — с ревизионистами, экономистами, идеалистами, была общей у них с Лениным. Выступления против автономистских тенденций Бунда были выдержаны в твердокаменном централистском стиле не только Лениным, но и Мартовым.<sup>2</sup> Мартов от имени всех искровцев вы-

---

<sup>2</sup> Любопытен рассказ П. Гарви о впечатлениях от второго съезда, переданных ему после бегства из ссылки бундистом Ионовым: «Все искровцы единым миром мазаны, все они централисты и великодержавники. Мартов не лучше Ленина и Ленин не лучше Мартова». («Воспоминания социал-демократа», стр. 365).

ступал с корефератом против официального докладчика Бунда, Либера.

Наконец, это единство сказалось наиболее сильно в резолюциях о социалистах-революционерах и либералах. Отношение к эсэрам в резолюции, предложенной П. Аксельродом, было решительно отрицательное. Это — партия политически вредная и с социалистической, и с демократической точек зрения; никаких соглашений с ней у социалдемократии не может быть. Более сложным было на съезде отношение к либералам. Одна резолюция, внесенная Потресовым (и поддержанная всем штабом будущих меньшевиков: Аксельродом, Мартовым, Засулич, Троцким) устанавливала условия, при соблюдении которых возможно соглашение с либеральной демократией: признание либералами всеобщего избирательного права, отказ от поддержки социально-реакционных требований, отказ от борьбы с революционным движением рабочего класса. Эта резолюция, выдержанная в тонах, обычных для социалистов Западной Европы, была принята съездом.

Но политическое ее значение было в сущности аннулировано принятием одновременно другой резолюции, внесенной Лениным и Плехановым (вот тут надо искать зерно, из которого вырос противоестественный их союз на съезде и порой после съезда!). Эта резолюция, поддерживая в принципе «всякое оппозиционное движение против царизма», в то же время объявляла либеральное движение, которое тогда существовало, ... «контрреволюционным», как и деятельность органа Струве «Освобождение». Как же случилось, что **обе** эти резолюции о либералах были приняты съездом?

Это можно объяснить только тем, что все искровцы были убеждены, что либерализм не может быть союзником социалдемократии в революционной борьбе, что рабочее движение является в сущности единственным решающим фактором революции. Впоследствии Мартов писал (после событий 9 января 1905 г. в «Искре»): «Нелепо и вредно мечтать о монополии активной роли... для русской социалдемократии», но на втором съезде все действовали под влиянием «головокружения». Правда, в оценке буржуазного либерализма, и даже «Освобождения» был виноват в большой мере сам... Струве. Ведь в качестве автора первого Манифеста РСДРП в 1898 г., никто как Струве утверждал: «Нужную ему политическую сво-

боду русский пролетариат может себе завоевать только сам. Чем дальше на восток Европы, тем в историческом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия». Впоследствии сам он резюверился в правильности этого взгляда, но русские ученики Маркса ортодоксального типа 1903 года сохранили ему верность и перенесли представление о «трусости и подлости» на политическую деятельность «Освобождения», редактировавшегося Струве.

О царившем среди искровцев полном единодушии в основных политических и тактических задачах того времени ярко говорит и выступление Плеханова на втором съезде, сыгравшем подлинно-роковую роль. Мы имеем в виду реплику Плеханова на речь делегата Посадовского (будущего меньшевика, д-ра В. Мандельберга, бывшего потом депутатом от Иркутска во 2-ой Государственной Думе). Посадовский говорил об отнесительной ценности для с.-д. всеобщего избирательного права, демократических свобод и т. д. Плеханов решительно поддерживал Посадовского и высказался в том смысле, что ради успеха революции (высшего закона, определяющего поведение социалдемократов) можно временно ограничить действие того или другого демократического принципа. Более того, он добавил: если бы выборы в представительное учреждение с точки зрения успеха революции оказались бы неудачными, то такой парламент следовало бы разогнать, и не через три месяца, а через две недели... Это выступление Плеханова свидетельствует о якобинских его настроениях в 1903 г. Но как объяснить его сближение с Лениным в 1911-12 г., сотрудничество в «Правде» и яростную атаку его против ликвидаторов-меньшевиков?

По свежим следам 2-го съезда Мартов на съезде «Заграничной Лиги революционной социалдемократии» пытался смягчить впечатление от ультра-якобинских выступлений Плеханова. «Эти слова, — сказал он, — вызвали негодование части делегатов, которого легко было избежать, если бы Плеханов добавил, что, разумеется, нельзя себе представить такого трагического положения дел, при котором пролетариату для упорочения своей победы приходилось бы попирать такие политические права, как свободу печати». Но Ленин после захвата власти именем своей социалистической партии покрыл еще и не такие нажимы на демократические принципы, а на разгон



Учредительного Собрания как бы получил прямое благословение прежнего Плеханова, — вероятно, испытывавшего страшные муки, наблюдая в Петрограде в 1918 году уничтожение молодой февральской революции и первые акты вандализма восторжествовавшей большевистской революции.

## 4

Как известно, разрыв на втором съезде произошел на организационном вопросе. Широко распространенное представление о том, что на втором съезде разошлись из-за формулировки так называемого первого пункта устава партии, — и преувеличено, и неверно. По Мартову — для того, чтобы быть членом партии достаточно была «работа под контролем партийной организации», по Ленину — обязательно было вступление в организацию. Разница в условиях подпольной работы, где полностью отсутствовали всякие легальные признаки и атрибуты членства (членский билет и пр.), — была, конечно, не велика. Но важно отметить другое: ведь на съезде большинством голосов прошла формулировка первого пункта устава в редакции Мартова: следовательно, не ленинцы, а мартовцы должны были бы именоваться большевиками, т. е. получившими, большинство.

Но центр тяжести ленинских организационных планов заключался в ином. Зная, что основной чертой Ленина было стремление к захвату власти в партии, к диктатуре в партии и притом к **его, Ленина**, единоличной диктатуре, — мы отдаем себе теперь отчет в том, что все его централизаторские планы должны были расчистить ему этот путь к диктатуре. При помощи авторитета Плеханова, опираясь на своих сторонников, «надежных революционеров», Ленин поставил себе задачей обеспечить за собой, — именно **за собой**, — руководство редакцией Центрального органа, надзор за Центральным Комитетом, а затем Советом Партии, который должен был быть составлен из представителей Ц.О. и Ц.К. плюс председатель (в данном случае: Плеханов, шедший в союзе с Лениным). Все эти мелкие, мелочные замыслы, разумеется, подкреплялись глубокомысленной теорией о борьбе со всеми разновидностями оппортунизма, теорией, которая должна была прикрыть ленинскую фанатическую мертвую хватку. Перед лицом этих,



постепенно уяснявшихся, централизаторских поползновений Ленина и вспыхнул бунт «мягких искровцев», — бунт, возглавленный Мартовым.

Это возмущение достигло своей кульминации когда Ленин раскрыл карты и, желая сохранять за собой руководство Ц. О., «Искрой», выступил с планом «усекновения редакции», то-есть, устранения из нее Аксельрода, Засулич и Потресова. Он не мог, конечно, формально поставить вопрос о своей единоличной редакции, и поэтому в редакцию, по его плану, должны были вместе с ним войти (и были затем избраны) Плеханов и Мартов. Но на этом вопросе, как на лакмусовой бумажке, всё стало ясно. Мартов не только отказался войти в состав редакции «Искры», но решительно заявил, что считал бы себя «скромпрометированным человеком», если бы принял модус, устраняющий трех остальных членов редакции. На этом вопросе и произошел разрыв, образовалась фракция мартовцев — меньшинства — меньшевиков. Меньшевики в Ц.К. войти отказались. Ленин провел свой план, сформулированный им в заявлении от редакции «Искры»: «прежде чем объединяться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Вот и размежевались на втором съезде, который имел целью впервые объединить с. д. партию.

Прежде чем выяснился политический смысл разногласий между большевиками и меньшевиками, прежде чем до сознания меньшевиков дошло, что за организационными расхождениями витает тень глубоких политических разногласий, — водораздел произошел по линии централизма, которого добивался на съезде Ленин. Троцкий, мастер острых формулировок, проявил довольно большую проницательность, когда в брошюре «Наши политические задачи» так изобразил организационные планы Ленин: «Где-то наверху, высоко-высоко, кто-то кого-то куда-то заточает... кого-то душат, кто-то себя кем-то провозглашает», — вот режим, который Ленин установит после проведения своих планов.

Мартынов в своих «Двух диктатурах» утверждал, что оргплан Ленина «скопирован с бакунинско-нечаевского Альянса», а его теории установления революционной диктатуры, осуществляющей «хотя бы временный захват власти» в результате «подготовленного, назначенного и проведенного всенародного вооруженного восстания» (совсем по Ткачеву!) на деле явля-

ются «поправками к марксизму». Уже тогда Ленин «поправлял» Маркса и «на якобинский лад» перекрашивал и отношение социал-демократии к рабочему классу, утверждая, что рабочее движение в силах выработать только «тредьюнионистское сознание», а социализм может быть внесен в него «только извне».

Мартов, оценивая поведение Ленина на съезде и его организационные планы, во время дискуссии после съезда пытался подвести итог предшествующему периоду партийного развития и со свойственной ему прямоотой подверг самокритике всю политическую линию «Искры». В брошюре «Борьба с осадным положением в РСДПР» Мартов писал: «Течение мысли, подсказавшее политику осадного положения, не явилось результатом «гениального безумия» одного сильного человека, не создано злой волей определенной категории, — это течение мысли, **законное в своем роде детище «Искры»...** К моменту партийного съезда **искровство положительно стало задерживать дальнейшее развитие партии**».

В другой полемической брошюре после-съездовской эпохи «Вперед или назад» Мартов достигает подлинных высот, когда набрасывает портрет Ленина в период ожесточенной фракционной борьбы, — портрет, запечатлевший в это предисторическое время столь характерные и для позднего времени черты «Ленина на троне», Ленина — послеоктябрьского диктатора: «Что-то геростратовское видится в его с лучшими намерениями, конечно, предпринятом деле... Стоит читать эти строки, дышащие мелкой, подчас бессмысленной, личной злобой, этой поразительной самовлюбленностью, этой слепой, глухой и вообще какой-то бесчувственной яростью, это бесчисленное повторение одних и тех же бессодержательных «бойких» и «хлестких» словечек, чтобы убедиться, что перед нами человек, фатально вынужденный катиться дальше по той плоскости, на которую он «стихийно» встал и которая прямохонько ведет его к полному политическому развращению и раздроблению социалдемократии. Геростратов подвиг! скажут потомки».

Так воспринимал Мартов большевизм на заре раскола социалдемократии. В дальнейшем образ Ленина в его представлении всё больше обрастал атрибутами Нечаева. Когда-то Плеханов, разглядев характерные особенности и повадки поль-

ского большевика Тышко-Иогихеса, писал о нем: «Ла минья-тур Аусгабе де Нечаев»... Спустя 10 с лишним лет Мартов писал о деятельности Ленина: «Я твердо решил убедить партию освободиться от той страшной опасности, которую представляет собой приютившаяся в наших рядах нечаевщина. Сегодня — терпимость к фальсификаторам, завтра — свободный доступ Дегаевым». (Тут буквальное предсказание появления Малиновского и той зловещей роли, которую он играл при Ленине). И постепенно у Мартова складывалось убеждение, что с Лениным меньшевикам не по пути, что окончательный разрыв неизбежен.

3-го сентября 1908 года Мартов с отчаянием писал Аксельроду: «Признаюсь, я всё больше считаю ошибкой самое номинальное участие в этой разбойничьей шайке». А в 1911 г., когда уже приближался час формального раскола, Мартов выпустил свой памфлет «Спасители или упразднители», вытравивший последние иллюзии о возможности «сосуществования» меньшевиков с большевиками в одной партии. Во всех работах Мартова тех лет Ленин и большевизм однако всё еще рассматривались, несмотря на остроту направленной против них критики, — как члены одной и той же партийной семьи, одного и того же социалистического содружества. Кто мог тогда предвидеть, что свои навязчивые организационные схемы Ленин попытается — через полтора десятка лет — перенести из микрокосма нелегальной с. д. партии в макрокосм великой страны?

## 5

Как известно, после 2-го съезда самое углубленное для того времени истолкование большевизма дал П. Аксельрод в своих фельетонах в «Искре» (№№ 55 и 57) за декабрь 1903 — январь 1904 г.г. Аксельрод — трудный писатель, — его стиль утяжеляет его и без того сложную мысль, мысль эту нелегко вылущить из словесной оболочки. Но именно он пророчески проецировал применение ленинского замысла на случай захвата большевистской партией власти в стране.

В своих «Воспоминаниях с. д.» П. Гарви так описывает свое впечатление от статей Аксельрода: «Фельетоны Аксельрода были для нас как бы молнией, осветившей темное небо и

всё окрест. Аксельрод вскрыл социологические и исторические корни большевизма и пророчески предсказал, к чему может привести победа ленинских принципов, если они победят в грядущей революции и наложат свою печать на пореволюционное государство... Идеино-политическая консолидация меньшевизма началась в основном лишь с появлением фельетонов Аксельрода». И Гарви пишет дальше об этих статьях Аксельрода: «Он первый из шелухи организационных разногласий вылушил зерно политических разногласий. Он первый указал на опасность превращения партии на путях большевизма в якобинскую, заговорщицкой типа организацию, которая под маской ортодоксального марксизма будет прокладывать путь мелкобуржуазному радикализму, подчиняющему себе и использующему для своих политических целей рабочий класс».

У Мартова в «Истории российской социалдемократии» (во **втором** издании, вышедшем при большевиках в издательстве «Книга», 1923 г.) мы читаем: «Анализ, данный большевизму П. Аксельродом, подтверждался с каждым новым этапом политического развития России, быть может, **никогда не был так актуален, как в наши дни попытки большевизма осуществить в жизни диктатуру трудящихся масс**». Последняя часть фразы естественно отсутствовала в первом издании «Истории» Мартова, появившейся в так называемом пятитомнике «Общественное движение» (т. III.) задолго до революции 1917 г.

От Аксельрода не ускользнули значение и смысл оргпланов Ленина, что в них всё было рассчитано на личный авторитет вождей и железную руку заговорщицкой организации. Но Аксельрода прежде всего занимала проблематика движения. «Социалдемократия стремится стать политической организацией рабочих масс», — писал он, — но на деле она «является еще преимущественно организацией лишь принципиальных сторонников пролетариата среди революционной интеллигенции». Это господство в партии «профессиональных революционеров» — и есть основная болезнь социалдемократии!

Не углубляясь в выяснение вопроса, как постепенно меньшевистская мысль освобождалась от искровского наследства начала XX века и как всё отчетливее стала нащупывать свои собственные политические пути, всё более отталкиваясь от характерного для Ленина и его сторонников идейного фанатизма, сектантства и подчас изуверства, — мы отметим только

почти единодушную реакцию западных социалистов на споры, раскалывавшие РСДРП.

Мартынов в своих «Воспоминаниях из эпохи 2-го съезда РСДРП», вышедших в Москве в 1934 г., рассказывает, как лидер австрийских с. д. Виктор Адлер говорил тогда с большим раздражением не только о Ленине, но даже и о Плеханове, который своими «якобинскими речами соблазнил Ленина». Карл Каутский в «Искре» (№ 66) безоговорочно солидаризировался с позицией меньшевиков на втором съезде: «Если бы на Вашем съезде мне пришлось выбирать между Мартовым и Лениным, то на основании всего опыта нашей деятельности в Германии, я решительно высказался бы за Мартова», писал он. Даже такие, уже тогда левые, ортодоксально-марксистские деятели, как Карл Либкнехт и Роза Люксембург оказывали поддержку меньшевикам. Интересны замечания Р. Люксембург в статье «Организационные вопросы русской социалдемократии» (№ 69 «Искры»), когда, касаясь «ультрацентрализма» ленинских планов, она пишет: «Ход его мыслей приурочен главным образом к контролю над партийной деятельностью, а не к оплодотворению ее, к сужению, а не к развитию, к зашнурованию, а не к объединению движения». Опека «всеведущего и вездесущего Ц.К.» должна служить Ленину наиболее эффективным средством борьбы с оппортунизмом. И в этих бланкистских тенденциях Роза Люксембург улавливает «отголоски того субъективизма, который уже одну шутку сыграл с российской социалистической мыслью»: если в эпоху народничества — «раздавленное и стертное в порошок русским абсолютизмом «я» берет реванш тем, что в своей революционной мысли сажает самого себя на трон и объявляет себя всемогущим в образе заговорщицкого комитета именем несуществующей Народной Воли», — то сейчас, когда появился на авансцене новый серьезный общественный фактор, массовое рабочее движение, «тут «я» русского революционера становится на голову и снова объявляет всемогущим вершителем истории, — на этот раз в собственной персоне его величества — Ц.К. с. д. партии».

Внутрифракционная полемика и борьба шли своим чередом, но литературный штаб меньшевизма с осени 1904 года,

когда на русском небосклоне вспыхнули первые предреволюционные зарницы, был погружен в разработку своих политических концепций, почти ничего общего уже не имевших с кругом интересов большевизма. Меньшевистская «Искра» проводила так называемую «земскую кампанию». Затем в связи с событиями первой революции возникли другие задачи по организации и самоорганизации рабочего класса, по использованию новой политической обстановки и «дней свободы», во имя этих задач, упиравшихся в выдвинутую Аксельродом идею Всероссийского Рабочего Съезда, из которого должна была выйти широкая, легальная, массовая, социалистическая, рабочая партия. После 9 января на очереди стояло представление рабочих в так называемой Комиссии Шидловского, создание профессиональных союзов, использование университетских аудиторий, затем кампания протеста против Булыгинской Думы, а в связи со всеобщей октябрьской забастовкой встала проблема Советов рабочих депутатов и возникновение социалистической печати.

Смысл меньшевистской тактической концепции Потресов резюмировал так в своей книжке, посвященной Аксельроду. Касаясь писем редакции «Искры» в связи с земской кампанией, он говорит: «В этих письмах проводилась идея необходимости мобилизовать рабочие массы, чтобы привести их в непосредственное соприкосновение с либерально-демократическим движением и дать этим массам возможность политическим требованиям имущих классов противопоставить свои пролетарские требования. Выступая на общественной арене, на которой распоряжается либеральная демократия, пролетариат должен был заявить готовность поддержать буржуазную оппозицию в ее борьбе за свободу и в то же время потребовать от этой оппозиции поддержку своим собственным усилиям. Предполагалось таким образом достигнуть и усиления подъема общественной волны путем использования всех открытых проявлений оппозиционных стремлений буржуазии и социально-политического воспитания рабочих в классовом, пролетарском смысле на этом жизненном опыте». Впоследствии, уже после революции, на Лондонском съезде РСДРП (май 1907) Аксельрод призывал «систематически отвоевывать» для партии и для масс каждую пядь, каждую позицию «на арене открытой, легальной борьбы за свободу и за права народа». Он подчеркивал, что даже «са-

мый жалкий, даже карикатурный парламентаризм... представляет собой огромный плюс» по сравнению с тем, чем реально располагает рабочий класс.

Мартов в «Искре» (№ 86) предостерегал против головокружения от революции. Он писал: — «Пусть не кружится голова! Тот не политический деятель, не слуга пролетариата, кто теряет из виду положительную цель». А положительная, реалистическая цель — по Мартову — это «буржуазный переворот, демократическое преобразование государственного строя, осуществляемое всеми социально-прогрессивными силами страны, при возможно более значительном влиянии на них партии пролетариата».

Плеханов, уже к тому времени акклиматизировавшийся в качестве меньшевика, писал в следующем номере «Искры» (№ 87): «Партия пролетариата может обеспечить себе поддержку прогрессивных элементов общества, ни на волос не изменяя самой себе. Нам нужно на виду у всех ясно и отчетливо поставить свою ближайшую политическую задачу и решительно воздержаться от тех бестактных выходов, которые принимаются иными за проявления крайнего социалистического радикализма, но на самом деле более всего вредят именно последнему».

Надо добавить, что в разгар революционных событий эта реалистическая тактика осложнялась рядом лозунгов из революционного арсенала, — как, например, «развертывание революции» в форме борьбы за идеи «революционного самоуправления», которое должно быть построено на базе «захватного права». Но если подвести теоретический фундамент под тактическую концепцию меньшевизма, то он главным образом сводится к утверждению о характере русской революции, как революции буржуазной. Это была исходная позиция меньшевиков. Буржуазный характер революции противопоставил еще отец русского марксизма Плеханов утопистам народнического лагеря. Меньшевики твердо стояли на почве буржуазной революции.

## 7

Но — все ли меньшевики? Как раз в этот вопрос была внесена одна небольшая «поправка», которая сыграла свою роковую роль и окрасила собой и тактику и практику меньше-



визма. Эта «поправка» к теории буржуазной революции свелась к небольшому добавлению — о гегемонии пролетариата в буржуазной революции. Еще в заявлении редакции «Искры» была эта мысль о гегемонии. «Только организованный в (такую) партию пролетариат, этот наиболее революционный класс современной России, в состоянии будет исполнить лежащую на нем историческую задачу: объединить под своим знаменем все демократические элементы страны». Иными словами, начиная бой за создание с. д. партии, инициаторы «Искры» полагали, что, даже не связывая с социалистическими перспективами предстоящее крушение самодержавия, — и более того — сознавая, что новое общество, которое выйдет из победоносной революции, останется ограниченно-буржуазным, — они ставят перед собой задачу под руководством и гегемонией пролетариата и под знаменем с. д. партии осуществлять эту буржуазную революцию.

Ф. Дан убежден, что, задумывая издание «Искры», ее инициаторы стояли именно на этой платформе. «Слово гегемония — пишет он — было произнесено лишь в 1910 году. Но идея не только деятельного участия социалдемократии в политической борьбе, но ее руководящее участие, ее гегемония, как представительницы рабочего класса и была той платформой, на которой в 1900 году осуществился «тройственный союз» Ленина, Мартова и Потресова» («Просхождение большевизма», стр. 259). Но в 1901 г., — о чем упоминает Дан, — эту идею гегемонии с. д. партии в русской буржуазной революции защищал не кто иной, как Плеханов. В статье «Еще раз социализм и политическая борьба» он писал: «Наша партия возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом, а следовательно и гегемонию в этой борьбе... Она сделается центром, к которому будут тяготеть все демократические симпатии».

Нисколько не удивительно поэтому, что в разгар событий 1905 года у отдельных представителей меньшевизма головокружение пошло гораздо дальше. Троцкий и Парвус, отколовшись от меньшевистского литературного штаба, во время своей деятельности в Петербурге — в Совете рабочих депутатов, в меньшевистской печати, — подвергли ревизии самое идею буржуазной революции. По их представлению, революция русская явно перерастает капиталистические рамки и стремительно выплывает в полное приключений и загадок море «перма-



нентной революции». Парвус написал тогда прокламацию — «Без царя, а правительство рабочее», и выдвинул лозунг «социалдемократического Временного Правительства». В меньшевистском органе «Начало», выходившем в дни свободы, создавалась коалиция меньшевиков с «троцкистами», причем не только Троцкий с Парвусом, но и Дан, Мартов, Е. Смирнов, В. Звездин стали расценивать буржуазный либерализм и буржуазную демократию «не выше, чем большевики».

Очень интересно, и не только с точки зрения своей политической автобиографии, рассказывает Дан о своем расхождении с Мартовым в эту пору и о сближении своем с Троцким. Уже в ноябре 1905 г. с выходом «Начала» — пишет он — «троцкистские» ноты «начали всё громче звучать» в высказываниях и статьях его (Дана) и Мартынова и грозили весьма радикально изменить «общую концепцию меньшевизма».

Разумеется, этой иллюстрацией к «головокружению», этим эпизодом, характеризующим неустойчивость меньшевистской тактической линии, далеко не исчерпывается путь оформления меньшевизма, его поиски политического самоопределения. В свете поражения первой революции и трагического опыта второй, история русского меньшевизма представляет собой для современной социалистической мысли неисчерпаемый источник для изучения и размышлений.

Если меньшевизм, сложившийся под эгидой Мартова, числивший среди своих учителей Аксельрода и Плеханова, обязаный многими своими достижениями Дану и Потресову и плеяде других деятелей на разных поприщах, мог стать **политическим организатором и руководителем** массового рабочего движения в России, — то при всех своих теоретических блужданиях и практических поражениях, меньшевизм всё же входит в историю России, как один из выдающихся факторов борьбы за ее освобождение и ее европеизацию.

Во время революции 1917 года все течения в меньшевизме — правые, центристские и левые — решительно оттолкнулись от большевизма. Как и большевики, они все считали себя марксистами и даже ортодоксальными. Плеханов, Потресов и Мартов до конца своих дней оставались верными учениками Маркса. Но не только по мотивам политическим, но и психологическим и моральным все руководящие деятели меньшевизма не могли приять большевизм. Когда же большевики,

пользуясь бессилием революционной демократии, захватили власть, разогнали Учредительное Собрание, растоптали начатки демократии в стране и поставили в порядок дня гражданскую войну, — между большевиками и меньшевиками разверзлась глубокая пропасть, которую нельзя было засыпать ничем.

Умонастроение большинства меньшевиков хорошо охарактеризовал Аксельрод, когда в 1918 году отчетливо сформулировал свое отталкивание от большевизма: «Большевицкое господство фактически выродилось в жестокую контр-революцию... Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал десять лет тому назад ленинскую компанию, как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социалдемократии. Такого же характера методы и средства, при помощи которых ленинцы достигли власти и удерживают ее...»

*Григорий Аронсон*

## ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕИ\*

Достоевский не раз возвращался по тому или иному поводу к еврейскому вопросу, но вплотную он им занялся в «Дневнике писателя» за 1877 г. Он пишет здесь: «Очень трудно узнать сорокавековую историю такого народа как евреи, но на первый случай я уже то одно знаю, что наверное нет в целом мире другого народа, который бы столько жаловался на судьбу свою, поминутно, за каждым шагом и словом своим, на свое принижение, на свое страдание, на свое мученичество. Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а, стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государства... Я готов поверить, что лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем происхождении когда-то от испанских жидов (наверно однако не забыл); но что он «руководил английской консервативной политикой» за последний год **отчасти** с точки зрения жида, в этом, по моему, нельзя сомневаться».

«Не могу вполне поверить крикам евреев, что они уж так забиты, замучены и принижены... Подумайте только о том, что когда еврей «терпел в свободном выборе места жительства», тогда двадцать три миллиона «русской трудящейся массы» терпели от крепостного состояния, что уже, конечно, было потяжелее «выбора местожительства». И что же, пожалели их тогда евреи?»

В этом рассуждении всё изумительно. И ссылка на лорда Биконсфильда для доказательства, что еврейский народ зря жалуется на свое положение и уверение, что евреи царствуют в Европе и это неожиданное рассуждение о крепостном праве. Когда евреи жаловались на тяжесть своего положения в России, разве они утверждали что хорошо живется русскому крепостному мужику и разве притеснение евреев и закрепощение кре-

---

\* Эта статья покойного П. А. Берлина печатается впервые. Нам передал ее Д. Н. Шуб из своего архива. РЕД.

стьянина не производилось тем же самым русским правительством, на которое, казалось бы, и должен был обратить свой гневный взгляд Достоевский. А этот совершенно неожиданно выскачивший вопрос, пожалели ли евреи крепостных крестьян? Евреи не имели права владеть крепостными и из крепостного права никакой пользы не извлекали. Крепостные составляли крещеную собственность русских дворян-помещиков. К русским дворянам принадлежал и Достоевский. И если говорить о круговой поруке, то Достоевский, как дворянин, должен был нести ответственность за все мучительства и издевательства которым дворяне подвергали крепостных. И мы знаем, что в истории русского дворянства есть превосходная по этической красоте страница, когда передовые слои дворянства «калялись» за то, что дворяне эксплуатировали и мучили крестьян, хотя сами эти кающиеся к этим мучениям отношения не имели. Но евреи тут причем? И какие основания, какие показатели были у Достоевского, что евреи якобы не «жалели» крепостных. Сами гонимые и эксплуатируемые они конечно ближе понимали и мучительства крестьян.

Если лорд Биконсфильд, «происходя из жидов», как выражается Достоевский, не забывал о евреях, то это, конечно, только делает ему честь, но англичане до сих пор чтут Биконсфильда как лучшего представителя английской политики. В чем же тут выражалось, что он вел эту политику в еврейских интересах остается тайною Достоевского.

Однако, в дальнейшем перебрав такие путанные и мелочные доводы недостойные его глубокого ума, Достоевский подходит к еврейскому вопросу серьезнее и глубже.

«Чтобы существовать сорок веков, пишет он, на земле, т. е., во весь почти исторический период человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении; чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в **прежней идее**, хоть и в другом виде, опять создавать себе законы и почти веру, — нет, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергический народ, такой беспримерный в мире народ, не мог существовать без *status in statu*, который он сохранял всегда и везде во время страшных тысячелетних рассеяний и гонений своих».

«Признаки эти: отчужденность и отчужденность на степени

религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие хоть есть, но всё равно, надо считать, что как бы их не существовало... Верь в победу над всем миром, верь, что всё покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не общайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, всё равно верь всему тому, что тебе обещано раз навсегда, верь тому, что всё сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и — ожидай, ожидай. Вот суть идеи этого *status in statu*, а затем, конечно, есть внутренние, а может быть и таинственные законы, ограждающие эту идею».

В этих и в дальнейших рассуждениях мысль Достоевского как бы всё время двойится и колеблется. То у него сказывается чувство, что история евреев таинственна, неповторима и никак не сводима к шаблонным причинам. Он говорит о «таинственных законах», охраняющих и пронизывающих эту неповторимую историю евреев, этот «беспримерный в истории народ», то он покидает это углубленное рассмотрение вопроса и скользит по поверхности объяснений, что евреи держатся тем, что образуют «государство в государстве» и презирают все другие народы.

И опять перебирая ворох этих поверхностных объяснений Достоевский вновь поднимается над ними и останавливается перед таинственною глубиною еврейского вопроса.

«Тут (в вековом национальном сохранении еврейства) не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу — это-то уже несомненно. Что свой Промыслитель под именем прежнего первоначального Иеговы, с своим идеалом и с своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой — это-то уже ясно. Да и нельзя, повторяю я, даже и представить себе еврея без Бога, мало того, не верю я даже в образованных евреев-безбожников: все они одной сути, и еще Бог знает чего ждет мир от евреев образованных».

Но лишь на мгновение нырнув в глубину еврейского вопроса Достоевский вновь выплывает на его поверхность и для него оказывается сомнительным: не опасно ли и справедливо ли давать евреям равноправие? С одной стороны он как будто

бы отвечает на этот вопрос положительно. «Само собою всё это требует гуманность и справедливость, говорит он, всё это требует человечность и христианский закон, всё это должно быть сделано для евреев».

Но всё это «само собою» в дальнейшем оказывается лишь с одной стороны, а зайдя с другой стороны Достоевский тут же пишет: «Но если они (евреи) во всеоружии своего строя и своей особности, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии своих правил и принципов совершенно противоположных той идее, следуя которой доселе, по крайней мере, развивался весь европейский мир, потребуют совершенного уравнивания всех прав с коренным населением, то не получат ли они тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против самого даже коренного населения».

Тут мы встречаем у Достоевского публициста обычное качание маятника от провозглашения великих христианских идей к практическим рассуждениям, не имеющим ничего общего с этими идеями. Провозгласив, что всё, что «христианские законы», «справедливость», «человечность» требуют, всё это должно быть сделано для евреев, он вдруг восклицает: «Довольно они (евреи) их получили у нас, этих прав над (?) копенным населением». Это о евреях в России. Под конец Достоевский снова призадумывается. «Наши оппоненты, говорит он, указывают, что евреи напротив бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев, богата, банкиры, цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не девять десятых их буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут где бы урвать копейку на хлеб. Да, это, кажется, правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев (т. е. огромного большинства их, по крайней мере) в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд; еврей любит торговать чужим трудом... Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о **жидовстве** и об **идее жидовской**, охватывающей весь мир вместо 'неудавшегося христианства'».

В этих словах Достоевский под «жидовством» явно пони-

мает уже не евреев только, а всех живущих чужим трудом, видя в этом «жидовскую идею», побеждающую христианскую.

Рассуждения Достоевского на страницах «Дневника писателя» были встречены его русскими и еврейскими читателями, несмотря на его не всегда искренние оговорки, как антисемитские. Одни этому радовались, другие огорчались, третьи недоумевали. Достоевский ответил этим своим читателям...

«Неужели правда, — удивлялся он по поводу письма одной читательницы-еврейки, — как пишет мне одна, безо всякого сомнения (что уже видно по письму ее и по искренним, горячим чувствам письма этого), благороднейшая и образованная еврейская девушка, неужели и я, по словам ее, враг этого «несчастливого племени», на которое я «при всяком удобном случае будто бы так жестоко нападаю»? «Ваше презрение к жидовскому племени, которое «ни о чем кроме себя не думает» и т. д. и т. д. совершенно очевидно». Нет, против этой очевидности я восстану, да и самый факт оспариваю. Напротив, я именно говорю и пишу, что «всё, что требует гуманность и справедливость, всё, что требует человечность и христианские законы, всё это должно быть сделано для евреев». Я написал эти слова выше, но теперь я еще прибавлю к ним, что несмотря на все соображения уже мною выставленные, я окончательно стою, однако же, за совершенное расширение прав евреев в формальном законодательстве и если возможно только, и за полнейшее равенство прав с коренным населением».

Но это с одной стороны. И Достоевский сейчас же переходит к вопросу и с другой стороны. «В иных случаях, пишет он тут же, они (евреи) имеют уже теперь больше прав, или лучше сказать возможности ими пользоваться, чем само коренное население». Так что получается как будто наоборот, что надо коренное население уравнивать в правах с евреями.

При этом Достоевскому приходит на ум такая, как он говорит, «фантазия»: «Ну что если пошатнется каким-нибудь образом и от чего-нибудь наша сельская община, ограждающая нашего бедного коренника-мужика от стольких зол, ну, что если тут же к этому освобожденному мужику, столь неопытному, столь не умеющему сдержать себя от соблазна, и которого именно опекала доселе община, нахлынет всем кагалом еврей — да, что тут: тут мигом конец его: всё имущество его, вся сила его перейдет назавтра же во власть еврея,

и наступит такая пора, с которой не только не могла бы сравняться пора крепостничества, но даже татарщина».

Так что еврей «хуже татарина», хуже крепостного права. Только Достоевский при этом спешит оговориться, что всё это только его «фантазия». Но сказав несколько слов для смягчения этой фантазии он вновь переходит в наступление: «Вон евреи кричат, что они были столько лет угнетены и гонимы, угнетены и гонимы и теперь, и что это, по крайней мере, надо взять в расчет русскому при суждении о еврейском характере. Хорошо мы и берем в расчет и доказать это можем: в интеллигентном слое русского народа не раз уже раздавались голоса за евреев. Ну, а евреи: брали ли и берут ли они в расчет, жалуюсь и обвиняя русских, сколько веков угнетений и гонений перенес сам русский народ? Неужто можно утверждать, что русский народ вытерпел меньше бед и зол «в свою историю», чем евреи где бы то ни было? И неужто можно утверждать, что не еврей, весьма часто, соединялся с его гонителями, брал у них на откуп русский народ и сам обращался в его гонителя? Ведь это всё было же, существовало, ведь это история, исторический факт, но мы нигде не слыхали, чтоб еврейский народ в этом раскаивался, а русский народ он всё-таки обвиняет за то, что тот мало любит его».

Такова странная аргументация Достоевского. Что русский народ веками испытывал угнетения и преследования это факт бесспорный, исторический факт, как говорит Достоевский. Его долго веками угнетали поминаемые Достоевским татары. Но кто же брал у татарского хана «на откуп русский народ?» Это были русские князья, ездившие за этим в ханскую ставку и там получавшие ярлык на эксплуатацию русского народа. Евреи к этому никак и ничем не были причастны. Далее, русский народ веками страдал от крепостного права. И опять закрепили русского крестьянина русские цари и русские дворяне, к сословию которых принадлежал и Достоевский. И к этому евреи ни с какого бока не причастны. И у еврейского народа и у русского народа источники угнетения и притеснения были одни и те же — царское правительство и реакционные классы и партии. Достоевский говорит, что он не знает, брали ли и берут ли евреи «в расчет» эти притеснения и гонения, которым подвергался русский народ. Он что-то об этом не слышал. Но когда евреи принимали участие в русском освободительном и



революционном движении, к негодованию Достоевского, то это и было ведь принятие «в расчет» печальной судьбы русского мужика. И не только принятие в расчет, но и открытая борьба за его лучшую долю плечом к плечу с лучшими русскими людьми. Евреи на свой пай понесли не мало жертв в этой борьбе и Достоевский ведь принадлежал к многочисленному числу тех, которые и за это евреев осуждали.

Но затем Достоевский опять переходит на кроткую христианскую позицию и призывает к братству с евреями. «Да сойдемся мы, — восклицает он об отношениях между русскими и евреями, — единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в полное братство с собою несмотря на различие веры и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но всё-таки для братства, для полного братства нужно **братство с обеих сторон**. Пусть еврей покажет ему (русскому народу) и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтобы ободрить его».

Так что опять получается, что дело не в антисемитизме русских, а в руссофобстве евреев, которые должны ободрить русских и проявить к ним добрые чувства. Достоевский получал множество взволнованных писем по поводу своих статей по еврейскому вопросу. Среди этих писем очень большой интерес представляет письмо полученное из московской тюрьмы в начале 77 года, подписанное неведомой фамилией.

«Я редко читал, пишет Достоевский в ответ этому тюремному корреспонденту, что-нибудь умнее вашего письма ко мне. Письмо Ваше увлекательно, хорошо». И весь ответ Достоевского густо пересыпан этими комплиментами по адресу своего еврейского корреспондента из Бутырской тюрьмы. «Верьте полной искренности с которою жму протянутую мне руку», пишет Достоевский в заключение письма. Но кто же был этот странный корреспондент отбывавший наказание по вульгарному уголовному делу о подделке банковского чека и так глубоко заинтересовавший Достоевского?

Достоевский не назвал его по имени и не сказал в чем состояло его преступление и наказание. Но теперь мы это

знаем во всех подробностях, в особенности после опубликования всех материалов в книжке Л. Гросмана «Исповедь одного еврея» (М. 1924 г.). Корреспондентом этим был еврейский писатель Авраам Урий Ковнер, автор ряда статей и очерков на еврейском языке и фельетонист либеральной русской газеты «Голос», издававшейся Краевским. Ковнер очень увлекался «мыслящими реалистами» шестидесятых годов и его прозвали еврейским Писаревым. Он горячо доказывал необходимость избавиться от «мещанской морали и не бояться нарушать ходячие предрассудки». Когда в 1866 году начал печататься в «Русском Вестнике» знаменитый роман Достоевского «Преступление и наказание» Ковнер с великим волнением и жадностью проглатывал его. Психология Раскольникова, нарушившего самую непререкаемую заповедь: не убий, и провозгласившего, что «необыкновенный человек имеет право разрешить своей совести перешагнуть иные препятствия», задевала самые сокровенные убеждения Ковнера. Эти вопросы его давно и сильно волновали, и вот гениальный русский писатель точно в ответ на это создает образ Раскольникова. Убивать какую-то жалкую старуху-ростовщицу, чтобы получить какие-то гроши, он конечно не станет. Он для этого человек слишком рассудительный, да и на убийство у него не поднимется рука. Но иное дело обмануть банк на крупную сумму, с помощью которой можно сделать столько добра, почему это не сделать? Кому он этим повредит? Богатейшему банку для которого сумма эта сущие пустяки, да и наживает банк свои капиталы очень легким и весьма мало почтенным трудом. А сколько лиц можно этими деньгами поставить на ноги?

И Ковнер решает подделать перевод в Петербургском Учетном и Ссудном банке, корреспондентом которого он состоял. Ссылаясь на страшную нужду и нищету своих близких, на голодание еврейских детей и на миллионы которые так легко зарабатывал банк, Ковнер впоследствии в письме к Достоевскому так объяснял свой поступок: «Я решился похитить такую сумму, которая составляет три процента с чистой прибыли за один год пайщиков богатейшего банка в России. Эти три процента составили 168.000 руб. Этими тремя процентами я обеспечил бы своих дряхлых родителей, многочисленную мою нищую семью, малолетних детей от первой жены, любимую и любящую девушку, ее семейство и еще множество униженных

и оскорбленных, не причиняя никому существенного вреда». При этом Ковнер, последователь Раскольников, не ощущал никаких угрызений совести. Его силлогизм казался ему неувязным с точки зрения «мыслящего реалиста», а до голоса «мещанской морали» ему дела не было. «Я смело заявляю даже вам, пишет Ковнер Достоевскому уже из тюрьмы, что у меня нет и не было никакого угрызения совести. Пусть принятый шаг идет против книжной и общепринятой морали. Но я не вижу в этом никакого ужасного преступления, по поводу которого с пеною у рта говорила почти вся русская печать».

И прокурор Муравьев в своей обвинительной речи на процессе Ковнера говорил: «Ковнер не кается перед нами в своей вине, а радуется, быть-может, сам не понимая всей чудовищности своих откровений. Можно подумать, что перед нами высокий подвиг труда, какое-нибудь благородное усилие мысли и предприимчивости. Уже не считает ли он себя каким-то необыкновенным, непризнанным существом, у которого и самый подлог является геройством, в самом мошенничестве сквозят доблесть и честь».

Специальная тема этой статьи не позволяет нам остановиться на чрезвычайно интересной во многих отношениях фигуре еврейского последователя Раскольникова. Я говорю о его интересной переписке с Достоевским лишь постольку, поскольку в ней выявилось отношение Достоевского к еврейскому вопросу. В своем первом письме к Достоевскому Ковнер писал: «Я, во-первых, еврей, а вы не очень долюбиваете евреев, во-вторых, я был из тех публицистов, которых вы презираете, который вас много, зло и азартно ругал, в-третьих, наконец, я преступник и пишу вам эти строки из тюрьмы».

На эти слова Достоевский отвечает: «Я вовсе не враг евреев и никогда им не был. Но уже сорокавековое их существование, как вы говорите, доказывает, что племя это имеет чрезвычайно жизненную силу, которая не могла в продолжении всей их истории не формироваться в разные *status in statu*. Сильнейший *status in statu* бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как же они могут не стать хотя в части в разлад с коренной нацией, с племенем русским? Врагом же я евреев не был. У меня есть знакомые евреи, приходящие и теперь ко мне за советами по разным предметам и они читают

«Дневник писателя» и хотя щекотливые, как все, за еврейство, но мне не враги, а напротив приходят».

Ковнер пытается убедить Достоевского, что не все евреи в России представляют «государство в государстве». «Если где-нибудь еще сохраняются следы, пишет Ковнер, то только вследствие их невольного скучения на одном месте и самой отчаянной борьбы за жалкое существование». Ковнер был убежденный ассимилятор (он впоследствии принял христианство) и доказывал Достоевскому, что евреи сохраняют свою национальную особенность только из-за преследований и ограничений в правах, что еврейство, так сказать, рассосется и исчезнет в национальном смысле после того как оно получит равноправие. Ковнер при этом обнаруживал гораздо более близорукое и поверхностное понимание глубины еврейского вопроса чем Достоевский, которому он возражал.

*П. Берлин*

# О МЕТАФИЗИКЕ ИЛИ “ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ”

ПО ПОВОДУ КНИГИ ПРОФ. ФИЛОСОФИИ СОРБОННЫ  
ВЛАДИМИРА ЯНКЕЛЕВИЧА — «ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ»\*

Со времени появления научного знания в нашем смысле, то есть приблизительно со времени Аристотеля, и вплоть до Канта, метафизика считалась «царицей наук» — основной наукой. Но сам Аристотель, как известно, не применял термин «метафизика». Термин этот появился позже и совершенно случайно. Аристотель назвал свое исследование об основах бытия **первой философией**. Но философ первого века до Р. Х., Андроник Родосский, «издав» собрание научных сочинений Аристотеля, поместил его первую философию **после его физики**. Откуда и пошел термин «метафизика». А оригинальное название Аристотеля, «первая философия», как-то забылось.

Известно, что Кант нанес тяжелый удар престижу «метафизики». Многие к ней стали относиться с пренебрежением. На ее место (особенно в России) выдвинулась новая наука — **гносеология**. В период наивного (и отнюдь не научного!) увлечения наукой, увлечения, которое теперь называют «сиантизмом», порядком забыли и об Аристотеле и о его «первой науке». Однако, в нашу эпоху на Западе наивный сиантизм всё больше изживается. Одновременно пробуждается новый интерес к метафизике, которой снова возвращается ее значение первой философии или науки об основах мира. Еще в 1931 году наш отечественный философ, Н. О. Лосский, основатель русской гносеологической школы, опубликовал в Париже книгу «Введение в метафизику». В ней читаем:

---

\* Vladimir Jankélévitch, Professeur à la Sorbonne, “Philosophie première”, Presses Universitaires, Paris, 1954.

«В течение почти всей половины XIX века внимание талантливейших представителей философии было сосредоточено почти исключительно на одной лишь философской науке — гносеологии... Такая концентрация сил на одной проблеме дала весьма плодотворные результаты... Однако, замкнувшись в слишком специальной и сравнительно далекой от жизни сфере исследований, философия отделилась от широких кругов общества, которые стали питаться доморощенной дилетантской философией вроде учений Геккеля. Грандиозных концепций мира, великих метафизических систем, подобных системам Аристотеля, Спинозы, Лейбница, Гегеля, которые становились бы центром оживленного обсуждения, новейшее время не вырабатало и даже, опираясь на кантовскую гносеологию, отвергало возможность их. Только в последнее время положение стало меняться. Опять возродился интерес к метафизике, опять создается умственная атмосфера, содействующая построению философских систем, охватывающих все стороны мира. (Подчеркнуто мною. Л. З.) К тому же явилось и гносеологическое оправдание этих попыток».

И дальше Лосский дает свое, очень краткое, но соответствующее замыслу Аристотеля определение того, что надо считать метафизикой: — «Метафизика есть наука **о мире как целом**. Она дает общую картину мира, как основу для всех частных утверждений о нем... Таким образом, метафизика, при нашем определении этого понятия, есть наука, входящая в состав **всякого мировоззрения**. (Подчеркнуто Н. О. Лосским)... Пора уже перестать бояться метафизики и шарахаться от самого этого слова в сторону, подобно московской купчихе, замирающей в суеверном ужасе от слова жупел».

Итак, не будем бояться слова «метафизика», а обратимся к разбору вышедшей недавно во Франции книги, трактующей именно о метафизике. Впрочем во Франции, где влияние Канта, хотя и значительное, всё же никогда не было так сильно, как в Германии или России, метафизика никогда не подвергалась такому пренебрежению как, например, в той же России. Достаточно сказать, что Бергсона часто называют «метафизиком» и он сам, конечно, не стал бы «шарахаться» от такого названия.

В 1954-ом году в парижском издательстве «Пресс юниверситер де Франс» вышла книга Владимира Янкелевича под симптоматическим названием — «Первая философия».\* Книга эта

вызвала целый ряд положительных отзывов. Янкелевич и его философия вошли в панораму новых идей, опубликованную в Париже в 1964 году. Этой панорамой открывается философская энциклопедия, выпущенная издательством «Эдиссон юниверситэр» под названием «Словарь современных идей». В издании этого словаря приняли участие многие видные представители французских академических кругов, в том числе философ с мировым именем Жан Валь.

Блестящий эрудит, владеющий в совершенстве многими языками, в том числе и русским, знаток греческой литературы, Владимир Самойлович Янкелевич в большой степени сочетает в себе две литературно-философских традиции — французскую и русскую. Он находился под сильным влиянием Льва Шестова. Но не только. Сам Янкелевич причисляет себя к интуитивистам, скорее всего к интуитивистам школы Анри Бергсона. У Янкелевича можно найти ссылки и на славянофилов, и на Семена Франка и даже на Тютчева, нашего поэта-философа, певца ночной стихии и экзистенциальной (как сказали бы теперь) тоски.

Должен признаться, что читать Владимира Янкелевича — во всяком случае его «Первую философию» — не легко. Страницы пестрят ссылками на классических греческих авторов, философов, Отцов Восточной церкви. Цитаты даются по-гречески без перевода. В изложении, может быть, тоже сказалось влияние Шестова. Но, раз одолев трудности стиля и изложения, идеи, выдвигаемые и защищаемые Янкелевичем ясны и кажутся логически вытекающими одна из другой. И по изложению, и по содержанию — он классик. Точнее — продолжатель классической философии. Его «три порядка» (о которых ниже), как мне кажется, можно проследить во всех глубоких философских системах, включая и систему Семена Франка. Разделение познавательных способностей человека на восприятие, интеллекцию и интуицию — вполне современно по обоснованию. Но, как мне кажется, оно так же вечно, как и сама философия. Характерно и, если угодно, ново (вернее на novo прекрасно сформулировано) «определение» порядков по способу познания. «Низший порядок» соответствует восприятию, порядок вторичный — интеллекции или диалектическому разуму, наконец «высший» порядок — интуиции и только интуиции.

После этих предварительных замечаний обратимся к краткому разбору книги «Первая философия».

\* \* \*

Свое изложение Янкелевич начинает с анализа категории, которую по-французски он обозначает чаще всего составным термином *tout autre*, то есть, по-русски — «совершенно иное».

Для Владимира Янкелевича серьезная метафизика, вообще серьезная философия, начинается тогда, когда мыслящий человек впервые отдает себе отчет в том, что есть, что существует — **иное**. И притом не просто иное, а совершенно иное, **иное как таковое**. Иначе говоря, метафизика начинается тогда, когда человек начинает сознавать, что кроме существующего или данного «вот сейчас и вот здесь» есть еще **иное**. Притом — не другое такое же «вот сейчас и вот здесь», а нечто принципиально, основоположно иное.

Почему же так важно постижение этого **иного**, иного как такового? Потому что постижение этой категории представляет собой предпосылку для постижения **различных порядков бытия**, или порядков в бытии.

Янкелевич пишет: — «...Можно сказать, что первым проявлением метафизической **серьезности** было принятие **совершенно иного порядка**, отказ от сведения к различию в степени — к увеличению или уменьшению — абсолютного различия в природе, основоположной гетерогенности между «этим» порядком и **другим**... Более или менее завуалированное перенесение эмпирических данных за рамки эмпирической сферы, — это, конечно, путь упрощительства, путь не мудрствующего лукаво обывателя, который мало расположен к тому, чтобы представить себе **абсолютно иное**.

Иначе говоря, метафизическая серьезность заключается в том, чтобы **принять** головокружительное различие, составляющее пропасть между, поэтически выражаясь, «дольним» миром и миром «вышним»...» Итак, по Янкелевичу, есть по крайней мере два мира, или два порядка бытия — порядок эмпирический и порядок метаэмпирический, различие между которыми качественное, различие в природе, а не только в степени, в количестве.

В другом месте Янкелевич пишет: — «Всякий опыт — это ограниченное, конечное восприятие или представление чего-то



ограниченного, данного. Таким образом, опыт неограниченного, неконечного можно назвать опытом только по недоразумению... У всего чувственного, чувственно данного, по необходимости своя ограниченная зона. Зона эта ограничена, так сказать не степенью, а отрицанием: **за** этой определенной зоной мы больше **не** воспринимаем, восприятия больше нет и быть не может. Сама возможность восприятия предполагает эту ограниченность, предполагает границу. Воспринимать безграничное — воспринимать неограниченную величину или неограниченную бесконечную глубину... это значит лишь воображать, что воспринимаешь...

Восприятие **всего** — это восприятие **ничего**. Всякое восприятие, если только восприятие не пустое слово, есть восприятие частного. Восприятие «**частностно**» по самой своей природе. Эмпирия всегда «**частностна**» по своему существу.

Затем, базируясь на ставшем после Бергсона классическом анализе пространства (восприятия пространства) Янкелевич показывает, что сложение частностных, конечных данных никогда не дает целого, внеконечного — в пределах эмпирии, то есть опыта. Целое остается целым, а частное остается частным и частностным. Янкелевич пишет:

«От эмпирии нельзя перейти ни к вечности, ни к мета-эмпирической универсальности. Конечное не становится бесконечным, целым, ни путем постепенного увеличения, ни путем прибавления кусочка по кусочку, ни путем сложения веков, ни путем восхождения от одной причины к другой и так далее... Подобно тому, как вездесущее не представляет собой расширения пространства, а является нигилизацией, то есть отрицанием всякого топографического пространства, так и вечность не есть расширенное панорамическое созерцание истории...»

И Янкелевич приходит к следующему заключению о реальности чувственного восприятия, точнее — о реальности того, что дано в чувственном восприятии: — «Чувственное данное не обозначает ничего иного, кроме того, что оно есть... Уже Шеллинг учил, что «чувственное данное обозначает именно то, что оно есть». А это значит, что явление есть именно то, чем оно является».

Итак — эмпирическое данное — это **конечное**. Но как от эмпирического данного, от конечного перейти к **эмпирии**

как **целому**? По Янкевичу, такого перехода нет и быть не может в **пределах эмпирии**. Переход осуществляется в диалектическом разуме. Эмпирия в целом, говорит Янкевич, это пустое сочетание слов. Но есть метаэмпирия — термин, введенный самим Янкевичем, — есть метаэмпирический порядок, который нам доступен, доступен уже логически. Мы водворяем эмпирические данные в этот метаэмпирический порядок, данный нам путем диалектического разума. Но кроме этого существует еще и третий порядок, который не дан ни эмпирически, ни логически. Порядок этот, по выражению Янкевича, металогичен.

Наша реальность, по Янкевичу, дана нам в двух плоскостях или в двух способах познания: эмпирически и метаэмпирически. Эмпирически мы познаем путем восприятия, метаэмпирически — путем диалектического разума. **Различие между двумя мирами не количественное, а качественное, не в степени, а в природе**, повторю я еще раз.

Свой второй мир, или вторичный порядок, Янкевич называет метаэмпирией, потому что воспринять этот порядок эмпирически уже нельзя. Оригинальность построения Янкевича заключается в том, что он показывает, что между первым и вторым, первичным и вторичным порядком действует, так сказать **закон иного**. Второй — вторичный порядок именно **иной** порядок.

Наконец, между вторичным порядком и порядком третичным действует то же «иное», но уже как бы во второй степени. Это уже не иной порядок, а **совершенно иной**. Здесь трансцендентность в квадрате, так сказать. Если от первичного порядка, от мира восприятия, мы можем перейти к вторичному, от восприятия — к диалектическому разуму, в котором мы всё же имеем категорию мира как целого, — мира внеконечного — то третичный порядок не может быть дан нам и в диалектическом разуме. Он непознаваем по самому своему существу. Он — вернее, проблески его, — могут быть даны лишь в мгновениях интуиции. Но интуиция не дает познания в тесном смысле слова. Она остается, как говорит Янкевич по-французски «амбигю» — двусмысленной, неясной.

\* \* \*

Вот, в самом упрощенном виде, «метафизика» Янкевича. Конечно, по такому краткому изложению, нельзя судить о всем

богатстве изложения, о сложной и тонкой аргументации, о тех или иных удачных формулировках. Постараюсь еще добавочно оттенить некоторые пункты.

Прежде всего отмечу действительно основоположный подход к принципу **инаковости**. Конечно, философы знали «инаковость» и раньше. В частности Гегель ведь построил свою паразитально глубокую систему на противопоставлении тезиса и антитезиса и на выходе, по-немецки на «Ауфхебунг», из этого противоречия на более высокий уровень. Можно сказать, что Янкелевич развивает дальше этот принцип диалектики, анализируя уже самое базу, без которой и диалектика была бы немислима.

Именно исходя из инаковости Янкелевич «находит» (как и все глубокие мыслители, в частности еще Пифагор) **три** иерархических порядка. Мне кажется, что у Гегеля этот момент — момент иерархичности — недостаточно вскрыт. Впрочем, это выходит из рамок настоящего изложения.

Очень удачно у Янкелевича определение и разграничение «эмпирии» (как порядка, данного в восприятии) и метаэмпирии (уже в восприятии не данной). Ценны и аргументы, приводимые Янкелевичем в пользу того, что между эмпирией и метаэмпирией, между порядком первичным и вторичным, переход не количественный, а качественный. Конечно, вторичную сферу не отрицают и эмпирики, и материалисты. Иными словами, не отрицает ее и «человек улицы», если он вообще различает разрозненные восприятия с одной стороны и какое-то наше цельное знание о самой эмпирии — с другой. Но «человек улицы» думает, что целостное знание получается путем абстракции от частных восприятий и сложения этих абстракций. Янкелевич же показывает и доказывает, что целостное знание первично по отношению к разрозненному. Последнее не могло бы и существовать без первого. Кстати сказать ту же точку зрения защищает и Франк. И в этом — шаг вперед Франка и Янкелевича в отношении философии Канта. Кант тоже разделял плоскость «феноменального» то-есть эмпирического — от нуменального или еще умопостигаемого. Но вторая плоскость для Канта не была доступна познавательной. Франк же и Янкелевич считают что обе плоскости нам так или иначе даны, доступны для знания.

Но на разложении реальности на два порядка, по Янкеле-

вичу, философия еще не кончается. Кстати, подчеркну, что в ходе изложения Янкелевич переставляет нумерацию порядков или миров. Мир эмпирии у него из первого становится третьим. Знание об эмпирии — третьей философией. Метаэмпирия остается вторичной и знание о ней — второй философией. Но ни третья, ни вторая философия не дают еще «основы основ». Они сами, в каком-то смысле, висят в воздухе, сами лишь относительноны или соотносительны и должны быть отнесены к чему-то, что их превосходит. Превосходит не количественно и даже не качественно, а в данном случае еще и как-то иначе. Превосходит *tote genere*. Здесь, как я уже сказал, трансцендентность «в квадрате». И здесь — сфера **первой философии**, метафизики в тесном смысле.

Диалектический разум, говорит Янкелевич, трансцендирует эмпирию, то есть трансцендирует чувственное познание — восприятие. Но диалектический разум в свою очередь оказывается трансцендентированным, **интуицией**.

Интуиция нас вводит в «совершенно иной» порядок, который уже не есть «порядок», не есть даже «мир», поскольку об этом **совершенно-ином** мы ничего сказать не можем, не опускаясь снова во вторичную или третичную сферу, в эмпирию или метаэмпирию. Мы можем только сказать, что... он «есть».

Для нашей эпохи характерно, что философы и ученые, занимающиеся проблематикой знания, всё чаще возвращаются или обращаются к интуиции. В России первым теоретиком интуиции, как известно, был Лосский. Но — по Лосскому — всякое знание — это интуиция. Лосский различает лишь различные типы интуиции. Один из его трудов так и называется: «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция». Янкелевич же применяет термин «интуиция» скорее в его первоначальном, ограниченном, значении, как нечто отличное от познания в тесном смысле. У Янкелевича (как и у Бергсона) интуиция как бы дополняет диалектический разум, или просто разум. Там, где разум останавливается, признает свои собственные границы, там, и только там, начинается интуиция.

\* \* \*

В заключение скажу, что схема Янкелевича позволяет иначе подойти к «метафизике» Канта. Мир эмпирии совпадает и

у Янкелевича, и у Канта. Интеллигибельный мир Канта — это метаэмпирия Янкелевича, которая дана в «интеллектции», дана умозрительно или для диалектического разума. Здесь — уже целый ряд уточнений относительно того, как нам дан этот мир или этот порядок. Потому что по Янкелевичу, он нам **дан**. И здесь принципиально новое отношение к философии Канта и эмпириков. Наконец тот мир, который по Канту подсуден не теоретическому, а практическому разуму, у Янкелевича «подсуден» интуиции. Познавательность мира передвигается, так сказать, на один этаж. По Янкелевичу познаваемы «два этажа», а не один. Непознаваемый же мир (непознаваемый для теоретического разума) поднимается еще выше. Он становится третьим (или первым — в зависимости от порядка «нумерации»). Но, как говорит сам Янкелевич, первые два порядка не могли бы существовать без этого — третьего.

*Лев Закутин*

# ТРИ НЕКРОЛОГА

Б. И. НИКОЛАЕВСКИЙ

Почти сорок лет мы были с Б. И. Николаевским большими друзьями. И вот 22 февраля в Калифорнии, на 79 году жизни, он умер от сердечной болезни. Мне хотелось бы о Б. И. (как и о скончавшемся Н. В. Вольском) написать большие воспоминания. Но сейчас я вынужден ограничиться этим кратким некрологом.

Б. И. несомненно был человеком выдающимся и смерть его — большая утрата не только для русской политической эмиграции, но и для множества иностранцев, занимающихся изучением Сов. Союза. Когда-то Наполеон сказал о себе: «я существо только политическое». Б. И. тоже, конечно, был существом по преимуществу политическим. Таким его знали многие и русские и иностранцы. Но я то знал Б. И. и не политического. За долгие годы дружбы я знал Б. И. в частной жизни, как друга, как человека верного слова, как человека хорошей души; знал его и слабости и достоинства.

Перед второй мировой войной Б. И. очень старался, чтобы мы с женой уехали в Америку. Но обстоятельства сложились так, что мы остались во Франции, а Б. И. уплыл за океан. Помню, когда сразу после войны он приехал к нам в Париж, моим почти первым вопросом было: «Ну, Б. И., как в Америке? Довольны?» И на это с какой-то застенчивой улыбкой Б. И. сказал: «Да в Америке-то очень хорошо, только мне бы где-нибудь в Белебее было бы лучше. Я же в заграницах нигде не приживаюсь».

Это было верно. Несмотря на все свои интернационалы и социаль-демократии (Б. И. всегда произносил это слово по старинке, с мягким знаком посередине), Б. И. был страшно русский человек и как Тургенев, Вырубов, Мечников, не мог бы добровольно жить заграницей.

Б. И. родился в Белебее, Уфимской губернии, в 1887

году. В его характерной наружности было что-то от тех краев — славяно-башкирское. В свое время он показывал мне фотографию своей матери — женщины с типично-русским хорошим лицом — которую он очень любил. Помню, в Париже я был в его комнате, когда ему из Москвы должна была позвонить мать. Помню, его страшное волнение, помню, как он кричал в телефонную трубку каким-то надтреснутым голосом: «мама, это я! мама, это я!» Но разговор не то из-за плохой слышимости, не то из-за чего-то другого оборвался.

Отец Б. И. был священник и в его роду, как он говорил, было «премного поколений священников». У Б. И. хранилось самотканное деревенское полотенце, вышитое синими и красными крестиками, с вышитой надписью «отцу Иоанну от верных прихожан». Это был подарок прихожан своему сельскому священнику о. Иоанну Николаевскому. Но Б. И. с ранней юности принял иной «сан», сан революционера-интеллигента. В этом «сане» он был крайне типичен. Он был одним из последних могикан. Таких русских интеллигентов почти уже нет и, конечно, не будет. Эта страница истории русской интеллигенции уже перевернута. Когда-нибудь, несмотря на многие прегрешения русской революционной интеллигенции, о ней вспомнят потомки. В ней было и много привлекательного. И это прекрасно понимал такой ее антипод, но тонкий психолог В. В. Розанов, написавший о революционной интеллигенции замечательные строки в своих «Опавших листьях».

С юности Б. И. стал марксистом и при том большевиком (хоть и не надолго). С юности знавал аресты, тюрьмы, ссылки. Это были «его университеты». С начала революции 1917 г. Б. И. был уже видным меньшевиком (левым) и был избран в ЦК РСДРП. В среде революционной демократии Б. И. был уже на виду. Но широкая публика его не знала. В 1922 году, вместе со всей головкой меньшевиков, Б. И. был выслан советским правительством за границу. И вот тут, в Берлине, в том же 1922 году мы познакомились.

Помню, к нам в редакцию «Новой Русской Книги», где работали мы вдвоем с проф. А. С. Ященко, в приемный час однажды пришел очень высокий и очень худой человек с редкой бородкой: типичный интеллигент-революционер, хоть портрет пиши. Тогда меньшевики, кроме своего «Соц. Вест-

ника», ни в каких русских зарубежных изданиях не участвовали, чтобы не оскоромиться «буржуазностью». Даже «Современные Записки» были для них табу. Этот запрет (или обет) наложил на них, как говорили, их игумен, их лидер Ф. Дан. Но в библиографическом журнале «Н. Р. К.» сотрудничать было можно. И Б. И. стал постоянным сотрудником «Н. Р. К.» Известно, что сжигающей страстью Б. И. был — архивизм, собирание документов. Помню, на упрек одной дамы, что Б. И. не заходит к ним, Б. И. с хитровато-виноватой улыбкой ответил: «Да у вас же нет ничего архивного». Над этой страстью Б. И. к архиву, к книге, к документу, любил подтрунивать его старый друг И. Г. Церетели: «Б. И. не только любит книгу или документ, у него страсть к ним такая же, как у других — к женщинам. Он готов даже похитить книгу, но за это нельзя его судить, ибо ведь за похищение любимой женщины не судят». И в «Новую Русскую Книгу» Б. И. стал ходить чуть ли не ежедневно. Дело в том, что мы получали тогда неопишное множество русских газет и журналов со всех концов мира. Боюсь ошибиться, но их надо было считать, пожалуй, сотнями. И увидев эти кучи газет и журналов, которые я по молодости лет и по своей неархивности просто выбрасывал, Б. И. страшно взволновался. Он просил меня Христом Богом не выбрасывать ничего, а всё сохранять для него, он всё унесет.

Позже, когда я стал работать для своих книг в архиве Б. И., я оценил эту его страсть к документу. В те времена у Б. И. уже составилась не только громадный, но совершенно исключительный, уникальный архив. Тут был и подбор книг по русскому и международному революционному движению, но главная ценность, это — отдельные именные папки с вырезками из газет и журналов. Кого только в папках не было! Русские ученые, писатели, политики, военачальники, поэты, художники — вся русская культура! В литературных и научных кругах уникальный архив Николаевского был широко известен. Недаром однажды «темной ночью» в помещение архива вломились с заднего хода советские агенты, по наводке (как теперь разоблачено) некоего провокатора, «троцкиста», и похитили документы из хранившегося здесь архива Троцкого. А когда в Париж, во время войны вступили нацисты, они в первые же дни бросились на розыски знаме-



нитого архива Николаевского и бóльшую часть этого архива захватили. Так и погиб этот уникальный архив где-то в Германии, под бомбами союзников. А кто только не пользовался им. Б. И. с удовольствием давал возможность всем работать в его архиве. А мне, для моих книг часто добывал такой — даже рукописный! — материал, какого было не достать во всем мире! В архиве Б. И. работали Алданов, Чернов, Церетели, Милуков, много людей, всех не перечислишь.

За эти годы (20-ые и 30-ые) Б. И. писал в «Соц. Вестнике», но мало. За это время он выпустил две книги — одну об Азефе, другую — о раннем Марксе (в сотрудничестве с немецким социал-демократом, эмигрантом, Менхеном). Только после второй мировой войны, когда «запреты Дана» пали и меньшевики стали широко сотрудничать в русской зарубежной печати, Б. И. стал много писать и в «Новом Журнале», и в «Народной Правде», и в «Новом Русском Слове». Одно время (недолго) Б. И. редактировал и собственный журнал «За рубежом», где напечатал много ценного документального материала. Но самой ценной и интересной работой Б. И. является, конечно, его последняя книга, вышедшая по-английски с предисловием Дж. Кеннана, незадолго до смерти Б. И. — «Власть и советская элита».

После второй мировой войны Б. И. проявил кипучую политическую деятельность, став председателем «Лиги Борьбы за Народную Свободу». Он много потратил усилий по объединению всей демократической эмиграции. Правда, из этих усилий ничего не вышло. Он близко к сердцу принял судьбу новых советских эмигрантов и, в частности, власовцев, хотя именно это привело его к острым столкновениям с некоторыми старыми товарищами из группы меньшевиков. Но уфимец был упрям. И тут его свернуть было невозможно. В своей позиции Б. И. оставался непоколебим, хоть это и принесло ему много тяжелых минут и неприятностей.

На вид сухой, книжный червь, архивариус, историк революционного движения, Б. И. был, в сущности, человеком теплого сердца. Так, например, когда он вернулся из послевоенной Германии и делал в Нью Йорке доклад о положении новых советских эмигрантов, он разрыдался. Надо было видеть с какой трогательной любовью и заботой относился Б. И. к своему самому близкому другу — «Ираклию», И. Г. Церетели

(в особенности, во время болезни последнего). Помню, однажды жена моя встретила на парижском сквере двух голодных русских детей, оказавшихся детьми известного крайне-правого офицера-разведчика, и стала организовывать помощь этой попавшей в беду семье. Услышав рассказ об этих детях, Б. И. тут же полез за кошельком и дал свой основательный взнос, сказав: — «Я тоже буду давать, только не называйте меня, это никому ненужно».

Б. И. до конца своих дней оставался твердокаменным марксистом (но марксистом гуманистического толка). Эту жесткую и в глубине своей бесчеловечную доктрину в Б. И. часто исправляло мягкое русское сердце. По-моему, это оно иногда диктовало Б. И. его политическую линию. Так, чудовищную, насильственную сталинскую коллективизацию, в противоположность многим социалистам (и русским и западным!), которые этот погром, убийства, уничтожения крестьян целыми селами, насилья, депортации восприняли «всё-таки, как социалистический эксперимент», Б. И. воспринял **человечески**, а не «доктринально». Так, как воспринимают еврейские погромы, всякое убийство и насилье. И Б. И. выступил против этого бесчеловечья вразрез с мнениями других социалистов-марксистов. Думаю, что и в отношении к новым советским эмигрантам мягкое русское сердце заставило Б. И. разойтись с некоторыми партийными товарищами.

Б. И. был человеком исключительных, энциклопедических знаний. Из-за своей ранней революционной работы, он не получил законченного образования, не окончил даже среднего учебного заведения. Но он был на редкость широко образованным человеком. Он знал не только свою сферу — история вообще и история международного революционного движения, в частности; у него были большие знания и в естественных науках, и в юриспруденции, и в богословии, и в литературе. За долгие годы эмиграции, в интеллектуальных кругах Европы и Америки многие, занимавшиеся вопросами России, знали и ценили по достоинству необычайную эрудицию Б. И. Я думаю, я не преувеличу, если скажу, что такого знания истории русского революционного движения, истории КПСС и истории Советского Союза, какое было у Б. И., не было ни у кого в мире. Уход Б. И. от нас — это тяжкая потеря для русской зарубежной политической мысли. Для

меня же, это еще и потеря давнего друга, которому я был многим обязан.

### В. А. КРАВЧЕНКО

25 февраля с. г. в своей квартире в Нью Йорке, на 61 году жизни, выстрелом из револьвера в висок покончил с собой Виктор Андреевич Кравченко. Ровно двадцать лет тому назад своей книгой «Я выбрал свободу» (1946) Кравченко сделал себе мировое имя. Его книга была переведена и издана почти во всех странах мира. Она имела международное политическое значение, ибо самому широкому кругу западных читателей открыла глаза на преступления коммунистической диктатуры. «Я выбрал свободу» была первым разоблачением русским коммунистом диктатуры Сталина. Через 10 лет, в 1956 г., на 20-м съезде КПСС эти разоблачения повторил Хрущев (но далеко не всё и не полностью). Разоблачения Хрущева были бомбой для Советского Союза, но для Запада Хрущев не сказал ничего нового: Запад всё это знал. И в этом знании книга Кравченко «Я выбрал свободу» была одним из очень ценных показаний.

И вот через двадцать лет В. А. Кравченко пустил себе пулю в висок. Он был сильный и мужественный человек, как же он пришел к этому трагическому концу?

Я был хорошо знаком с Виктором Андреевичем. Мы познакомились с ним в Париже в 1949 г., когда он приехал на свой процесс с журналом «Леттр Франсез». Общие друзья дали ему мой адрес. И в первый же день приезда (о котором я не знал) в нашу скромную квартиру на седьмом этаже (без лифта) постучался незнакомый высокий брюнет, которого сопровождали два господина в темных пальто, по чьим лицам нетрудно было узнать, что это — детективы-телохранители. Я рад, что мне удалось тогда кое-чем помочь В. А. Мы нашли ему превосходного секретаря на время процесса, с которым Кравченко остался дружен на всю жизнь, а после смерти этот человек стал одним из его душеприказчиков. Удалось достать тогда и некоторых ценных свидетелей — бывших сидельцев советских концлагерей.

На процессе я бывал ежедневно. И надо было видеть, как мужественно, необычайно смело и находчиво вел себя на этом

процессе В. А. Это была отчаянная борьба одного человека со всем аппаратом сталинщины, нагнавшим в Париж целую ораву всяческих лжесвидетелей и продажных французов-коммунистов. Но в свободном суде этот один человек победил сталинский аппарат, как победил Давид Голиафа. Вспоминаю, как на одном заседании Кравченко кричал советскому свидетелю, весьма благоговейно произнесшему «имя отца народов». — «Да мне наплевать на вашего Сталина! Я двадцать лет хотел сказать об этом открыто!» Но особенно памятна на процессе была дуэль Кравченко и генерала от НКВД Руденко. Не понимая «климата» Франции и французского суда Руденко появился, как свидетель, в военной форме, со всеми регалиями и даже в фуражке с голубым околышем. Он попробовал было говорить нагло, именно так как привык говорить в советском суде, но В. А. сорвал это фальшивое и напыщенное выступление. «Вы, Руденко, уверяете Францию в дружбе Сталина? — говорил Кравченко, — но ведь вы со Сталиным во время войны своими поставками Гитлеру убивали французов. Вы убивали французских женщин, стариков и детей. Вы политические и уголовные преступники! Это Сталин выдал Европу на растерзанье фашизму!» И это была не единственная реплика. Кравченко забросал «генерала» подобными «репликами» так, что под конец Руденко, не договорив, предпочел уйти с свидетельского места. А Кравченко кричал ему вслед: «Куда же вы, Руденко! Будьте смелее! Оставайтесь! У меня есть что о вас рассказать на суде!»

Часто встречаясь с Кравченко в его отеле после заседаний суда, я удивлялся, как он нервно выдерживает этот процесс, требующий страшного напряжения. И тем не менее Кравченко блестяще его провел. И это было его вторым сильным ударом по мировому коммунизму. Об этом Кравченко издал документальную книгу «Я выбрал правосудие», имевшую тоже значительный успех.

И вот этот же человек сам лишил себя жизни. Странно? Но нет, кто близко знал В. А., тот видел и понимал, что жизнь его на Западе была трудная. Он был одинок, при чем в значительной мере это одиночество он создал себе сам, из-за предосторожности избегая людей, особенно русских. Он знал, что НКВД охотится за ним и таких ударов, какие нанес ему Кравченко — не прощает. Вместе с одиночеством пришли болезни. Последнее время Кравченко был тяжело болен, чувствуя что

может полностью потерять зрение; у него сдало сердце; другие болезни одна за другой трепали его усталый и нервно изнуренный организм. Была и еще одна «болезнь», угнетавшая Кравченко: в противоположность многим эмигрантам он был «деревом непересадочным». Не знаю, достоинство это или недостаток, но Кравченко был настолько русский, настолько был связан с родной почвой, с своей страной, с русским душевным обликом, что нигде вне России жить, собственно, не мог, несмотря на все его материальные возможности. И эта ультрарусскость, а еще более того — сильная советскость — на Западе для него оказалась тягостью и только усиливала одиночество.

Отсюда пришло и то, что он жил ложными политическими иллюзиями. Он ненавидел Сталина, как только можно было его ненавидеть. Но будучи долголетним партийцем и совершенно советским человеком по своему складу, он уже не питал ненависти, например, к Хрущеву. Я помню наши длинные разговоры о том, что — «Вы не понимаете Хрущева, а я его знаю, я его понимаю. Никита неплохой, Вы вот увидите, он повернет к народу, он даст и свободу и хорошую жизнь». Никаких возражений Кравченко не хотел и слушать. После конца Никиты Кравченко помрачнел. Но вскоре же стал строить новые иллюзии: Леня Брежнев, с которым Кравченко вместе учился в Харьковский Институте, с которым был на ты. И вот, Леня теперь повернет к народу. Когда же в Москве поставили процесс Синявского и Даниеля, надо было видеть, как это подействовало на Кравченко. «Стало-быть ничто не меняется?», повторял он. На него, больного уже, находившегося всё время в крайне нервном состоянии этот процесс подействовал потрясающе. Стало-быть он опять ошибся в своих прогнозах об «оттепеле» и «весне»? Кравченко всё мерещилась такая иллюзорная перспектива: Сов. Союз пойдет направо, а США пойдут немного влево и вот наступит настоящее сосуществование двух великих стран и их общий расцвет. Все возраженья о нереальности политического превращения этого поколения коммунистов в неких «термидорианцев», он воспринимал резко и болезненно. И в его выстреле — разочарование в политических «иллюзиях» тоже сыграло не последнюю роль.

Болезнь, одиночество, разочарование в своих «прогнозах», неудачи в финансовых операциях (он предпринял в Перу

разработку серебряных руд), всё это вместе сломило крепкого днепропетровца. В минуту душевного упадка, когда ему показалось, что выхода нет — он спустил курок револьвера, с которым никогда не расставался. В своем завещании Кравченко просил, без всякого церковного обряда и без гражданской панихиды, сжечь его тело. Но урну с пеплом просил сохранить и когда будет можно отвезти в Россию, чтобы бросить его пепел в любимый Днепр.

Кравченко с людьми мог быть резок, груб, в делах, вероятно, бывал очень жестким человеком. И в то же время он был по-русски и сентиментален и мог быть добр. Когда ему в Париже, после заседаний суда, я рассказывал о какой-нибудь бедствующей семье новых советских эмигрантов, он сразу же, без разговоров отпирал чемодан полный франками и давал к. н. крупную сумму. Кравченко поддерживал многих советских эмигрантов («наших», как он их называл). Особенно безотказен был Кравченко всегда, когда дело заходило о нуждающихся детях.

Виктор Андреевич был недюжинным человеком. Как делец и администратор он был, я думаю, выдающимся. И, несмотря на свою внешнюю грубоватость и резкость, по душе был хорошим человеком. Пусть сбудется его последняя воля, чтобы прах его поплыл в любимом Днепре, чтобы настала когда-нибудь в России та свободная и привольная для народа жизнь, чего он так хотел и во что не переставал верить даже вопреки очевидным препятствиям однопартийного режима. Народ свой он любил страстно и искренне.

### В. Л. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ

2-го февраля в Лос-Анжелесе в Калифорнии от болезни сердца на 75 году жизни, скончался один из лучших русских зарубежных поэтов, постоянный сотрудник «Нового Журнала», Владимир Львович Корвин-Пиотровский. Для нашего журнала, для зарубежной (и не только для зарубежной) поэзии это большая утрата.

Я дружил с Корвиным почти полвека, с 1920 года. Мы встретились в Берлине, куда он попал из Польши еще в военной форме времен гражданской войны. В. К. родился в Белой Церкви, происходил из старой дворянской семьи. Шутя любил

поговорить о древности рода Корвиных, напомнить о венгерском короле Матвее Корвине (1458) и о «правах» его, Владимира Корвина, на венгерский престол.

Во время первой мировой войны В. К. служил в армии офицером-артиллеристом. Потом — участвовал в гражданской войне, в войсках ген. Бредова и позже в Польше, в отряде есаула Яковлева. Ко времени гражданской войны относится один интересный эпизод, хорошо рисующий характер В. К. Отряд, которым он командовал, занял какую-то жел.-дор. станцию, кажется, Казатин, и в городе начались самочинные аресты всех подозреваемых в сочувствии большевикам, при чем главным образом эти кары обрушились на еврейское население. И вот войдя в вокзальный зал Корвин увидел за вокзальным столом своего гимназического товарища, Лифшица. Белый офицер Корвин знал, что Лифшиц стал коммунистом, и даже занимает какие-то высокие посты. Корвин много лет не видел его, но сразу узнал и понял, что Лифшиц, конечно, будет схвачен и расстрелян, как коммунист. Подойдя к Лифшицу Корвин сказал ему, чтобы он немедленно шел с ним в вагон, в его купе. Там Корвин продержал Лифшица до тех пор пока опасность миновала, и Лифшиц вылез на какой-то другой станции. В двадцатых годах Лифшиц по каким-то делам приехал в Берлин, разыскал там Корвина и желая хоть чем-нибудь его отблагодарить за спасение жизни — помог ему в издании книги стихов. Так дружба у Корвина стёрла разность политических лагерей.

В 20-х годах В. К. участвовал почти во всех, издававшихся тогда в Берлине, русских газетах и журналах. В 1923 году он выпустил первую книгу стихов «Полынь и звезды», потом, в 1925 году вышла вторая — «Каменная любовь». В 1929 году в большом русском изд-ве «Слово» вышла книга его драматических поэм «Беатриче», имевшая заслуженный успех (помню, о ней весьма хвалебно отозвался философ Григорий Ландау, обычно очень скупой на похвалы).

После прихода Гитлера к власти В. К. переехал с женой, Ниной Алексеевной, и сыном Андреем в Париж. В годы войны Корвин участвовал в движении сопротивления и был арестован. О его мужественном поведении в тюрьме есть рассказ в книге воспоминаний одного француза, вместе с ним сидевшего в тюрьме. Как-то после войны я встретил у Корвиных одного маляра армянина-француза, который приходил благодарить

В. К. за «спасение жизни» и всё хотел бесплатно выкрасить всю их квартиру. Оказывается, Корвин в тюрьме дал за него какое-то ручательство, которое в конце концов его и спасло.

По окончании войны, как многие тогда русские литераторы в Париже, В. К. увлекся «патриотизмом», ходил на вечера к Н. А. Бердяеву, участвовал в «патриотических» газетах, думал даже, как Ладинский, возвращаться на родину. Но в конце концов разум взял верх и вместо родины В. К. переехал в США. В Париже после войны В. К. выпустил две великолепных книги стихов — «Воздушный змей» (1950) и «Поражение» (1960). После своих патриотических разочарований В. К. стал регулярно сотрудничать в «Новом Журнале», где напечатал много замечательных стихов. Лицо Музы Владимира Корвина было с необщим выражением. Всегда формальный классик Корвин в своих темах часто становился «беспредметен», и кто-то, на мой взгляд, очень метко его назвал «заумным класси-ком». В ближайших книгах «Нового Журнала» мы дадим критическую статью о творчестве этого очень талантливого и своеобразного поэта русского зарубежья. Я закончу этот некролог стихотворением В. Корвина — о смерти — которое он написал в Калифорнии и напечатал в «Новом Журнале» под названием «Калифорнийские стихи»:

Для последнего парада,  
Накренья высокий борт,  
Легкий крейсер из Кронштадта  
Входит в молчаливый порт.

И с чужой землей прощаясь,  
К дальним странствиям готов,  
Гроб к нему плывет, качаясь,  
Меж опущенных голов.

Правы были иль не правы —  
Флаг приспущен над кормой —  
С малой горстью русской славы  
Крейсер повернул домой.

Брызжет радостная пена —  
Высота и глубина —  
Лишь прощальная сирена  
В синем воздухе слышна.



Час желанного возврата —  
Сколько звезд и сколько стран —  
В узком горле Каттегата  
Северный залег туман.

И до Финского залива,  
Сквозь балтийский дождь и тьму,  
Будут волны торопливо  
Мчать безмолзную корму —

Там проходят мимо, мимо  
Берега и острова,  
Голубые пятна дыма,  
Сон намеченный едва.

Да будет легка земля Америки этому прекрасному человеку, прекрасному русскому поэту и давнему другу на протяжении почти всей эмигрантской жизни. В Володе я ценил больше всего его стремление не считаться (по возможности) с окружающей жизнью. И жить — «поверх барьеров». Это была метина прирожденного поэта, который всегда внутренне-аристократичен. Именно это чувство поддерживало его мужественное поведение в немецкой тюрьме, где он рисковал жизнью. Поэтому он спас и Лифшица от расстрела.

*Роман Гуль*

# БИБЛИОГРАФИЯ

## О «ДАЛЕКОМ» БОРИСА ЗАЙЦЕВА\*

Борису Константиновичу Зайцеву исполнилось восемьдесят пять лет. Благословил Господь долголетьем, даровал и дар светлого, благородного таланта и духовной свежести. Много книг, очерков и статей написал он. Я как-то особенно ценю его «Золотой узор», да вот эту книгу очерков и воспоминаний. Далекое во времени и пространстве делается присным и близким и уму, и сердцу, всякому русскому. И не в одном мастерстве тут дело, а в свежей, вечно-юной любви к людям, к прошлому и его глубоким, околованным временем водам. Да и полно, существует ли прошлое? Настоящее есть незри-мая стирающаяся бегом жизни грань. Прошлое в нас, прошлое пове-левает, и оно неистребимо.

Ю. Айхенвальд ( «Силуэты русских писателей») первый обратил внимание на конструкцию фраз в произведениях Б. Зайцева и на особенности в использовании знаков препинания. Часто ряд кратких простых предложений или даже особенно выделяемых слов, оканчивается точкой. Конечно, не везде, не всегда, но проза Зайцева особая, обладающая «мягким тенором» задушевности. Каждого читателя охватывает дыхание своеобразной и благоуханной русской речи писателя; ритм ее несет в себе и подчиняет себе особую музыкальность. Образы, сравнения, эпитеты, метафоры и символы проходят стройными, легкими вереницами. Писатель любит Прошлое той ненасытной творческой любовью, которая знает: всё живет и все живем прошлым. А возможное художественное воскрешение бывших света и теней доступно только настоящему искусству. Отсюда же и любовь Б. Зайцева к биографиям замечательных людей (св. Сергей Радонежский, Жуковский, Тургенев, Чехов). Биографии и духовные портреты написаны мастерски. В них и знание эпохи, и вживание в психологию героя, и прозрачная легкость стиля. Из глубины сердца писателя исходит не бурный, но кристально чистый ток казальских вод, отражающий восхищение красотой. Таковы все его зарисовки

---

\* Борис Зайцев. «Далекое». Inter-Language Literary Associates. Washington, 1965. Стр. 201.

Италии и ее искусства. Сердечно любит писатель и природу, и людей, и прекрасные творения Данте, Рафаеля, Микель-Анджело.

«Далекое» делится на две части: о России и о Италии. Воспоминания: Блок, Андрей Белый, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Бердяев, архимандрит Киприан, А. Бенуа, П. Муратов, К. Мочульский, Б. Пастернак, Марина Цветаева, И. и В. Бунины, Ю. Балтрушайтис, 1905 и 1963 г.г.! Хорошо название главки «Чего уже не увидишь» с эпиграфом из послания Апостола Павла — «За всё благодарите». От книги трудно оторваться. Я прочел ее дважды. Любовь к жизни и к искусству уравновешена умудренной старостью, любовью к людям. Но любовь эта зрячая и слова правдивые. О убийстве Рейсса, о том почему разошлись многие с Мариной Цветаевой, что была всё чаще в надрыве да надломе; а дочь ее «Аля выросла и обратилась в готовую коммунистку и уехала тоже в Москву, как и С. Эфрон». Зайцев всё помнит, не скрывает. Без правды нет ведь ни настоящего искусства, ни ценных воспоминаний. Писатель спрашивает: «Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки? Но сказать где правда, и где неправда — мы можем». Прекрасен очерк о двудликой, двусмысленной поэме «Двенадцать» и о последних годах А. Блока, о его «компилятивном Христе». Важны и приведенные (правда уже давно известные) записи Блока 1918 г. к пьесе из жизни Христа. Анализ записей этих Б. Зайцевым очень тонко сделан и объясняет многое в поэме «Двенадцать». Там, в записях Блока, читаем: «дурак Симон с отвисшей губой», «всё в нем (Христе) значительное от народа», «апостолы крали для Него колосья» и т. п. Это преддверие к духу «Двенадцати». За тяжелым и грустным в книге, как и в жизни идут страницы с улыбкой о Прошлом. Чего стоит одно описание молодого К. Д. Бальмонта! «...Он победоносно-капризен и властен. — Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности (квартира Зайцевых), но среди рощ и пальм Таити или Полинезии. — Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт?.. — Мечта поможет нам. За мной! ...И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по детски. Но «Борис» не пошел... Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что я не полез в эти рощи Он запомнил.

Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне, с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида. — Однако, некогда в Спасо-Песковском гордый поляк, не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии. (Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике)».

За этим следует трогательное описание смерти поэта во Франции в 1942 г. Рассказ же о переписке с Б. Л. Пастернаком, о переписке незадолго до смерти поэта, так грустен и вместе художест-

ненно возвышен, что прочтя его надо просто благоговейно помолчать.

Дай Бог еще долгих лет Борису Константиновичу, моему и всех нас русскому Другу, и *Dominus det Tibi fortitudinem!*

Р. Плетнев

ANTON HÖNIG. *Andrej Belyjs Romane. Stil und Gestalt.* Wilhelm Fink Verlag. München, 1965. Forum Slavicum 8, herausgegeben von Dmitrij Tschizewskij.

Андрей Белый принадлежит к числу тех русских писателей, в творчестве которых игра словом и стилистическими приемами стоит на первом месте. Игра эта нередко затемняет и ход действия и смысл произведения. Не удивительно поэтому, что его «затрудненная» проза привлекает особое внимание литературоведов, старающихся разобраться и в ее словесной ткани и в связи этой ткани с развитием действия и с затрагиваемыми вопросами идеологического порядка.

Книга Гёнига представляет собой добросовестно составленную диссертацию о стиле и форме романов Белого. Сможет ли она заинтересовать широкие круги читателей кажется сомнительным. Сухим и, кстати сказать, не слишком гладким немецким языком автор «описывает» шесть романов Белого (Серебряный голубь, Петербург, Котик Летаев, Москва I, II, Крещеный китаец и Маски), воздерживаясь от какого бы то ни было выражения своего личного мнения.

Исходя из положения, что романы Белого являются «романами стиля», т. е. произведениями, значимость и действительность которых определяется их использованием языковых выразительных возможностей, Гёниг в первой половине своей книги исследует распределение слов, характер предложений, образы, каламбуры, звучание, краски и словарь. Он приходит к заключению, что необычная расстановка слов (напр. часто встречающееся имя прилагательное **после** имени существительного и тому подобные явления), объясняется не смысловыми, а исключительно ритмическими соображениями. Не знаю можно ли согласиться с автором во всех случаях: конечно, его утверждение, что напр. «желтый том» звучало бы совсем иначе чем «том желтый», вполне справедливо, но второй вариант носит и известный смысловой оттенок, хотя бы только акцентировкой слова «желтый». Интересны замечания (с примерами) о выдающейся роли знаков препинания в предложениях Белого, в то время как описание метафор и каламбуров должно было бы быть и более полным и точнее дифференцированным. В главе о звучании особенно внушительным оказывается перечисление звуков передающих шум, начиная обыкновенным «топ, топ, топ» и кончая таким странным как «пле-пеле-пле», передающим «плескание» клавишей. Что касается главы о красочных оттенках, то длиннейшее их перечисление (более пятисот на пяти с по-

ловиной страницах) было бы более полезным с указанием, к какому предмету они относятся; хотя место их нахождения и приводится, но всё-же было бы интересно узнать здесь же, что именно кажется «кареянтарным», «террактовокарим», «кисельносиреневым» или «серочернозеленым». Главка о словаре страдает чрезмерной краткостью, особенно в сравнении с предыдущей.

Не лишена пользы вторая часть книги (главы 9-14). Романы Белого настолько загромождены его стилистическими манеризмами, что часто не легко бывает понять, что случается, с кем и почему. Тут книга Гёнига может оказать помощь: он приводит внешние данные к истории текста, определяет время и место действия, рассказывает вкратце содержание, разрабатывает главные мотивы, характеризует действующих лиц, старается определить специфический уклон жанра произведения (напр. к гротеску или философскому рассказу), выяснить его структуру и установить точку зрения автора. Всё это, правда, производится без всяких оценок и без всякой попытки вставить все наблюдения в одну общую раму и создать из них впечатление от всей картины. Остается неясным, стоящий ли писатель Белый или просто манерный фокусник, играющий — иногда довольно неуклюже — разрозненными аспектами русского языка.

В последней главе с предельной краткостью, переходящей в стиль каталога, перечислены главные достижения изучения искусства Белого и приведены мнения многих литературоведов о Белом. Но и здесь автор не говорит на чьей он стороне.

Литературоведенье не точная наука. Оно живет лишь тогда, когда ученый или критик, стараясь быть объективным, всё же не отказывается от выражения своих личных реакций и их обоснования. Без этого оно становится чем-то бумажным и серым и скорее отталкивает от произведений писателей и поэтов, чем привлекает к ним. Гёниг, повидимому, сознательно старается быть сухим и холодным. Это ему вполне удается и характеризует его книгу. Отличная библиография замыкает ее.

*В. Сечкарев*

#### Б. НИКОЛАЕВСКИЙ О БУХАРИНЕ

POWER AND THE SOVIET ELITE. *«The Letter of an Old Bolshevik»* (and other essays by Boris Nicolaevsky) Published for the Hoover Institution on War, Revolution and Peace, by Frederick A. Praeger, Publishers, New York, Washington, London. 1965.

Недавно скончавшийся Б. И. Николаевский был известным историком русского и международного революционного движения и активным деятелем РСДРП. Участник двух русских революций, Николаевский лично знал многих лидеров большевизма. Будучи в 1922 го-

ду выслан из Сов. Союза, Николаевский, сначала в Европе, а потом в Америке, много писал в русских зарубежных изданиях — в «Социалистическом вестнике», «Новом журнале», «Народной правде», в «Новом русском слове» и в американском еженедельнике «Нью Лидер». Темами его работ большей частью были внутренние и внешняя политика советской власти. Отчетная его книга — «Борьба за власть среди советской элиты» — это сборник его политических статей. В книге статьи: «Бухарин и оппозиция Сталину», «Письмо старого большевика», «Сталин и убийство Кирова», «Чистка Поскребышева», «Значение дела Берия», «Казнь Рюмина», «Казнь Абакумова», «Дело Абакумова», «Ликвидация агентов Берия в Грузии», «Комитет Государственной Безопасности», «Тайная речь Хрущева», «Разоблачение сталинского мифа», «Реабилитация Енукидзе», «Три политические биографии» (Булганина, маршала Конева и М. Суслова). В каждой из этих статей много интересных сведений, не известных широкой публике не только за границей, но и в СССР.

Центральное место в книге занимает «Письмо старого большевика», опубликованное еще в 1936-ом году в «Соц. Вестнике». Но только недавно Николаевский раскрыл секрет, что это «Письмо» было написано им на основании его длительных бесед с Бухариным в 1936 году в Париже, Копенгагене и Амстердаме. Об этих встречах с Бухариным Николаевский впервые подробно рассказывает в этой книге.

После прихода Гитлера к власти, в мае 1933 года, Николаевский вывез из Берлина в Париж вместе с архивом российской социал-демократии также и архив германской с.-д. партии. В Париже Николаевский был хранителем этого архива. Большевикам очень хотелось получить германские архивы. Особенно, документы из архивов Маркса-Энгельса. В 1935 году большевики послали в Париж представителя московского Института Маркса-Энгельса, чтобы узнать, нельзя ли приобрести этот архив. Николаевский ответил, что может только передать это предложение германским социал-демократам. Он это и сделал. Официальные переговоры начались, когда из Москвы в Париж приехала делегация, в составе: Бухарин — тогда член ЦК ком. партии, Адоратский — директор Института Маркса-Энгельса и Аросев — довольно известный советский писатель, который был тогда председателем ВОКСа. Бухарин приехал как эксперт по Марксу. Переговоры длились с февраля до конца апреля 1936 года. Большевики предложили десять миллионов франков за материалы о Марксе, но немцы продавать эти материалы не хотели.

До этого Николаевский с Бухариным лично не встречался. Но у них было много общих знакомых. Когда Бухарин встретил Николаевского в Париже, его первыми словами были: «Привет от Владимира» (брата Николаевского). Позже, при встрече с Николаевским наеди-

не, Бухарин сказал: «Вам шлет привет Алексей» (Рыков). Брат Николаевского Владимир был женат на сестре Рыкова и они жили с Рыковым вместе, а Бухарин часто у них бывал. Это вступление Бухарина определило тон дальнейшего разговора.

У Николаевского создалось определенное впечатление, что Бухарин хотел ознакомить кого-нибудь из внешнего мира, человека, к которому относился с доверием, с позицией, которую Бухарин занимал по ряду вопросов. Например, говоря с ним о процессе лидеров партии с.-р. в 1922 году, Бухарин спросил Николаевского: «Известна ли вам моя *действительная* роль в этом процессе?» Николаевский ответил, что знает, что за кулисами Бухарин был против казни эсэров. Бухарин подтвердил, что вокруг этого дела шла отчаянная борьба: казнить эсэров или нет. Бухарин был членом коммунистической делегации, которая в марте-апреле 1922 года вела в Берлине переговоры с двумя Социалистическими Интернационалами о создании «единого фронта». Западно-европейские социалисты тогда заявили, что «единый фронт» между социалистами и коммунистами можно будет создать только при условии, если большевики восстановят в России хотя бы некоторую демократию. И, как первый шаг в этом направлении, требовали, чтобы смертная казнь не была применена к социалистам-революционерам, процесс которых готовился в Москве. Бухарин рассказал, что он и другие члены делегации Коминтерна согласились с требованием западно-европейских социалистов.

Но в России, по инициативе Троцкого, тогда усилилась кампания гонений на всех так называемых «контрреволюционеров». И ЦК ВКП(б) отказался признать обещания, данные Бухариным и другими в Берлине. После этого Бухарин был вынужден официально выступить с самыми резкими речами против подсудимых. Эс-эры были приговорены к смертной казни, но тогда приговор не был приведен в исполнение. «В разговорах со мной, — говорит Николаевский, — Бухарин, объясняя свою позицию, сказал: «Да, нужно признать, что вы, социалисты, в начале двадцатых годов были в состоянии поставить всю Европу на ноги и сделать невозможным приведение в исполнение смертного приговора над эс-эрами». Добавим от себя, что позднее все эти социалисты-революционеры — Гоц, Лихач, Тимофеев и другие — были убиты ОГПУ-НКВД.

В своем «интервью» с редактором его английской книги Николаевский говорит: «Перечитывая теперь «Письмо старого большевика», я вижу, что я опустил многое из того, что Бухарин мне рассказывал, в особенности о том, что касалось лично его. Я сделал это по разным причинам, главным образом из соображений конспирации, чтобы не дать какой-нибудь ключ к установлению личности моего информатора. Между тем, всё, что Бухарин рассказал мне тогда, было сильно окрашено замечаниями личного характера. Бухарин описывал поли-

тическую борьбу, происходившую тогда среди советских лидеров. Я чувствовал, что он мне всё это рассказывает для того, чтобы в будущем были правильно истолкованы мотивы его поведения. Теперь, через три десятка лет, в свете всего, что произошло в дальнейшем, я убежден, что мое мнение было правильно. О многом Бухарин совсем не говорил, многое не вполне объяснял, но то, что он рассказывал мне, было рассказано им, как бы для его будущего некролога.

«Когда мы с ним были в Копенгагене, — пишет Николаевский, — он вспомнил, что Троцкий тогда жил сравнительно недалеко, в Осло. И, подмигнув мне, Бухарин сказал: «А не поехать ли нам на денек другой в Норвегию, повидать Льва Давыдовича?» И добавил: «Конечно между нами были большие конфликты, но это не мешает мне относиться к нему с большим уважением».

Рассказывая об отношении Бухарина к Ленину, Николаевский пишет: «Бухарин был очень предан Ленину. Вот что он мне рассказывал о последнем периоде болезни Ленина, начиная с 1922-го года: «Ленин часто вызывал меня к себе. Доктора тогда запретили ему разговаривать на политические темы, так как это его волновало. Но когда я приходил, Ленин немедленно брал меня за руку и уводил в сад, несмотря на протесты жены и врача. — Они не хотят, чтобы я говорил о политике. Но как они не понимают, что в этом вся моя жизнь? Если мне не позволяют об этом говорить, то это волнует меня больше, чем когда я говорю. Я успокаиваюсь, когда имею возможность обсуждать эти вопросы с такими людьми, как вы».

Николаевский спросил Бухарина, о чем же Ленин говорил с ним? Бухарин ответил, что он и Ленин большей частью говорили о проблеме преемственности власти, о том, кто способен стать лидером партии после ухода Ленина. «Это, — сказал Бухарин, — больше всего беспокоило Ленина».

«Завещание» Ленина, как сказал Бухарин, состояло из двух частей: меньшая была о лидерах партии, а большая — о дальнейшей политике партии. Николаевский спросил Бухарина: в чем же состоял главный принцип этой будущей политики Ленина? Бухарин ответил: «Я написал две брошюры об этой политике: «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз» и «Политическое завещание Ленина». Первая брошюра вышла в 1925 г. вторая была напечатана в 1929 г. Бухарин спросил Николаевского: «Помните вы эти брошюры?» Николаевский ответил: «Сознаюсь, что не помню». Тогда Бухарин сказал: «Вторая брошюра, то есть, «Политическое завещание Ленина» наиболее интересна. Когда я ее писал, я старался только передать мысли Ленина — то, что он говорил мне. Конечно, это были не прямые цитаты, а мое понимание того, что Ленин думал. Всё это было передано в моей брошюре. Главным пунктом «Завещания» Ленина были его утверждения, что к социализму можно прийти без приме-



нения насильственных мер против крестьянства. По мнению Ленина, применение насильственных мер против крестьянства было допустимо в определенный момент, но это не должно было стать перманентным методом воздействия на крестьян. Это был основной пункт моей брошюры «Путь к социализму».

Бухарин рассказывал Николаевскому, между прочим, и о своих встречах и разговорах с знаменитым русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Бухарин был выбран членом Академии наук. Но когда его кандидатура была поставлена на голосование — Павлов выступил против избрания Бухарина, назвав его «человеком, у которого ноги по колено в крови». Когда Бухарин узнал об этом, он решил поговорить с Павловым лично.

Бухарин рассказывал: — «Я был не согласен с Павловым во многих вопросах, но я его очень уважал, как ученого, и еще больше, как человека. Я поехал к нему и прямо ему сказал: «Мне нужно с вами поговорить». Павлов принял меня более чем холодно. Мы проговорили несколько часов. Когда наступило время завтрака, Павлов, уже несколько смущенный, сказал: — «Ну, что же — ничего не поделаешь, пойдемте завтракать». Мы пошли в столовую и, когда вошли туда, я заметил на стене собрание бабочек. Оказывается Павлов был коллекционером бабочек, как и я. Я сидел уже за столом, как вдруг увидел как раз напротив меня, ящик с исключительно редкой бабочкой. Я невольно воскликнул: «Как, у вас есть и эта?» Мы разговорились о бабочках. Павлов убедился, что я действительно знаю бабочек. Так начался наш роман». В долгих разговорах Бухарин доказывал Павлову, что интеллигенция должна помочь большевикам изменить общую атмосферу в России.

Однажды Бухарин попросил Николаевского достать ему «Бюллетень» Троцкого, последние номера. Николаевский достал ему «Бюллетень Оппозиции» Троцкого и вместе с ним принес номера «Социалистического вестника». К «Вестнику» Бухарин относился критически, но одна статья привлекла его внимание. В этой статье обсуждался план Горького объединить интеллигенцию в отдельную партию, для участия в выборах. Об этом Бухарин сказал: «Какая-то вторая партия необходима. Если на выборах будет только один избирательный список, то получится то же самое что в гитлеровской Германии. Для того, чтобы в умах народов России и Запада нас отличали от нацистов, мы должны ввести систему двух избирательных списков».

Бухарин много говорил Николаевскому о необходимости вести борьбу против антигуманистического нацизма под знаменем нового гуманизма и развивал идею своего гуманизма в очень элементарных терминах. Николаевский спросил его: «Николай Иванович, но ведь то, что вы теперь говорите, есть ничто иное как проповедь возврата к «десяти заповедям Моисея»? Бухарин ответил: «А вы полагаете,

что заповеди Моисея устарели»? «Я не говорю, что они устарели, — сказал Николаевский, — я хочу только напомнить, что они стали обязательной основой человеческого общества уже пять тысяч лет. Неужели положение в России теперь таково, что нужно напоминать о необходимости возврата к заповедям Моисея»? Бухарин не ответил.

Как-то раз Николаевский сказал Бухарину, что за границей многое известно об ужасах насильственной коллективизации в России. Бухарин рассердился и резко ответил, что всё написанное об этом за границей дает только бледное представление о том, что было в действительности. Бухарин, по его словам, был буквально потрясен теми сведениями, которые он получал от непосредственных участников кампании коллективизации, многие коммунисты тогда кончали самоубийством, другие сходили с ума... Но самым худшим, говорил Бухарин, были даже не страшные ужасы коллективизации, а те глубокие перемены, которые произошли в психологии людей, участвовавших в этой кампании. Эти люди, вместо того, чтобы сойти с ума, стали профессиональными бюрократами, для которых террор с тех пор стал нормальным методом управления и беспрекословное подчинение любому приказу сверху считалось ими высшей добродетелью. «Они больше не человеческие существа, — сказал Бухарин, — а только зубчики страшной машины».

Однажды, когда Николаевский и Бухарин говорили о проекте новой советской конституции, Бухарин вдруг вынул из кармана самопишущее перо и сказал: «Смотрите внимательно: этим пером написана вся советская конституция от первого до последнего слова. Я проделал всю эту работу один. Мне немного помогал только Радек. В Париж я смог приехать только потому, что работа эта кончена. Все важные решения уже приняты. Теперь конституцию печатают. И в этой новой конституции народу отведено много больше места чем в прежней. Теперь с ним нельзя будет не считаться».

По словам Николаевского, Бухарин очень гордился этой конституцией. «Но Бухарин, — говорит Николаевский, — недооценивал своего противника и не предвидел, как хитро Сталин применит принципы конституции, превратив равенство всех перед законом в равенство коммунистов и не коммунистов перед абсолютной диктатурой Сталина. Сталин пошел и дальше. Он не только расстрелял самого автора конституции, но жестоко расправился и со всеми, кто разделял идеи Бухарина». Бухарин, между прочим, рассказывал Николаевскому о своей поездке в Среднюю Азию после того, как Сталин ликвидировал группу, которую Бухарин собрал вокруг себя. И косвенно дал Николаевскому понять, что он был тогда настолько подавлен, что потерял желание жить. Но самоубийством он кончать не хотел. Это было бы признаком поражения. Бухарин как-то сказал Николаевскому: «Нам трудно жить, очень трудно, и вы, например, не

смогли бы к этой жизни привыкнуть. Даже для нас, с нашим опытом этих десятилетий, это очень трудно, почти невыносимо».

Известный американский дипломат и историк Джордж Ф. Кеннан, знаток России, в своем вступлении к книге Николаевского очень высоко ее оценивает. И действительно, эта книга — ценный вклад в историю большевистской революции, особенно ее сталинского периода. Ни один серьезный историк СССР не сможет пройти мимо нее.

*Д. Шуб*

ГЛЕБ СТРУВЕ. *Утлое жилье*. Избранные стихи 1915-1949 гг. Inter-Language Literary Associates. Вашингтон. 1965.

Насколько нам известно, это первая книжка стихов профессора Струве. И вероятно последняя. По этой книжке видно, что автор хорошо знаком с наукой о стихе (вероятно, штудировал и Брюсова и Томашевского и мн. др.). В книжке стихи разнообразных размеров на разные темы. Очень много стихов, посвященных известным людям: Ходасевичу, Карташеву, П. Б. Струве, евразийцу Савицкому, Цветаевой, Набокову, Гумилеву, Баратынскому, Р. М. Рильке. Есть стихи о разных городах — Лондоне, Брюгге, Праге. В книге много разных строф и строк, напоминающих известных поэтов (Ходасевича, Блока, Гумилева, даже Тэффи «звучит» в стихотворении «В метро», у нее есть талантливое стихотворение тоже о «метро» и с такими же словами «подрагивая в такт...»). Есть темы, навеянные стихами Ирины Одоевцевой: у Г. Струве «Стихи, сочиненные во время бессонницы», а у Ирины Одоевцевой «Стихи написанные во время болезни». Но только там где у талантливой Одоевцевой — легкость и музыка, у трудолюбивого профессора — старание и пот:

А на камине глиняный  
Воркует голубок.  
Сидит и улыбается  
И скалит ряд зубов (?!)  
— Пускай голубчик мается  
До четырех часов!  
Ух, зелье, привязалась —  
Хотя б и не глядеть!  
И вовсе уж без жалости  
Вдруг начинает петь. (?!)

Едва ли это можно отнести к поэзии. Есть и более тяжеловесные и менее «поэтические». Вообще, надо честно сказать, что автора этого сборника Муза не поцеловала.

Наши настоящие и очень талантливые поэты — Н. Моршен, И. Одоевцева, Г. Адамович, И. Елагин, И. Чиннов, Л. Алексеева, Ю. Иваск, Г. Глинка, О. Ильинский и др. — не могут издать своих сборников, которые были бы действительно нужны и интересны читателю (не только зарубежному, но и советскому), а тут почти единственное крупное издательство начинает выпуск стихов зарубежных поэтов с произведений редактора изд-ва. Мы думаем, что это неудачно и в смысле литературном и не очень тактично в смысле общественном. Но вероятно — своя рука владыка.

Г.

#### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:

##### ПРИЕМЫ В. НАБΟКОВА

Многоуважаемый г-н редактор, не откажите в любезности поместить в «Н. Ж.» следующие строки. В февральском номере лондонского журнала «Энкаунтер» В. Набоков обвиняет меня в том, что в моей рецензии о его переводе «Евгения Онегина» (кн. 77 «Н. Ж.») я упрекаю его будто бы в «неупоминании» им советских пушкинистов. Это неправда. Я писал совсем о другом: о том, что у г. Набокова почему-то «небрежно высокомерное отношение к советским пушкиноведам». И это верно. Дальше г. Набоков упрекает меня в том, что я, мол, несправедливо приписываю ему мнение, что его перевод (в отличие от комментариев, которые я считаю серьезным вкладом в пушкиноведение) предназначен для студентов, а не для ученых. Но ведь в предисловии к своему переводу и, кстати, и в статье в журнале «Энкаунтер», сам г. Набоков правильно называет свой перевод английским словом — *crib* — «шпаргалка». Думаю, что г. Набокову, в прошлом профессору, известно, что шпаргалками пользуются студенты, а не ученые. Но дальше — хуже. В моей рецензии есть такая фраза: «Что ж, и шпаргалка, как известно, для любого студента — дело полезное, хоть и нелегальное». В. Набоков умышленно искажает эту фразу, взяв ее часть так: — «как известно для любого студента» — и подносит это английскому читателю, как образец моей «исключительно забавной неправильной русской речи». Прием очень странный. И наконец, дав мое имя и фамилию в нелепой латинской транскрипции, г. Набоков тут же выражает восторг своему «остроумию». К сожалению, такие приемы «полемики» я встречаю не впервые. К ним прибегали партийные рецензенты моих работ в советских журналах. Но признаюсь, я не ожидал этого от В. Набокова.

*Морис Фридберг*

Indiana University, Bloomington, Indiana



---

# “Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ и Н. С. ТИМАСHEВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1966 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway  
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме  
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

---